

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



79679650

ЮРИИ НАГИБИН

*Дафнис и Хлоя
эпохи культа личности,
волюнтаризма
и застоя*



CS

**Юрий
Нагибин**

**Москва
1995**

Юрий Нагибин

Author: Nagibin, IU.

Title: Dafnis i Khloia

Дафнис и Хлоя

эпохи
культы личности,
волюнтаризма
и застоя



Независимое издательство ПИК

Художник
Владимир Буркин

**THIS BOOK CAN BE ORDERED
FROM THE "RUSSIAN HOUSE LTD."
253 FIFTH AVENUE
NEW YORK, NY 10016
TEL: (212) 685-1010**

Тексты публикуются в авторской редакции

В оформлении обложки использована картина Никаса Сафронова «Россия и Запад» из коллекции Д. Черизи (Италия)

Издание выпущено в счет дотации,
выделенной Комитетом РФ по печати

© Независимое издательство ПИК, 1995 г.

© Оформление В.Буркина, 1995 г.

© Обложка Е.Селивановой, 1995 г.

ISBN 5-7358-0186-4

История
одной
любви



Если человек без конца возвращается к какому-то переживанию своей жизни, значит, оно было очень важным, решающе важным, но так до конца и не понятым. Вот и я опять начинаю пережевывать жвачку под названием «первая любовь». Не отпускает меня эта тема моей жизни, а ведь я столько раз обращался к ней в своих писаниях, а уж о раздумьях и говорить не приходится. Впервые я написал о своей первой любви по живому следу казавшегося окончательным разрыва. То было нечто странное по жанру: не дневниковая запись и не рассказ — а я все самые сильные переживания претворяю в рассказы, — не фрагмент будущей повести, а какой-то взвой, рыдание, странно сплетенное с размышлением, при этом цельное и завершённое по форме: зачин — кульминация — развязка. Как жаль, что этот «документ» непосредственного чувства загадочно пропал вместе с другими не предназначавшимися для печати рукописями. Это обнаружилось после смерти отчима. У него была привычка прятать и даже хоронить в саду писания, противоречащие требованиям цензуры. Видимо, так отыгрывалась травма тридцать седьмого года. Писателя посадили в силу идиотической ошибки по делу о промышленной контрреволюции. Недоразумение вскоре выяснилось, но отпустить его с миром не хотели, ведь это признание ошибки, а единство щита и меча не ошибается. Продержав год во внутренней тюрьме, ему вчинили в вину два дневниковых критических замечания в адрес Фадеева и Эренбурга и без предъявления статьи посчитали год заклю-

чения карой за клевету на выдающихся советских писателей. Я вдруг сообразил, что в отличие от большинства репрессированных мой отчим так и не был реабилитирован и сошел в могилу, отягощенный своим преступлением. До этого он зарыл в саду мою повесть «Встань и иди», написанную еще в сталинские времена, и, конечно, забыл место захоронения. По счастью, второй экземпляр повести спокойно лежал в среднем ящике моего стола, терпеливо дожидаясь публикации. Мне так хотелось включить порожденные сильным и непосредственным чувством страницы в эту повесть, но не смог обнаружить пропажи.

Потом я еще не раз возвращался к переживаниям своей первой любви, но уже не впрямую, а в беллетристической форме, и вот после долгого перерыва решил до конца отговориться, без всяких литературных околичностей, теперь уже навсегда.

Я не знаю, жива ли Дашенька — так называл я ее в юности, но здесь она будет Дашей, ибо уменьшительное звучит фальшиво для моего сегодняшнего слуха. Я не знаю, жива ли она, жив ли я сам, но мой счет с ней закончится, лишь когда я поставлю точку в этой повести. Наверное, лучше было бы оставить в покое некогда близкого человека, но ведь посыл идет не от мстительности, а от неизжитого чувства и мучительного желания понять что-то, вечно ускользавшее в главной сути отношений. Сколько разнообразной и сильной жизни выпало мне на долю, сколько было любовей и есть — я люблю мою нынешнюю жену с душевным пылом, не укрощенным безразличными двадцатью пятью годами, и вдруг опять засветило довоенным Коктебелем, запахло сушью его тамарисков, зазвучало вечерней джазовой музыкой сквозь мягкий шум бухтового прибоя, и я забываю о старости, изношенности, хворях и хоть не томлюсь тютчевской «тоской желаний», но перестаю ощущать душу как непосильную ношу.

Думается, на этот раз я подведу окончательные итоги долгой напасти и выгадаю время, которого у меня осталось с воробьиный нос, на иные неясности прожитого; уходя, хочется знать, в чем ты участвовал так долго и так мимолетно и кто были твои партнеры по ужасу и великолепию жизни.

Порой мне кажется — и с годами все уверенней, что я ни в чем и ни в ком не разобрался и во мне не разобрались даже самые близкие люди. Что же говорить о тех, кто судил издали. Но иногда меня пронизывает мысль, что на расстоянии лучше видно и, быть может, в этом недоброжелательном прищуре больше зоркости, чем в самообольщенном взгляде на себя изнутри. Но чтобы понять по-настоящему, надо написать, хотя и это не гарантирует успеха...

Мне исполнилось восемнадцать лет, я кончил школу с золотым аттестатом и без экзаменов был принят в Первый московский медицинский институт. Таким образом, я сразу стал студентом, то есть взрослым человеком, что наполняло меня волнением и гордостью. При этом я оставался мальчиком и намеревался пробыть еще год во исполнение домашнего наказа: лишь в девятнадцать лет можно перешагнуть рубеж, отделяющий мальчика от мужчины. До чего же покорной скотиной я был! Сейчас я скрежещу зубами от злости, думая об украденном у меня годе несказанных радостей. И ведь не перенесешь его на заключительную прямую жизненного марафона: мол, я поздно начал, так продлите мне срок службы. Черта лысого тебе продлят!

Тридцать восьмой год примечателен в истории моей скорбной родины тем, что к середине его окончательно исчах террор, подаренный почему-то тридцать седьмому году, хотя он начался в тридцать шестом — именно тогда посадили отчима — и продолжался ровно два года, навсегда отравив страхом человеческие души. На самом деле он начался с первого дня пламенного Октября и длился, то затухая, то разгораясь, до завершения исторического периода, именуемого «строительством социализма».

Как и положено в нашей семье, мы уплатили очередному витку советской истории щедрую дань. Отчим, отсидевший всего год, по существу так и не вернулся из тюрьмы. Он был своеобразным писателем, тянувшим собственную борозду. Варлам Шаламов в своих воспоминаниях назвал его литературу «интеллектуальной прозой», высоко ее оценив. Отчим к своему настоящему творчеству уже не вернулся. Да и кому нужна была интеллектуальная проза, когда просто мыслить стало смертель-

но опасным. Теперь он не жил, а существовал в литературе, занимаясь чем придется: критикой, на которой опять едва не погорел, исторической прозой, редактировал полуграмотных писателей — русских и националов, писал внутренние рецензии, с поразительной быстротой строчил очеркишки, которые в огромном количестве, хорошо оплачивая, поглощало Информбюро — болдинская осень халтуры растянулась на несколько лет, — состряпал два приключенческих романа, но душевно и умственно оставался чужд всему этому.

В тридцать седьмом году по обвинению в поджоге бакшеевских торфоразработок посадили и моего приемного отца-лишеница. Ему отказали в московской прописке при паспортизации (уже отмотал пятилетний срок ссылки невесть за что), и он поселился на болоте, чтобы быть ближе к родному городу. После долгого и мучительного следствия — бить не били, но бесконечными ночными допросами, угрозами и гипнозом: ему показали нас с мамой за решеткой — довели до нервно-психического срыва. Сознание ему восстанавливали в страшной психушке Сербского, заодно изменив обвинение: срок он получил не за поджог торфа (находился в командировке во время пожара), а за непочтительное отношение к портретам Молотова и Кагановича, которыми решили украсить его кабинет, когда он, начальник планово-экономического отдела, корпел над квартальным отчетом. Мать и отчим, к тому времени уже выпущенный на свободу, видели отца после суда (как это ни дико, его судили, пусть при закрытых дверях, в областном суде на улице Воровского — трогательная забота о легитимности!). Со счастливым лицом — ведь ждал расстрела — он крикнул: семь и четыре! — и как на крыльях впорхнул в «воронок». Его фраза значила: семь лет лагерей и четыре поражения в правах. Да, бывали счастливые мгновения и в то крошечное время.

Его ликование можно сравнить лишь с пьянящим счастьем, которое незадолго перед тем испытали мы с матерью. Мы вернулись из Егорьевска, где целый день протомились у стен пересыльной тюрьмы в надежде на свидание с отцом, но, конечно, не дождались, даже передачу не приняли. Когда же, усталые, разбитые неудачей, добрались до дома, нам открыл

дверь отчим, только что отпущенный с Лубянки. Ради таких минут стоит жить, ведь пересыхает без радости человеческое сердце!..

Пока отчим находился под следствием, «Правда» и «Литературная газета», опередив суд и приговор, объявили его «ныне разоблаченным врагом народа», а старый приятель правдист Эрлих добавил к чеканной формулировке: «Очередь за остальным мусором». Союз писателей исключил его из своих рядов, лишил уже оплаченной кооперативной квартиры в Лаврушинском, куда мы с мамой не успели въехать, издательства выкинули на помойку ранее принятые рукописи. Мы наивно полагали, что по освобождении отчим получит все назад, как Иов, прошедший искуc. Ничуть не бывало. Человек, недооценивающий Фадеева и Эренбурга, не может считаться другом народа. Пишущая машинка, на которой мать и отчим поочередно тархтели двумя пальцами, не могла прокормить семью. И отчим ринулся в бой. Человек смелый и настойчивый, когда надо, он за год добился восстановления в СП, оплаты — через суд — всех уничтоженных рукописей, получил для нас с мамой квартиренку на улице Фурманова, а наши полторы комнаты в Армянском переулке обменял на однокомнатную квартиру без ванны, но с уборной и, наконец, издал книжечку в «Библиотечке 'Огонька'». После чего его опять стали печатать. К лету 1938 года наше благосостояние настолько упрочилось, что отчим смог отправить нас с мамой в Коктебель на два месяца.

Не только окружающие, но и мы сами считали себя удачниками, баловнями судьбы. Один наш узник благополучно вернулся, другой уже устроился инженером-планировщиком в кандалакшском лагере, считавшемся курортом по сравнению с Воркутой, Магаданом, Нарымом, Потьмой и другими популярными местами, где восемь гудков в день, и все на обед. Нам дали роскошные апартаменты, такой рисовалась завистливому воображению наземная скворечня, откуда — тоже далеко не в хоромы — бежал Виктор Ардов; наконец, мне, бездельнику и футболисту, преподнесли студенческий билет на блюдецке с голубой каемочкой. Кое-кому

дело начало казаться нечистым — слишком много благ просыпалось на одну семью.

К тому времени в литературе, как и в других областях человеческой деятельности, был срезан целый пласт. Ни среди деятелей искусств, ни среди ученых, ни среди видных технарей: конструкторов, изобретателей, инженеров — не было столько жертв. Наверное, лишь военная среда понесла еще большие потери. Почему взяли одних писателей, а не других, понять было невозможно. Истребили всех ОБЭРУТОВ (уцелел лишь Н. Заболоцкий, отсидевший срок), но не тронули «Серапионовых братьев», на которых спустя годы так вызверился идеолог Жданов. Извели поэтов-деревенщиков: Клюева, Клычкова, Орешина и «колхозного Шекспира», добряка Персонова — тут еще можно уловить людоедскую логику: мелкобуржуазная стихия, но за что посадили и уничтожили таких энтузиастов советской власти, как Артем Веселый, Иван Катаев, Колбасьев, Зарудин, — мозги свернешь, а не докопаешься. Почему взяли почти одновременно Буданцева, Большакова, Лоскутова, связанных разве что рюмкой водки по праздникам? А пролетарские поэты, а тихий, незаметный Семен Гехт, а Борис Корнилов, певший советское утро, а его жена Ольга Берггольц, из чрева которой на допросах выбили ребенка, — продолжать можно до бесконечности, — за что их всех?.. Случалось и другое: Андрея Платонова Сталин обматерил за повесть «Впрок», но разделался с ним много лет спустя, и не напрямую, а более страшным способом, через сына, посадив пятнадцатилетнего, еще не имевшего паспорта мальчика. Он был активирован по безнадежной болезни — чахотка в последней стадии, и вскоре умер, заразив отца ее скоротечной формой.

Временно уцелевших если не радовало, то бодрило, когда можно было назвать причину репрессии: Пильняк обвинил Сталина в убийстве Фрунзе, Бабель возжался с чекистами («пью с милиционерами») и был ненавидим Буденным за «клевету» на 1-ю Конную, Аросев занимал много крупных советских постов — тут злодейство выходило из мистического тумана, обретало — пусть бредовое, дикое, но челове-

чески понятное — свойство причинности. Но когда сажали малоизвестного, примечательного лишь игрой на бильярде малоформиста Дорохова, становилось жутко: неужели и за бильярд берут, значит, могут взять за игру в преферанс или подкидного, за то, что ходишь на лыжах, собираешь книги, носишь калоши или зонтик. Выходит, нет спасения ни в незаметности, ни в умалении себя, ни в смирении, ни в беззаветной преданности делу социализма, ни в поклонении вождям, ни в чем...

Единственную надежду видели в доносительстве. И доносили друг на друга без сожаления и тени раскаяния, шли в штатные стукачи и дружно завидовали Павленко, который с первых литературных шагов официально связал себя с органами безопасности. Но и это далеко не всегда спасало.

Писателей расстреливали, гноили в лагерях, доканывали в ссылках, иных и морально растлевали. Честные люди: литературовед Я. Эльсберг, сын знаменитой Цыпкиной, лечившей зубы Маяковскому, и поэт-прозаик Н. Асанов, тоже из хорошего дома, вышли на волю стукачами. А, скажем, воинствующему стукачу Н. Лесючевскому или не склонному к доносительству и оттого всегда грустноватому А. Марьямову не понадобился лагерь, чтобы служить «святому делу сыска». Особенно много жертв было бы на совести Лесючевского, если бы таковая у него имелась. Все это не могло не привести к моральному краху литературы.

Конечно, не все доносили, но рухнули душевно даже великие. Безвинен оставался разве что Пастернак, по-женски влюбленный в Сталина. И Ахматова, и даже Мандельштам, единственный из всех осмелившийся заклеить Сталина яростными стихами «Мы живем, под собою не чуя страны», теперь пели «кремлевского горца». А несчастный Платонов с детской хитростью называл утрюмого вождя «большим и добрым». Чичикова тоже умиляла доброта Плюшкина. Не великий, но очень талантливый косоглазый Незлобин воспел даже дымок из сталинской трубки.

Словом, мастера пера по уши увязли в дерьме. Но замечательно, с какой быстротой, едва кончился террор, люди вернули себе внешнюю форму и даже что-то похожее на чувство

собственного достоинства. Не все, разумеется, но элитарный слой литературы, который в ту пору еще существовал.

Однажды в Кении мне пришлось наблюдать поразившую меня сцену. Хищник из семейства кошачьих, кажется пума, погнался за антилопой. Но когда антилопа прыгнула через неглубокую расщелину, хищник поленился следовать за ней, может, не был по-настоящему голоден. Антилопа тут же оборвала бег и спокойно принялась пастись. Так же повела себя литературная элита: как только хищник остановился, она стала грациозно пощипывать траву культуры и творчества. Вернулось и осмотрительное общение, все были хорошо обучены, когда надо, «брать на прикус серебристую мышшь».

Считалось так: Сталин ничего не знал, его обманывали (вождь терпел не только от своей доброты, но и от доверчивости — наивное, чистое сердечко!), и вот спустился с кавказских гор его друг, честнейший человек, истинный джигит, — Берия и навел порядок: прекратил аресты, а злодея Ежова наказал по заслугам. Никому вроде бы не вспало на ум: почему не возвращают невинно осужденных? Если их вопреки очевидности взяли по делу, то в чем вина Ежова? Не надо предъявлять слишком высоких требований к несчастным, чудом сохранившим свободу и жизнь. Самообман служил им ко спасению. Только так можно было выжить, не сойти с ума, не наложить на себя руки, сохранить правдоподобие реакций, жестов, интонаций, всей системы поведения, способность к улыбке и смеху, строго дозированному — чрезмерная веселость была столь же подозрительна, как и чрезмерная печаль. Едва ли уместно помирать со смеху при таком капиталистическом окружении, но и разводить слезницу не больно умно, ведь когда еще вождь указал: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее».

Население страны, а писатели входят в него малой частицей, потеряв своих гениев (Флоренского, Мандельштама, Вавилова, Мейерхольда), потеряв без числа высокоталантливых, замечательных людей, потеряв родных и близких, передернуло блохастой шкурой и продолжало жить и даже получать от этого какое-то удовольствие. Тут нет ничего осудительного. Если б люди, народы не обладали способно-

стью быстро забывать зло, стряхивать с себя кошмар переживаний и начинать сеять на пропитанном свежей кровью поле, всякая жизнь на земле давно бы прекратилась. Возможно, сразу после убийства Каином Авеля и его страшной фразы: я не сторож своему брату. Но сколько потом случалось лихих времен (одно царствование Нерона, породившее нечеловеческий вопль Иоаннова апокалипсиса, чего стоит!), а люди жили дальше.

Так и к середине тридцать восьмого года, утешенные прекращением арестов, явлением доброго кавказца — гаранта права, справедливости и мягкосердия, советские люди, всегда ценившие право на отдых выше всех остальных человеческих прав, дружно готовились реализовать то прекрасное, что проявляется, по словам поэта, в каждой душе с приходом лета. И я, восемнадцатилетний, был среди них.

За год до этого я впервые увидел море. Почему-то я боялся этой встречи. Моя мать мало рассказывала мне о своей жизни, особенно о детстве и отрочестве, как-то всегда вскользь, небрежно, без любви и тепла к домашним; мою оставшуюся незримой бабушку, свою мать, она, по-моему, ненавидела, а отца, призрачного дедушку, не помнила, он покончил самоубийством вскоре после ее рождения. Она не испытывала приязни ни к братьям, ни к сестре, ни к тетке, у которой почему-то жила большую часть детства в усадьбе под Полтавой. Какое-то гадливое восхищение вызывал в ней лишь управляющий имением ее родителей, обрусевший немец и авантюрист Павел Августович Тубе. Мне кажется, он и явился причиной самоубийства ее отца. На фотографии этот крепкий, с нагловато-насмешливым взглядом человек похож на красавца борца Луриха.

И лишь когда она говорила о море, ее зеленые жесткие глаза обретали мечтательный лазурный отсвет, из этого отсвета родилась и моя мечта о море. Имение родителей матери находилось между Симферополем и Форосом, естественно, что на заре жизни ей досталось много, много моря.

И когда в исходе прошлого лета отчим получил через суд часть денег за непошедшие статьи, он отправил нас с мамой на три недели в Анапу — недорогой детский курорт. Море

открылось сразу в виду Новороссийска из поездного окна и оказалось невероятно длинным, свернутым в рулон театральным задником грязно-тусклого сизо-голубого цвета. Я видел такую вот холщовую, в потрескавшейся масляной краске колбасу, когда мы с мамой ходили за сцену Большого театра в уборную к ее приятельнице балерине Олениной.

По мере нашего сближения с этим рулоном (сейчас я говорю о море) он стал опускаться ниже и ниже, уподобляясь мерцающей тени земли над горизонтом после заката. Потом он весь гофрировался, его испещрили белые крапушки, вскоре ставшие барашками, стремящимися к берегу. И вдруг пришло ощущение водной стихии, громадной и непрестанно движущейся. А затем начались его бесчисленные превращения: цветовые, звуковые, кинетические, все те дивные метаморфозы, из-за которых море никогда не надоедает и влечет к себе каждого, кто хоть раз его видел. И я понял, почему кошачьи глаза матери становились небесными, когда она заговаривала о море.

На новое свидание с морем я ехал без робости, хотя и с волнением.

На этот раз море решило удивить меня на иной лад. Когда ранним утром, на подъезде к Феодосии, я отдернул оконную шторку, чуть не до самых рельсов в рассветной неокрашенности простора простиралась бескрайняя лужа сметаны. Изредка по белесой поверхности пробегала голубоватая жилка и гасла. За левым обрезом окошка можно было проглянуть подмешанный к сметане желток. И таким бывает море...

Дом отдыха прислал к поезду разболтанный грузовик с лавками — время было аскетическое. Море мы вскоре потеряли, обрета неживописную, голую, холмистую местность, по которой бежало узкое шоссе в языках сахаристого песка. Потом впереди обрисовались каменные вершины нерослых гор, показавшихся мне величественными, потому что настоящих гор я никогда не видел. И вдруг слева возник ярко-синий конус острием вниз — море заполнило пространство между двух крутых горных склонов, сходящихся у подножия. Это выглядело как налитый всклень бокал с густым синим вином.

И снова море надолго исчезло и вернулось не конусом густой сини, а сверкающей лазурью строго, округло очерченной холмами и горами бухты.

Коктебель оказался небольшим селением, тесным с одной стороны горным массивом, остальным же своим составом свободно раскинувшимся по складчатой, поросшей дикой полынью пустоши.

Мне сказали, что Коктебель с окрестностями, да и вся эта часть Крыма, каменная, будто запорошенная, где редко над кустарниковой порослью: акации, тамариски, олеандры — высится пирамидальный тополь, — сколок с Пелопоннеса. Когда в свой час я попаду на землю древней Спарты, то сухой, будто похрустывающий на зубах, легкий воздух каменной страны подарит меня удивительным чувством родности — я ступал по этой твердой земле, я любил на этой твердой земле, только в пору моей юности она находилась в ином месте.

Нам с мамой отвели комнату в двухэтажном доме против основного здания, построенного еще Максимилианом Волошиным, одушевившим пустынную бухту, помнящую корабли Одиссея. Наверное, это легенда, но каждый истинный коктебелец ей свято верит. Коктебель и вообще распирало легендами, но не древними: визит гомеровской стаи лебединой был, кажется, единственной данью седой старине, остальное мифотворчество творилось из свежего материала времени доктора Юнге и поэта Волошина — здешних первопоселенцев. Я не уверен, что фамилия легендарного доктора, чья могила высится над Коктебелем, — Юнге, а не Юнг или Юнга, не знаю и его имени — это объясняется странной особенностью моей: получать как можно меньше сведений извне об окружающем, никогда не переспрашивать, а творить действительность как бы из самого себя.

Мне кажется, я приложил максимальные усилия, чтобы не узнать тот волшебный, таинственный, мистический Коктебель небожителей, каким он был еще недавно и каким в известной мере оставался натужными усилиями вдовы поэта Марии Степановны, ее дружеского и паразитарного окружения. Сохранившаяся за ней немалая часть дома напоминала не то улей, не то муравейник — так набита была постояль-

цами, в большинстве своем самовольными. Днем эта несметь разбредалась по пляжу, горам, бухтам, но куда она девалась ночью, понять невозможно. То ли эти перевертни летучими мышами прицеплялись к стрехам, ветвям деревьев, то ли заползали сколопендрами в какие-то щели, лазы, закомары, то ли мышами хоронились под полом, на чердаке. Среди них были актеры, студийцы, художники, эстрадники, студенты, музыканты, просто слонялы в ореоле непризнанной гениальности, ничьи дети, грязные и переразвитые, чуть особняком держался красивый романтический человек с огромным средним пальцем на левой руке, который он носил в специальном кожаном мешочке. Все эти люди считали себя наследниками волошинского духа, поэтому дамы обходились хитонами на голое тело и полынным веночком на выгоревших волосах, мужчины — папуасской повязкой вокруг чресл, и те, и другие любили бродить по дикому пляжу в обнаженном виде. Великих насельников Коктебеля, которых в глаза не видели, они называли только по именам: Макс, Марина, Осип, Боря (Андрей Белый), друг для друга у них были клички, чем подчеркивалась их экстерриториальность. Они не смешивались с отдыхающими, на которых лежало клеймо узурпации. При моей почти сознательной неинформированности я в них так и не разобрался и ни с кем не сблизился.

Но не избежал посещения святая святых — покоев Волошина, где жрицей была вдова Мария Степановна. При жизни поэта (я так и не понял, кем он был: гомосексуалистом, импотентом, бесполом, как Леонардо, или рукоблудом, существовала и такая секта в серебряном веке, но, кроме умной и властной матери, ни одна женщина не играла роли в его жизни) Мария Степановна исполняла роль няньки, прислуги, сиделки, позже — хранительницы очага. Но с помощью своих смекалистых приживалов выучилась на первоклассную вдову, став ровень с великими тенями.

Она ходила ночевать на могилу мужа, венчавшую довольно высокий взгорок по левую сторону бухты, носила туда какую-то снедь, в дни его праздников — рождения, именин — там разжигался костер. Ее не останавливали довольно частые секучие и холодные коктебельские ветры,

старожилы туманно намекали, что Бог ветров щадит заветное место. Она была очень некрасива, мужеподобна, крепкокула, с черными татарскими усиками от углов губ, что придавало особую убедительность шаманству. О достопримечательностях кабинета Макса она говорила всегда одними и теми же словами, с одной и той же интонацией, в которой отрешенность объективного свидетельства смягчалась едва уловимой печалью, — умный прием, и речь ее была проста, правильна, точна и тем красива. Главными достопримечательностями Максовых коллекций были: вмонтированная в стену голова египетской богини Таниах и обломок весла с Одиссеева корабля.

Я чту и знаю почти всех сколь-нибудь примечательных поэтов серебряного века, моей любимой литературной эпохи, за исключением Волошина. Конечно, я читал воспоминания о нем Цветаевой, где так чист и трогателен его образ; он присутствует во многих мемуарных книгах, очерках, письмах и всегда привлекателен, и те немногие стихи его, которые мне попадались, хороши или очень хороши. Сейчас появилась целая «волошиниана» — сборники его стихов и прозы, переписка, воспоминания о нем, я все приобрел, поставил на полку и не прикоснулся. Коктебель встал между нами, шаманские игры Марии Степановны, богиня Таниах с загадочной улыбкой на полных губах, обломок Одиссеева весла, фальшь ломающихся у жреческого костра. Мне противна собственная мелкость. Я же знаю, культ Волошина нужен был, чтобы помочь выжить вдове и дому, не дать загребушим лапам Литфонда, равнодушных правителей СП отобрать последнее: выставив вдову вон, захватить дом, библиотеку, картины, раритеты. Приехав в пятьдесят третьем году в Коктебель, я нашел Марию Степановну в последней беде — делясь с неизменными нахлебниками положенным ей довольствием, она подголаживала. Я отдал ей путевку и перебрался в деревню на собственные хлеба. За всеми жалкими и безобидными играми волошинцев скрывалась отчаянная борьба за выживание.

А с Марьей Степановной мне довелось встретиться еще раз, на открытии выставки акварелей Волошина в Доме

литераторов. Сказав вступительное слово, я увидел в толпе ее и подошел, чтобы поцеловать руку.

— Уйди! Уйди! — отмахнулась она. — Я тебя боюсь.

— Я плохо выступил?

— Ты теперь генерал. Я таких боюсь.

— Я не генерал. Я как был в дерьме, так и остался.

— Правда, что ль? — Она остро, темно и недобро глянула на меня и ответила себе: — Правда. Тогда дай я тебя сама поцелую.

Тем и окончились наши отношения — как в классическом американском фильме: нежным поцелуем...

Приезжавшие в писательский дом отдыха оказывались перед выбором, как русский витязь на распутье, конечно, этот выбор не грозил ни потерей коня, ни потерей жизни, но дорогу надо было избрать. Или примкнуть, конечно, не на равных, к посвященным: являться на поклон к Марье Степановне, показывать ей найденные на пляже сердолики, фернампиксы, халцедоны, агаты, дымчатые топазы, ходить босиком, то и дело извлекая из пяток колючки, купаться только на диком пляже, желательно в костюме Адама и Евы, изнурять себя походами «к Юнге», «к Волошину», в Лягушачью и Сердоликовую бухты, на Карадаг, Серрюккая, в Отузы и Козы, участвовать в шарадах, импровизированных спектаклях, читках, домашних торжествах, знать слова прекрасной коктебельской песни «Ал разлив огня, в зареве закат», а также все прозвища и клички, свободно пользоваться коктебельским жаргоном, восхищаться мифической поэтессой Черубиной де Габриак, стараться принести хоть малую пользу безалаберной жизни коммуны и вообще подчинить свой распорядок неписаному уставу волошинской вотчины.

Другой путь: быть просто курортником, мало чем отличающимся от ялтинского или гагринского бездельника, — валяться на пляже, играть в преферанс, на бильярде, в теннис и волейбол, дуть плодоягодное вино, таскаться за бабами и не утруждать себя походами дальше презренных своей близостью Яньшар. Подымало над обыденностью и этих пустышек чудо природы: горный склон, ограничивающий

бухту справа, являл собой гигантский и четкий профиль Волошина, погрузившего в море кончик бороды.

Меня занимал сегодняшний день, и я без колебаний выбрал второй, вульгарный путь. Если оставить в стороне идолопоклонников, то и остальной Коктебель был многослоен. Элиту представляли обитатели дома отдыха Ленинградского литфонда. Даже приезжавшие сюда на недельку-другую без путевок московские гранды литературы (первое же стадное награждение орденами разделило писателей на привилегированных и всех остальных, к последним попали Ахматова, Пастернак, Бабель, Олеша) останавливались у ленинградцев. Там выделялась живописная фигура козлобородого, в огромной соломенной шляпе, с посохом и коробом, литературоведа Десницкого, величайшего собирателя полудрагоценных камушков, рослая, эффектная чета: Мариенгоф и Некритина — «Мартышка» есенинских дней (их сын Кирка находился в пионерском лагере для детей писателей на «московской» территории), сухопарый, дочерна загорелый, очень самоуверенный Лавренев и особенно — влекшая мое внимание пара: золотоволосая красавица Горностаева, недавно ставшая женой сценариста Каплина, и молодой ленинградский писатель Мессер, ее бывший муж. Сейчас в Ленинграде — тьфу ты! Санкт-Петербурге — доживает старый, скрипучий, с изможденным лицом еврей Мессер, хороший новеллист, честно и чисто проживший свою литературную жизнь, а тогда это был красавец, орел, образец мужчины: отличный рост, мощная фигура, борцовый разворот плеч, твердый розовый улыбчивый рот, теплый веселый взгляд. Отдыхающие с недобрым волнением наблюдали за его «взаимодействием» с бывшей женой, похоже было, что в обоих «все бывшее в отжившем сердце ожило». С той оговоркой, что сердца их были молоды и только входили во вкус жизни. Тем не менее судьба Горностаевой была уже взвешена, подсчитана и решена: ей недолго оставалось гулять на воле. Я не знаю участи Горностаевой, знаю лишь, что ее фамилия вскоре исчезла с титров фильмов, созданных в соавторстве с Каплиным, исчезла и она сама.

Отдыхающие со злобным нетерпением поджидали приезда Каплина и были жестоко разочарованы тем, как безмятеж-

но и лучезарно пара превратилась в троицу. Вместе ходили они на дикий пляж, в каньоны, на кинопросмотры в соседний санаторий, гуляли по берегу, участвовали в пикниках. Эффектно выглядели эти трое — Каплин был тоже очень хорош в молодости, свое обаяние он сохранил до последнего дня жизни.

Я смотрел на мужчин этого содружества с восторгом, исключавшим зависть. Я знал, что мне никогда не стать таким же видным, свободным, уверенно победным. От них, как от спустившихся на землю небожителей, шло какое-то сияние, блистание, колебавшее воздух марево. Как сверкала в улыбке эмаль их зубов! Какие блики отбрасывали защитные очки! Какие стрелы метали золотые наручные часы! И весь этот фейерверк творился вокруг бледной, не поддавшейся загару, чуть анемичной, хрупкой женщины с солнцем в волосах. Они двигались будто в золотой капсюле, занятые друг другом, но, конечно же, не могли не знать о производимом ими впечатлении, ибо весь пестрый и скудный коктебельский мир начинал вращаться вокруг них, подстраивать свой ритм под них, ориентировать поворот шеи, ось зрения на них; они управляли мимикой и движениями окружающих: застряла пятерня в затылке, отклячилась нижняя губа, вытаращились буркалы, замерло слово в гортани, оступилась нога — все происходило под действием их магнетизма. Бедняки жизни еще более съеживались, ссыхались от сознания своего ничтожества.

Какие же все мы непрочные, беззащитные, несчастные! Могло ли прийти в голову этой красивой, беспечной, легкокрылой женщине, что в недалеком будущем весь свет навсегда погаснет для нее, а мироздание сведется к вонючей камере и застенку, населенному садистом следователем? И мог ли думать победитель Каплин, первотворец великих кинофальсификаций о вожде революции, защищенный сверх меры своей небывалой удачей от всех напастей, что и ему гулять на свободе всего несколько лет, а там начнутся тюрьмы, пересылки, лагеря на десять лет, лучших лет в человеческой жизни, что выйдет он седым, погасшим и навсегда оробевшим?

Уцелел из всех троих наименее преуспевший Мессер, как всех уютных евреев, его звали Зяма, но, зная, слишком близко от него рвались снаряды, он удивительно быстро сбросил яркий наряд молодости, потускнел и сам себя убрал с фасада жизни. У борцов это называется потерять кураж. Но главное он сохранил — свой дар и благородство поведения.

Но сейчас они, не ведая своей судьбы, молодые, красивые, овеванные славой одного из них, шествуют по берегу, мимо столовой нашего дома отдыха, — и я проливаю борщ на рубашку, а сосед по столику роняет нож, мимо дома Волошина, где приживалы всполошно и шумно, как в курятнике, куда забралась лиса, демонстрируют свою бодрую независимость — на грани презрения — от нуворишей, но в этом едва ли не большая потрясенность, чем в пролитом борще, а троица продолжает свой путь в сторону Янышар, и все загорающие на пляже дружно поворачивают к ним головы с залепленными бумажкой носами.

Община ленинградских писателей по всем статьям была московских коллег. Они были представлены своим литературным цветом, перед войной Ленинград не успел опровинциализиться, узор чугунных оград и прозрачный сумрак белых ночей еще удерживал на месте сильно косившую в сторону Москвы творческую интеллигенцию. Война и сталинские репрессии, так называемое «ленинградское дело», покончат с духовным приоритетом Ленинграда, но в пору, о которой идет речь, Москве не пристало задирать голову перед развенчанной столицей. К тому же в нашем доме отдыха москвичи находились в меньшинстве, преобладали украинцы и белорусы, мощно был представлен Ростов-папа и темные литературы автономных республик. В отличие от ленинградцев, мы не являли собой монолита. Из знаменитых у нас был один Александр Жаров, некогда многошумный певец советской деревни, ныне едва державшийся на плаву с помощью партийных связей. Имелось много почти не различных увядших дам: переводчиц, детских поэтесс, редакторш и захудалых писательских родственниц. Неоспоримую ценность являла лишь семья философа Гербета, близкого друга Пастернака и Нейгауза. Недавно, ко всеобщему изумлению,

на Гербета, отвлеченного философа, снизошла милость верховной власти: Молотов одарил его цейсовским телескопом для вдумчивого наблюдения небесных светил. Я и сейчас не могу понять, на кой ляд понадобился Гербету телескоп для его компилятивных трудов по греческой философии.

На территории нашего дома отдыха в двух зданиях недавней стройки размещался пионерский лагерь для детей писателей. Пять лет назад я провел лето в таком же заведении, называемом тогда колонией, близ Старой Рузы, где в белой церкви, высоко ставшей над Москвой-рекой, венчался Чехов. Потом кто-то додумался, что слово «колония» звучит плохо, ибо так называли места заключения малолетних преступников и приюты для беспризорных. Поэтому, это название было самым подходящим для временного местопребывания разболтанных, хулиганистых, с дурными наклонностями писательских чад, но уже на следующий год в Голицыне нас переименовали в лагерь, и это название удержалось, хотя в скором времени стало куда более зловещим, нежели колония.

Удивительно хорошие мальчики были в коктебельском лагере. Даже странно, что на гиблом, плохо возделанном советском поле поднялась такая славная поросль, ставшая жатвой будущей войны. Уцелело всего несколько человек. Все они, кроме одного-единственного, не нужны для моего повествования, но я все-таки скажу о них. Быть может, если я не сделаю этого, то никто о них и не узнает, а ведь они своими жизнями откупили нас у смерти.

Стройные и высокие, как на подбор, красивые, сильные, очень спортивные и при этом духовные, что редко идет об руку с физическим совершенством, вот они: Корнев, Чечановский, Антокольский, Арго, Мариенгоф, Розанов — он уцелел. Лишь самый одаренный, самый интересный по характеру, мой незабвенный друг Оська был ростом невеличка. Самый же высокий и гибкий, с открытым, ясным взглядом и дивно очерченным ртом, Миша Вольф стал печально знаменит под своим именем Маркус — организатор и душа штази, ныне отбывающий срок заключения. А вот следующая за ними возрастная группа была почему-то приземистой, хотя лично

не менее примечательна, там выделялись Юлий Даниэль — я буду подписывать письмо с требованием освободить Даниэля-Аржака и Синявского-Терца; Тимур Гайдар — ныне контр-адмирал и отец знаменитого реформатора; Олег (Блешка) Луговской — экс-разведчик; покойный Конрад Вольф — прославленный кинорежиссер.

Среди старших ребят были Ромео и Джульетта: блестящий прыгун в воду Юра Чечановский с профилем, как будто выбитым на медали, и прелестная семнадцатилетняя Ирочка Локс. Я приехал по следам какой-то драмы, сути которой не знаю толком. Их роман длился уже давно, но Ирочка в отличие от четырнадцатилетней Джульетты не могла предварить браком первое объятие с любимым, хотя была старше на три года страстной и благоразумной веронки. Строг умный советский закон. Она забеременела и с отчаяния не то пыталась наложить на себя руки, не то каким-то доморощенным способом изгнать плод. Однажды ночью в пионерлагерь из Феодосии примчалась «Скорая помощь». Ирочку в бессознательном состоянии увезли в больницу. На Чечановского, кинувшегося за машиной, гуртом навалилась вся старшая группа, его скрутили и отвели в дортуар. Через неделю Ирочка вернулась, бледная, но улыбающаяся. Ни в отношениях с Юрой, ни в отношениях с ребятами ничего у нее не изменилось. Первое было в порядке вещей, второе вызывало уважение. Распушенная и по-молодому циничная бурса повела себя, как единое чуткое сердце. Сплетню задавили в самом ее зачатке. Даже Оська, у которого не было от меня секретов, жевал вату, делая вид, что не понимает, о чем идет речь. Вот почему я не знаю подробностей этой драмы.

Ирочка Локс погибла во время первой бомбежки Москвы, фугас угодила прямо в дом на Волхонке, где она жила по соседству с некогда знаменитым драматическим тенором Лабинским, другом нашей семьи, он тоже погиб. Чечановский не вернулся с войны, мне неизвестно, узнал ли он о судьбе своей любимой.

Погибли Юра Арго и его приятель, сын драматурга Базилевского, мальчики были помешаны на юморе Вудхау-

за — из числа добродушных английских остряков. О гибели своего сына, нежного мальчика Володи, поэт Антокольский написал потрясающую поэму. Не вернулся и сероглазый Коренев. Была такая игра — кто больше уложит спичек на его пушистые ресницы. Не вернулся и Оська. А вот Адриан Розанов уцелел, стал журналистом, мы как-то случайно встретились, но он не захотел увязывать настоящее с прошлым.

Ужасной оказалась судьба блистательного теннисиста Киры Мариенгофа. В десятом классе он полюбил девочку, вскоре она забеременела, и Кирка повесился. В доме был культ Есенина, точно так же распорядившегося своей жизнью, хотя, разумеется, по другой причине. Он держал на руках маленького Кирку, о чем тот всегда говорил с благоговением. Анатолий Мариенгоф в своей знаменитой книжке «Без вранья» рассказывает о том, как нежен был Есенин с новорожденным Киркой. Самоубийство Есенина породило цепную реакцию смертей: через год у его могилы застрелилась молодая женщина Бениславская, которую он так и не сумел полюбить, еще через год покончил с собой его друг Устинов, с которым он провел последние дни жизни. Кирка был ушиблен судьбой Есенина, в черных материнских глазах этого подтянутого спортивного юноши была временами такая глубокая тоска, что становилось страшно за него. После гибели Кирки отец нес о его смерти несусветную ахинею, и я усомнился в правдивости «Романа без вранья»: никакой девочки не было, никакой связи не было... Все это было, но было и еще одно: веревка как способ разрешить конфликты не подвергалась проклятию в доме — к расправе Есенина с самим собой относились пусть не с одобрением, но с пониманием.

Я начинаю свою повесть с того, чем Шекспир закончил «Гамлета», — с горы трупов. Но что поделать, если в советском воздухе всегда пахло смертью. В середине тридцать восьмого курносая попридержала свою косу. Ненадолго. Кира Мариенгоф попал в антракт, оборвавшийся раньше времени позорной, бездарной, с неоправданно громадными жертвами финской войной, а с июня сорок первого коса пошла косить направо и налево. Когда же остановилась, большей части тех, кого ты любил, уже не было на свете.

Приходилось начинать все сначала с другими партнерами. Мор на коктебельских мальчиков не прекратился и после войны. Покончил с собой талантливый философ Ильенков — от советской духоты, повесился алкоголик Борька Анисимов, по-есенински задохнувшись в самом себе.

Чтобы покончить с человеческим наполнением коктебельского пространства, надо сказать о тех несчастных, которые не были прикосновенны ни к волошинскому дому, ни к литфондовским угольям. Такие фигурки, написанные с величайшей тщательностью, если их разглядывать в лупу, рассеяны на заднем плане полотен Питера Брейгеля. Они удивительно углубляют непритязательные брейгелевские сюжеты: жатва, возвращение с охоты, пирушка — как знаки того огромного мира, малой частью которого являются участники первоплановой сценки, они словно намекают на тайну, которая всегда в отдалении. У нас этот задний план представляли обитатели двух санаториев, отделенных от моря пустырем и шоссе. У них была своя дорожка к пляжу, почти примыкавшему к нашему — женскому, что ничуть не смущало царственную наготу литфондовских купальщиц, но очень возбуждало простоватых зашельцев. Их волновали не только увядшие прелести переводчиц и детских поэтесс, но и вся загадочность, которая в глазах простых людей оведала касту писателей, ныне окруженную холодным презрением. Бедняги старались пробраться на пляж через нашу закрытую территорию, раздирая штаны и юбки на шипах ограды, по вечерам прогуливались мимо стоявшей на берегу столовой, кося глазом на снедающих мастеров пера, а с наступлением ранней южной темноты боязливо окружали профессора Гербета с телескопом. Перешептывались, переминались и, похоже, ожидали какого-то жуткого чуда от его манипуляций. Но ничего не случилось. Гербет обзревал светила, потом снимал очки, тщательно протирал стекла, щурился, жмурился, моргал, словно ему попала в глаз звездная пыль, слегка дергая головой — нервный тик, и тут неизменно раздавался хриловатый от волнения, но решительный, даже с вызовом голос:

— А скажите, товарищ профессор, есть ли жизнь на Луне?

Гербет вежливо и терпеливо объяснял, что на Луне жизни нет.

Это удовлетворяло, хотя несколько разочаровывало аудиторию, люди, потоптавшись, расходились. Гербет возвращался к своим бесплодным наблюдениям. Затем скапливалась новая толпа, и вновь звучал тот же идиотский вопрос.

Однажды ритуал был нарушен.

— Есть ли жизнь на Луне? — спросил очередной дурак.

— Нет, на Луне жизни нет, — ответил с терпеливым вздохом профессор.

— А на Земле? — раздался насмешливый голос.

Люди захихикали, завертелись, ища остряка. И вдруг толпа стремительно растаяла, как брошенная в кипяток льдинка, все вдруг и разом поняли опасность шуточки. Весельчак тоже исчез. В недалеком будущем мне довелось очень близко узнать Гербета, и я хорошо представляю, что творилось у него в душе. «Старый дурак, дался тебе этот проклятый телескоп! Все равно ни черта нового из него не увидишь. Тоже мне Тихо Браге! Он умер от мочезадержания. И я умру от того же! Как хочется в уборную. Либе Муттер, дейн клейнер Аугустин виль ейнен писс!.. Готт им Химмель, хельфе мир!..»

И Господь Бог услышал мольбу бедного Августина. Он ослабил напор.

— Есть, — прозвучало в спину разбегающейся толпе, тихий голос вдруг обрел профессорскую звучность и поставленность, необходимую для больших аудиторий. — Есть наша с вами прекрасная советская жизнь!

Давясь от смеха, мы с Оськой юркнули в калитку.

— Я думал, он отвлеченный мыслитель, звездочет, а смотри, как вывернулся! — отсмеявшись, сказал Оська. — Силен, Дявуся, значит, на остальной планете жизни нет?

— Как ты его назвал?

— Дявуся. Его так все зовут, за глаза, конечно.

— А что это значит?

— Его падчерица, когда была маленькая, не могла выговорить — «дядя Август», получалось «Дявуся». Кличка присохла.

— Она тоже у вас пионерится?

— Спятил? Ей двадцать лет. Она на третьем курсе института. К ней жених едет... — В темноте его глаза заблестели, как у Анны Карениной, когда она сама почувствовала их блеск. — Ты что, Дашеньку не видел? Живешь тут третий день, шляешься в столовую, а не видел Дашеньку?

— На ней не написано, что она Дашенька. Может, и видел.

— Нет, не видел. Иначе не порол бы такой чуши. На жар-птице тебе тоже нужна надпись?

Но не заинтересовался я этой жар-птицей, сразу решив, что она не про мою честь. Красавица, двадцать лет, ждет жениха, да и Гербет, несмотря на сегодняшнюю сцену, внушал мне, еще не настоящему студенту, священный трепет, и я видел его жену, Дашенькину мать, крупнотелую, величественную особу с пугающей улыбкой, широкой, белозубой и, как погреб, холодной.

— Бог с ней! — сказал я, далекий от мысли, что подчиняюсь классическому сюжету, согласно которому Ромео надо вспыхнуть бенгальским огнем к надменной Розалинде, прежде чем столкнуться со своим роком в лице Джульетты. — Ты знаешь блондинку культурницу из ВАММа?

— Лизу Огуренкову? Где ты ее высмотрел?

— На пляже. Она сразу бросается в глаза.

— Ага, — равнодушно согласился Оська. — Из-за белых волос.

— Не белых, балда, а платиновых. Она хорошенькая и сложена, как богиня.

— Ширпотреб, — сказал пятнадцатилетний знаток женщин.

— Можешь меня с ней познакомить?

— Да, если ты предварительно представишь меня... Коктебель не Ривьера. Ты познакомишься с ней, когда трахнешь. Это сближает.

— Хватит трепаться. Она же культурница, ей нельзя...

— Она тебя интересуется с точки зрения культуры? Ладно, пойдем завтра на пляж, посмотрим на нее вблизи.

Утром мы отправились любоваться Лизой Огуренковой. Оська тащился со мной без охоты. Только потом я догадался, что в нем говорил оскорбленный сват Кочкарев. Он предлагал мне мрамор Каррары, а я погнался за рыночной дешевизной. Впрочем, «погнался» весьма относительно, поскольку начисто был лишен дара того ласкового наскока, который помогает настоящим мужчинам легко заводить знакомства с девушками, которых видят впервые в жизни.

Лизу мы обнаружили чуть не за километр от кишящего телами пляжа — ее платиновая голова собирала на себе все солнце Коктебеля.

Мы зашагали через тела и по телам и выискали свободное место довольно далеко от Лизы, что надо отнести не столько за счет перенаселенности пляжа, сколько за счет моей робости — почему-то я ужасно боялся, что окружающие догадаются о моих кавалерственных намерениях. Конечно, никто и внимания не обратил на двух мальчишек, и меньше всего сама Лиза, окруженная, нет, облепленная, как долька апельсина мухами, лучшими представителями воинственного дома отдыха, убедительно мускулистыми, с упрямыми бритыми затылками и громадным опытом обольщения.

На что я рассчитывал? На свое собственное, завышенное представление о себе. Я был скромн и зажат на людях, внутри же так блестящ, отважен, победителен, что если вспомнить всех романтических героев прошлого, то какое-то представление обо мне мог бы дать лишь ибсеновский Сигурд Рибунг — печальный воитель, покоривший яростное сердце Брунгильды. Но Сигурду было далеко до меня в умственном отношении, тут подходил разве что Оскар Уайльд своей лучшей поры, после тюрьмы он сильно сдал.

Присущие мне — глубоко скрытые — достоинства поддерживались высокой репутацией литфондовского дома отдыха, а последняя опиралась на то исключительное положение в общественном мнении, которое вопреки всем гонениям, проработкам, репрессиям занимали писатели. А может, не вопреки, а именно вследствие них. «Тяжка судьба поэтов всех земель, /Но горше всех — певцов моей

России», — писал В. Кюхельбекер. А ему и в самом страшном сне не могла привидеться судьба певцов России при советской власти. Зло усердно мудровало над русскими певцами и в царское время: сослали Новикова и Радищева, разделались с Княжниным, повесили Рылеева, убили кавказской пулей Бестужева-Марлинского и пулями негласных наемников Пушкина и Лермонтова, замучили солдатчиной Полежаева, в бессрочную ссылку, публично надругавшись, отправили Чернышевского, имитацией казни и острогом сломали душу Достоевскому. Эстафету приняла советская власть, с ходу расстреляв Гумилева, доведя до самоубийства Есенина и Маяковского, а там перешла к массовому уничтожению певцов России. И кто знает, может, в нашем народе, от века жалостливом к узникам и обреченным, исконное уважение к печатному слову навсегда окрасилось сочувствием, умильным ощущением непрочности этих чудачков, берущих на себя труд обращаться к человеческому сердцу ценой собственной крови. Это тайное, подсознательное чувство, но только им можно объяснить, почему русский человек смотрел на писателя, как на попа, которому можно доверить все скрытое, стыдное, грешное, даже преступное. Писатель примет на себя твой груз и облегчит твою совесть. Подобное отношение исчезло лишь сейчас, когда сломался становой хребет народа.

Сам я уже год пописывал, хотя, кроме домашних да двух друзей, ни с кем не делился своими творческими потугами. Но мне казалось, что вечно женское души Лизы проглянет мою тайну, на которой лежит свет народного благоволения. Петля Вийона, застенки Радищева, каторга Достоевского, пуля Гумилева, манящее очарование Литфонда откроют мне ее объятия.

Водоворот, бурлящий вокруг Лизы, несколько подутых, успокоился, выявив цель, которой она не стала противиться, оказывается, народ волновался, желая песен. Лиза достала из-под вороха брошенной на песок одежды гитару и стала подкручивать колки. Мы с Оськой замешались в толпу и благодаря нашей худобе и нерослости сумели пробиться чуть ли не вплотную к Лизе. Понимая, что среди микеланджелов-

ских торсов ее почитателей я выгляжу не слишком авантажно, я решил взять ее сложным выражением печали зарождающейся любви, легкой иронии к окружающему, умеряемой снисходительностью и бедовой искоркой в глазах. Как-то не выстраивалась у меня гримаса, и бедовую искорку не удавалось высечь.

— Больше жизни! — шепнул мне Оська. — Тут не кладбище.

Я не успел огрызнуться, Лиза запела:

Гаснет луч пурпурного заката...

— Культурного, — довольно громко поправил Оська.

Косые взгляды дюжих молодцов заставили его прикусить язык. По счастью, никто не понял, что это насмешка, думали, добросовестное заблуждение. А то могли по шее наkostenять, и мне заодно, как сообщнику. И моя значительная, с таким трудом скроенная мина не помешала бы вульгарной экзекуции. Но, слава Богу, обошлось. Я закрепил поползшую с испуга гримасу и по-наполеоновски скрестил руки на груди.

Только раз бывает в жизни встреча,

Только раз судьбою рвется нить...

Лиза низко склонилась над гитарой, я видел лишь ее платиновую голову, но никак не мог взглядеться в лицо.

Только раз в осенний хмурый вечер

Мне так хочется любить.

Она дала затухнуть последней ноте и подняла голову. Глаза у нее были темно-синие с радиальными черточками от зрачка к ободку радужки. Она была на редкость хороша: округлое лицо, полные цветущие губы, высокая грудь, тонкая талия, длинные загорелые ноги.

И при всем том я сразу понял, что не пройду у нее, несмотря на всю поддержку великой русской литературы и чарующую притягательность Литфонда. У Лизы Огуренковой даже Достоевский не прошел бы. Старший лейтенант бронетанковых войск с бритым боксерским затылком, руками-лопатами и крепким сивушным запашком — вот для кого расцвел этот цветок среди терриконовиков. Оська был прав.

Прощай, Розалинда!..

2



За ужином я почувствовал непонятный дискомфорт. Что-то произошло в столовой, это тревожило, мешало, сбивало с толка, как-то беспредметно волновало. Уголок глаза слезило высверком, будто кто-то нарочно посылал мне в зрачок солнечных зайчиков. Я чуть переместился, ушел от спящих стрел и увидел серебристо-атласное платье сидящей ко мне вполоборота загорелой дамы. Я редко видел такой густой, плотный и совершенно ровный загар. Странно и неуместно выглядел серебристый атлас в более чем скромном помещении нашей едальни, куда отдыхающие, вопреки всем усилиям томной сестры-хозяйки, являлись зачастую с пляжа в трусиках, пижамах, халатах.

Возможно, она оделась так для какого-то праздника. Оська говорил, что в ленинградском доме отдыха каждый вечер что-то празднуют: то приезд, то отъезд, то чей-то день рождения, то памятная литературная дата. Но и для таких локальных торжеств она вырядилась слишком бально, карнавально, хотя серебро прекрасно контрастирует с великолепным шоколадным загаром ее лица, долгой шеи, оголенных по локти рук.

Лапшевник с мясом отвлек меня от наблюдения, я забыл о даме в атласном туалете. Когда же заминка в перемене блюд вновь освободила меня для внешних впечатлений, в столовой все переменялось, потому что солнце почти погрузилось в море, сменились освещение и краски. За столом, где серебрилась атласная дама, теперь сидела загорелая, совсем молоденькая женщина в белом скромном платье, с очень прямой спиной и гордо посаженной на высокой шее головкой. Волосы собраны в пучок, напоминающий крендель и скрепленный небольшим черепаховым гребнем. Профиль оказался

мягче, чем можно было ждать при такой посадке головы, и ослепительно сверкали зубы, выблескивая из плотной коричневой загара. А куда же девалась роскошная дама в серебряном атласе? Да это была она же, только в другом освещении. Мягкий вечерний свет все смягчил, пригасил, впрочем, это касалось одежды, но не самого шоколадного чуда, ставшего юнее, но не поступившегося величиной. Кто она такая, и почему Оська ни словом не обмолвился о ней?

Молодая женщина промокнула рот салфеткой и встала из-за стола. Она оказалась ниже ростом, чем я ожидал, видя ее сидящей. Низкие каблуки только худую и высокую женщину не делают присадистой. Для очень развитой верхней половины ее туловища с удлиненной талией ноги ее казались коротковатыми, хотя и хорошей формы. Мне вдруг захотелось развенчать эту молодую женщину, найти в ней скрытые недостатки. Только потом я понял, что стал защищаться от нее, потому что угадал, что она принадлежит к недоступному для меня миру взрослых. Она была не намного старше меня, года на два, не больше, хотя в юности это существенная разница, но статью, поведением, полно расцветшей, стабильной красотой, исключавшей шатания, спад, резкую перемену, что так часто случается у девушек на пути к окончательной форме, она была куда ближе меня к державе взрослости, а может, уже вступила в эту таинственную страну. И почему-то опять ее платье заиграло драгоценными бликами, оно все-таки было из какой-то особой, гладкой, играющей с освещением материи, не платье — я ошибся, — а элегантный казакин при короткой и тоже блещущей юбке.

Тут я увидел, что у крыльца столовой остановилась группа отдыхающих, среди них Десницкий с козлиной бородой, мулат Лавренев и длинный, с ослепительным пробором Мариенгоф. От группы отделился Гербет в чесучовом кремовом пиджаке и шагнул навстречу девушке в казакине.

— Ну, что же ты? Тебя все ждут.

Она что-то ответила, я не расслышал. Из-за мужских спин выступила коупная женщина в нарядном штофном платье и тоже произнесла какие-то не расслышанные мною слова, закинула голову и засмеялась белозубо и холодно. Да это же

Анна Михайловна Гербет, жена звездочета! Наконец-то до меня дошло, что передо мной вся семья Гербетов: муж, жена, дочь, о которой Оська разливался соловьем.

Мое зрение обрело необыкновенную остроту. Я увидел легкую косину, сместившую радужку правого глаза атласной смуглянки ближе к носу, отчего стало больше голубоватого белка. Почему-то я сразу догадался, что мать усугубила очень легкий упрек мужа и это задело самолюбивую девушку. Подавленный протест отыгрался легкой, чуть приметной косиной. Я все угадал правильно, и в дальнейшем сдвинувшийся к носу зрак выдавал ее истинное настроение, даже если она изо всех сил хотела его скрыть.

Кто-то, кажется Лавренев, громко сказал:

— Дашенька найдена, можно идти.

Когда Оська вчера назвал ее имя, оно меня ничуть не тронуло, ведь я не видел за ним человека. Иное произошло сейчас, меня аж всего передернуло, словно я уже знал, что это имя станет для меня на столько лет источником счастья, беды, надежды, горя, тоски, недоумения, злости, нежности, отупения, безмерной усталости.

Самое же удивительное, что я так ничего не понял ни в ней, ни в нашей почти четвертьвековой истории, в том мучительстве, которому она подвергла меня и себя. Я и повесть эту начал писать, впервые не зная, к чему я приду. Обычно я в любой вещи пишу сперва финал. Я очень надеюсь, что, поставив точку, наконец-то пойму то, чего не смог понять в живом переживании. И это не поза, не кокетливый авторский прием, я на дух не переношу подобные литературные игры. А может, пользуясь странным выражением Пушкина, я так и останусь с вопросом?..

Мне кажется, что писатели более слепы к реальной жизни, чем бытовые люди. Софья Андреевна лучше знала своего великого мужа, нежели он ее. Его ненависти и страху она противопоставляла снисходительное презрение. Если бы Достоевский понимал людей, а не придумывал их, разве мог бы он сойтись со своей первой женой, которая потом отравила жизнь и такому пронизательному человеку, как Василий Розанов? Последнего хоть как-то извиняют край-

няя молодость и соблазн наследовать величайшему гению. Писатель изумительно понимает придуманных им людей, тут он такой человекознатец, что диву даешься; проследить душевный путь Раскольникова, заглянуть в омут Свидригайлова, да как же надо знать человека в его самых тайных и темных глубинах! Но ведь эти люди придуманы Достоевским. А в жизни он наверняка проходил мимо раскольниковых и свидригайловых, ничуть не догадываясь об их сути, — его первая жена была пострашнее Свидригайлова. Пруст недаром складывал своих персонажей из разных обитателей сен-жерменского предместья, Комбре, Бальбека и этих искусственно созданных особей рассматривал в свой поразительный микроскоп. Недаром он не испортил отношений ни с одним из своих светских друзей. Ведь даже на такую цельную в своем очаровании и пороках фигуру, как Робер де сен Лен, пошло семь юных баловней высшего парижского общества. И лишь светский лев Монтегю предъявлял единоличные права на барона Шарлюса, сложенного все-таки из двух аристократов, мотивируя свои претензии тем, что только он один может позволить себе быть настолько сумасшедшим.

Если говорить о нас с Дашей, то она, несомненно, знала меня лучше, чем я ее. Разве могу я претендовать на понимание Дашиной сути, если не в силах объяснить, как случилось, что через день после открытия ее в столовой, смиренно признав ничтожность и несостоятельность своей жалкой личности рядом с ней, такой красивой, величественной, взрослой, недоступной, дочери звездочета и белозубой людоедки, невесты известного поэта, спешащего сюда за чисто формальным согласием, ибо все давно решено и чувством и семейным расположением к этому браку, так вот, как могло случиться, что через день мы, целуясь взахлеб, упали со скамейки на дорожку, вьющуюся в глубине тощего парка дома отдыха меж рядами тамарисков, и продолжали целоваться, терзая гравием бедную Дашину спину.

Мне кажется, я помню все, что тогда произошло, но все равно не нахожу объяснения случившемуся. Я и тогда был ошеломлен своей быстрой победой, но все же не настолько,

как из дали лет. Тогда я вроде бы допускал, что Даша невольно ответила силе владевшего мною чувства, но ведь и самая неистовая страсть не гарантирует успеха.

А было так. Я пошел на танцы в санаторий ВАММа. Уже перед концом программы на площадке появилась Даша с кем-то из ленинградцев. Кажется, это был бритоголовый сын Лавренева, один из тех, кому обязана появлением поговорка, что родители наказаны в своих детях. Я пригласил Дашу танцевать, потом еще раз и еще. Бритоголовый не возражал, кажется, он вообще не танцевал. Поначалу мы сбивались, у меня полное отсутствие слуха и чувства ритма. Странно, я не знаю, был ли у Даши слух, я никогда не слышал ее поющей или хотя бы мурлыкающей какой-нибудь мотив. Кажется, это признак скрытной природы, человек проговаривается в том, что он напевает и как напевает, даже про себя. Но чувство ритма у нее, несомненно, было, она быстро подстроилась под мой сбивчивый шаг, и дело пошло на лад. Меня выручала спортивность, тот волевой напор, который может заменить многое, в том числе отсутствие слуха, к тому же я хорошо двигался. Кто-то назвал нас лучшей парой на площадке. Но едва ли я покори́л Дашу танцами, как Фред Астор. Не могу сказать, что я оказался блестящим или хотя бы находчивым собеседником, у меня в башке от волнения образовался полный вакуум. Бессильный родить даже жалкую мысль, поделиться хоть поверхностным наблюдением, я изредка отваживался на вопросы, получая односложные ответы. Так я узнал, что Даша учится в текстильном институте, на машиностроительном факультете, что в Коктебеле она второй раз и ей тут нравится. Нельзя сказать, что эти сведения способствовали нашему сближению.

Нет страшнее муки — муки слова. Я вполне понял жестокую правду этого утверждения не за письменным столом, где я всегда выкручиваюсь с помощью компромиссов, утишающих эту муку, а на танцевальной площадке с Дашей. Я не охоч до праздного словотока, но и не молчун, меня интересует творящаяся вокруг жизнь, привлекают даже самые невзрачные люди, а Коктебель был так богат новыми впечатлениями, и столько хотелось узнать о нем у старожил-

ки, какой по праву могла считаться Даша, но все слова заledenели в глотке, как звуки каретного рожка барона Мюнхгаузена в мороз. Нас словно поместили в какой-то умственный и душевный вакуум, озвученный навязшей в зубах танцевальной музыкой. Бывает сладостная изолированность любящих посреди шумной толпы, но к нашему случаю это отношения не имело. И я обрадовался, когда исполненный сонной неги голос Варламова стал прощаться с нами:

*Пока, пока, уж ночь недалека,
Вы нас не забываюте.
Пока, пока...*

Последние такты, последний шарк подошв об асфальт. Я стараюсь надышаться Дашей и в прямом и в переносном смысле слова: вдыхаю запах ее волос, загорелой кожи, тонких духов, даже материя ее казакина имеет свой таинственный аромат, все это надо сохранить, унести с собой, как и стук ее сердца, который, как мне кажется, я иногда слышу, как и легкий вздох облегчения, когда я каким-то чудом справляюсь с трудным па, как тепло левой руки, которую я держу в своей ладони, как благоуханную радость прикосновения к ее плоти. Ведь это может не повториться. Но разве надышишься тем, кого любишь, а я уже любил Дашу. Невольно я все ниже и ниже склонялся к ее плечу и с последним затухающим «Пока-а-а!..» Варламова поцеловал Дашу в теплую выемку над обнажившейся из-под казакина ключицей.

Она удержалась от резкого, отстраняющего движения, но правый глаз ее сдвинулся к переносью и выблеск белка полоснул, как ножом.

— Что это значит? — спросила она холодно.

— Благодарность, — пробормотал я.

Я так обалдел от своего поступка, что внутренне не мог взять на себя ответственность за него. Это был не я, а кто-то другой, на мгновение прикинувшийся мною. Я даже смутился меньше, чем полагалось бы такому застенчивому человеку, как я. Даша поняла, что то была оплошность простодушия, наивного порыва, а не дерзость записного

хвата. Она угомонила недобрую косину и, зябко передернув плечами, сказала:

— Пойдемте.

Мы двинулись через коктебельские буераки, колдобины, овраги, сухие заросли — имелась вполне сносная дорога, но окольная, и ею по местной традиции не пользовались. Я впервые порадовался всей этой непролази, удлинившей нам путь. Препятствия давали мне возможность опекать Дашу, то подавать руку, вытаскивая из ямы, то подхватывать под локоть, то придерживать за талию, а раз даже, не спросив разрешения, перенести ее на руках через маслянистую лужу. Она просто и деловито принимала эту помощь, не стала ломаться, когда я поднял ее и понес. Она смеялась, а вернувшись на землю, сказала:

— А вы сильный!

— Да разве тут нужна сила? — не слишком находчиво отозвался я.

— Такой худенький, — продолжала удивляться Даша. — У вас пястье тоньше моего.

Надо же — разглядела! Мне казалось, что она смотрит сквозь мою брентную сущность, как сквозь плохо промытое окно. Все происходящее несказанно удивляло меня. Первоклассной компании она предпочла исцербленный асфальтовый круг захудалой танцплощадки, хладнокровно покинула своего кавалера и весь остаток вечера протанцевала с таким жалким человеком, как я. И даже делает вид, будто не замечает, что я сбился с дороги и завел ее в какую-то непролазь. И ведь она, конечно, догадалась, что я влюбился в нее, а это ей так привычно и докучно, так утомительно и не нужно. Наверное, она просто очень добрый человек.

Воображение бурно заработало. Она из жен-мироносиц, она Мария, припавшая к натруженным, пропыленным ногам Спасителя, она из тех, кто спешил к больным, страждущим, голодным, увечным, покрытым коростой, чтобы подать им освежающее питье и горсть олив, смазать целебным бальзамом гноящиеся раны. Это жалостливая, самоотверженная натура, чудом оказавшаяся в нашем холодном расчетливом веке. Как быстро заметила она мою худобу и тонкие пястья,

а ведь другим бросаются в глаза мои широкие плечи и крепкая грудь — признаки устойчивости, а я не устойчив, тонкие, легкие кости отвечают моей внутренней сути: хрупкой, непрочной, ранимой, а на щеках у меня, если внимательно приглядеться, можно обнаружить сквозь загар следы юношеских прыщей — намек на библейские язвы...

Когда впереди возникла ограда нашего участка, я целиком вработался в роль юного прокаженного, которого сердобольная возлюбленная выводит из убежища обреченных, чтобы исцелить силой своей любви или погибнуть вместе с ним.

Разумеется, вся эта дивная и горестная игра пропала втуне, рядом с Дашей оставался худой мальчишка и ненадежный провожатый. Я плохо ориентировался даже внутри нашего убогого колючего парка, а она из деликатности не хотела направлять меня. В конце концов мы забрели черт знает куда, на край мусорной свалки, где ко всей прочей дряни добавилась устилавшая землю колючая проволока, путаная и ржавая. После войны я натыкался на такие проволочные завалы в лесу под Сухиничами, где погиб мой друг Павлик. Даша поранила ногу, о чем я узнал лишь на другой день, увидев ее забинтованную лодыжку. В парке она помалкивала. Почему-то все это ее не только не раздражало, а скорее веселило. Даша прелестно улыбалась, но смеялась редко. Потом я не раз вспоминал, что никогда не слышал столько ее смеха — радостного, самозабвенного. Это было приключение, чем так бедна была ее очень упорядоченная, благообразная жизнь. Ей недоставало девичьей подвижности, легкости, порывистости, она была слишком фундаментальна, подражая, быть может, бессознательно манере матери.

Конечно, это открылось мне не на краю мусорной свалки, а много позже, если вообще не сползло сейчас со стерженька шариковой ручки и высветило что-то в прошлом, что может помочь моим выводам в конце повествования.

С великой мукой, под непрекращающийся Дашин смех, который не давал мне впасть в отчаяние, добрались мы до тусклого, очень старого, быть может, волошинских времен фонаря на полусгнившей деревянной ноге с шестнадцатисвечевой лампочкой без колпака. Он почти не давал света, но

был несомненным признаком цивилизации. И почти сразу под ногами зашуршал гравий полузаросшей жестяной травой дорожки. Приключение подходило к концу. А что будет завтра? Даст ли мне сегодняшний вечер шанс хоть на какую-то короткость с Дашей, или придется все начинать сначала? А что, собственно, случилось такого, что позволяет мне рассчитывать на Дашино внимание? Несколько танцев. Но она любит танцевать, каждый вечер ходит в ВАММ и танцует с каждым, кто ее пригласит. И если бы мы не заблудились по моему топографическому идиотизму, то давно бы расстались и разошлись по своим номерам. Все так, но мы еще не расстались и за нами коротенькая жизнь вместе по пути сюда с преодолением всевозможных препятствий, нас соединили буераки, овраги, бугры, канавы, лужи, она была у меня на руках, что-то говорила, смеялась, и слова ее, и смех принадлежали нам обоим так же, как и этот забытый Богом и людьми дряхлый волошинский фонарь. Я отделился для нее от курортного фона, перестал быть просто фигурой, оживляющей пейзаж.

Мы одновременно увидели скамейку, почти вросшую в землю, кривую, в облупившейся краске и, конечно же, с какой-то старой памятью в морщинах дерева. Не сговариваясь, мы подошли к ней и сели. Она была мокрой и холодной.

— Надо перевести дух, — сочла нужным объяснить наш поступок Даша, она бессознательно давала кому-то отчет.

Вот тут бы и сказать находчивое, теплое слово, как-то обнаружить свою суть. Бессловесные люди не менее утомительны, чем болтуны, с теми и с другими собеседник утрачивает ощущение собственной ценности. Но все, что крутилось в башке, казалось таким пустым, бедняцким, не стоящим Дашиного внимания. А ведь она все время старалась как-то озвучить наше общение, хотя я давно догадался, что из нас двоих она молчуньей породы. Ей надо гораздо реже и меньше колебать эфир, чтобы выразить нужное, соответствующее моменту, нежели мне, вечно во всем сомневающемуся, и слова, которые она роняла, были куда ближе к своей вещественной и душевной сути. Она производила над собой насилие, чтобы не висело над нами угрюмое молчание, а я был

как хорошо закупоренная и запечатанная сургучом бутылка, которую кидают в море терпящие бедствие. Но это шло не от тупости, безмозглости, а от сознания ее подавляющего превосходства. Что мог сказать я дивному существу, чей слух только что ласкали голоса сирен: Каплина, Десницкого, Мариенгофа, Лавренева, Мессера и низкие хрипловатые ноты Горностаевой, заставлявшие всех цепенеть, или восторженно вскрикивать, или давиться от хохота? Мысли не шли, я даже не мог сообразить, какая сегодня погода, в полном отчаянии я наклонился к ней и поцеловал, словно не было урока на площадке. Я поцеловал ее не в ямку над ключицей, а прямо в губы. И она ответила мне, продлив наш поцелуй и будто забыв о данном мне уроке.

Мы целовались, пока не рухнула трухлявая скамейка, унеся с собой память о поцелуях Андрея Белого с какой-нибудь русалкой или объятиях Марины Цветаевой с той же русалкой, и оказались на земле. Но и тут мы не перестали целоваться, и прошла целая вечность, прежде чем Даша сказала:

— Помоги мне встать.

Я помог, и мы опять принялись целоваться, теперь уже стоя.

Когда я проводил ее домой, мы жили в разных флигелях общего строения, ни в одном окне не горел свет. Но я не заметил в Даше и следа беспокойства. То ли это было следствием самообладания, то ли того домашнего договора, который был принят у них в семье.

Я не мог пойти спать. Калитку, выходящую на море, ночью запирали. Я перелез через побеленную глинобитную ограду, на ходу посрывал с себя одежду и кинулся в парную, но все равно освежающую воду. Море было тихое и сонное. Доплыв до буйка, я уцепился за него и некоторое время пытался понять, что со мной произошло. Я не знал тогда простых и мудрых слов Гете: очень легко полюбить ни за что, очень трудно — за что-нибудь. Кажется, у Гете сказано еще круче: невозможно за что-нибудь.

Но и вспомни я эти слова, они показались бы мне бессмысленными. Ведь я без запинки мог сказать, за что полюбил Дашу: за чудные глаза с пугающей и очарователь-

ной косинкой одного из них, за изгиб, нежность и упругость губ и жар их подбоя, за высокую, гордую шею, за плавные неспешные движения рук, похожих на лебединые шеи, за нежность и теплоту тела, которое я ощущал сквозь одежду, за гладкость и силу колен, прижимавшихся к моим ногам, за ровный шоколадный загар и его смуглый запах, за так идущий ей переливчатый казакин и за тоненькое колечко на мизинце, за чуть растрепавшиеся волосы цвета лесного ореха. А вот за что могла она полюбить меня, этого я решительно не мог взять в толк. Сигурд Рибунг, воитель из Гельгоlanda, подкрепленный литфондовской хартией, который сверлил Лизу Огуренкову печально-жаждущим взором, здесь не посмел явиться хотя бы тенью тени своего образа. На буйке повис худой мальчишка, еще не скинувший до конца шкуру прыщавой юности, неуверенный, неумелый ни в одном движении мужественности: клюнув пугливым поцелуем на танцплощадке, растерялся чуть не до слез, обратную дорогу потерял, заведя черт-те куда, уже на участке заблудился и вляпался в свалку, уронил скамейку, уничтожив священную реликвию былой волшебной жизни, а милую, вместо того чтобы поднять, припечатал нежной спиной к колючему гравию собственной неуклюжей тяжестью.

Будь другое существо на месте Даши, я не стал бы ломать себе голову, почему мы, едва познакомившись, принялись целоваться. Как ни беден был мой «любовный» опыт, я знал, что так бывает сплошь да рядом, особенно в домах отдыха, где люди сбрасывают путы обычной городской обременительной сдержанности, поддаются короткой обманчивой свободе, легкости, разлитой в воздухе, — даже пляжное, не заботящееся об укромности обнажение играет свою роль — и становятся ближе к своей древней естественной сути, тогда ведь желание, которого никто не старался скрыть, считалось естественным и почтенным свойством. Меня научила целоваться замужняя молодая женщина в подмосковном доме отдыха три года назад, а укрепила навык через год другая молодая женщина на крутом волжском берегу. Деморализованный арестами тридцать шестого—тридцать седьмого года, я

потратил впустую короткое анапское приволье, хотя каждый день проводил под сенью девушек в цвету.

Но Дашу я не мог поставить на одну доску ни с молодыми добрыми учительницами в науке страсти нежной, ни с жаждущими опыта старшекласницами золотопесчаной Анапы. Даша была сделана из совсем другого материала, ее поступки рождались в той глубине, куда я не мог заглянуть и о существовании которой едва начинал догадываться. Ну хоть это я понял, висая на буйке меж низким звездным небом и фосфоресцирующим морем. И еще одно я понял: если Дашина любовь, а иначе нельзя было назвать, не унижая ее, то чувство, которое толкнуло ее в мои руки, так независима от объекта приложения, то столь же независимы станут и охлаждение, отчуждение, разрыв. И тут я, надо сказать, многое понял вперед. Не знаю, до чего бы я еще додумался, так внезапно повзрослев, если б не увидел на берегу, в стороне чеканного от луны профиля Волошина, рыщущий блик карманного фонарика, каким наши умные пограничники разыскивали беглецов, намеревавшихся вплавь добратся до Турции и попросить там политического убежища. Я слишком подходил для их бдительных целей и поспешил оставить буюк.

Я пишу не биографическую повесть, воскрешая былые «утехи и дни» (название первой книги Марселя Пруста, переведенной на русский язык, — зародыш будущей эпопеи), нет, мне хочется что-то понять в себе и в человеке, который так много значил для меня, хотя возник в ту прекрасную и хрупкую пору, что как бы откалывается потом от основной жизни, оставаясь лишь ненадежным источником сладко-недостовверных воспоминаний. Каждый человек творит свою мифологию, почти вся она приходится на юность.

Сталин при всей неправдоподобной тупости своего ума, смекалистого лишь в двух сферах, где большого ума не требуется, ибо тут действуют последние в человечестве: уголовщина и политика, — сказал однажды тонкую фразу, уничтожившую последние конформистские надежды затравленного Булгакова: «Все молодые люди похожи друг на друга» (по другой версии: «Все молодые люди одинаковы»). Этим он прикончил пьесу Булгакова о поэтической юности

вождя. Пьеса и правда пуста, и герой лишен характера, да и не могло быть иначе. Юный Сталин — это вообще звучит дико, хотя действительно была пора в его жизни, когда он не убивал, даже стихи сочинял и над пьесой тужился, то есть не был Сталиным. Он был скорее похож на молодого Шиллера, чем на всем известного бандита Кобу. Но мысль о смытости юной личности он высказал правильную. Конечно, юноша Леонардо отличался от рядового флорентийца своих лет, но мы говорим не об исключениях. Сила и требования пробуждающегося пола сильно нивелируют молодых людей, к этому добавляются мучительный поиск себя, незнание своих возможностей, страх смерти и тяга к ней, и то, и другое потом проходит, зависть к взрослым, всеотрицание и рядом — готовность сотворить себе кумира из любого дерьма, можно и дальше перечислять слагаемые молодой особи мужского пола, да не стоит.

На танцевальной площадке я был призраком, который Даше почему-то захотелось материализовать. Одиссей, если верить Жироду, пытался воспрепятствовать Троянской войне лишь потому, что взмах ресниц Андромахи напоминал ему Пенелопу. У меня, кстати, очень длинные ресницы, может, в них дело? А может, Дашу тронула моя неуверенность? Или худоба? А может, я чем-то напомнил человека, который ей нравился? Она решила мою участь, я тут был ни при чем.

А уже в саду случилось нечто другое, не знаю что, но тут исчезла и ее личность, мы стали скульптурной группой «Поцелуй», где нет характеров, психологии, судьбы, только сильное, страстное движение друг к другу. У Родена, по моему, есть такая скульптура, разница лишь в том, что они обнажены и не сверзились со скамейки, но безличность пары, растворившейся во всепоглощающем действии, та же.

Надо ли говорить, что все эти соображения в их окончательной четкости принадлежат куда более позднему времени? Но кое-какие догадки осенили меня уже тогда — на буйке, первой остановке на пути в туретчину, по мнению наших пограничников.

Впрочем, тогда я быстро забыл о соображениях, посетивших меня в теплой морской воде под низкими крупными и

такими частыми звездами, что все небо казалось озаренным...

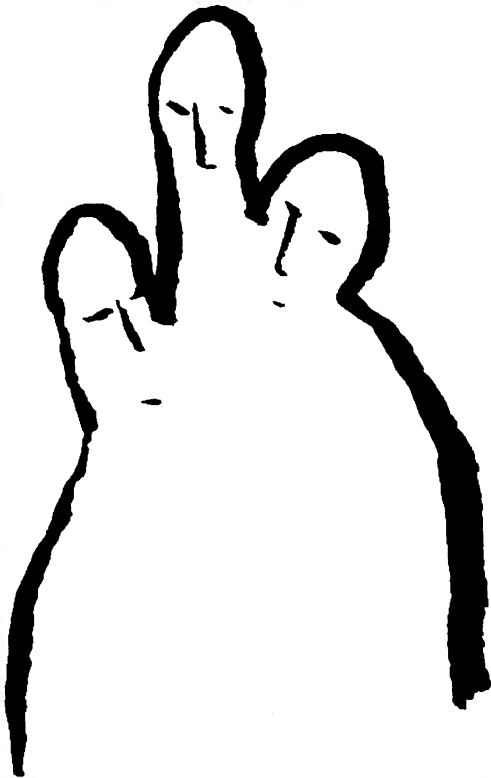
Теперь моя коктебельская жизнь крайне упростилась: она состояла из дневного ожидания и вечернего блаженства, когда я словно проваливался в нежную сладкую пещеру Дашиного рта — я понятия не имел, что целоваться можно как бы внутри, а не на поверхности, этому меня никто не учил. И было смирение перед неизбежным и быстрым концом, который наступит с приездом жениха.

Конечно, Даша была полным хозяином положения. В течение всего дня она держала меня на почтительном расстоянии, не допуская никакой короткости. К ней вообще нельзя было подойти просто, как принято среди молодых, с какой-нибудь смешной гримасой, шуткой, розыгрышем, размашистым жестом приветствия. Она тут же скатывала правый глаз к переносью и холодно осведомлялась, что это значит. Ей была присуща свойственная ее матери фундаментальность. Когда та входила в столовую, казалось, что по ухабистой дороге движется воз с сеном. А ведь Анна Михайловна была интересной, даже красивой женщиной, пусть и раздобревшей, потяжелевшей. Ноги у нее, правда, были как полена, но она носила длинные, до земли халаты и такие же юбки. Ее грузность создавалась не телесным переизбытком, а широкой костью. Даша копировала материнскую повадку, а не была вынуждена к ней физиологически. Впоследствии она приметно похудела — тонкие кисти, тонкие лодыжки, тонкая талия, но сохранила размеренность, неторопливость движений, какую-то идущую ей заземленность. Так же спокойны и небыстры были все ее реакции. Я не могу представить себе Дашу торопящейся, или испуганной, или растерянной. Она плыла по жизни, а не шла и даже, совершая в дальнейшем поступки дерзкие до цинизма, не изменяла своей внутренней неторопливости. При всем том она, как и ее мать, была человеком сильно и глубоко чувствующим.

Я подчинялся ее ритму, ее поведению, ее привычкам. Боялся лишний раз подойти, заговорить. А по вечерам, после танцев, принимал нашу целомудренную близость как пода-

рок, хотя и ожидаемый. Знай я высказывание Гете, то считал бы это ворожкой веймарского мудреца, желавшего доказать, что он прав. Ведь он был еще и ученый, для которого собственная правота важнее даже, чем для поэта.

3



Однажды за обедом я понял, что подарки судьбы кончились: за столом Гербетов был занят четвертый стул, на нем сидел очень большой, мясистый, с обширным приятным лицом молодой человек в роговых очках. Несомненно, то был ожидаемый жених-поэт. Даша говорила, что ему двадцать пять, но он выглядел куда старше и солидней.

Я его никогда не видел, даже на фотографии, и представлял себе другим: не столь огромным, не столь открыто добродушным, не столь наивно самоуверенным. Мне рисовалось нечто более утонченное, трепетное, романтическое. Он не был странником, случайно забредшим в этот мир, у него имелась жилплощадь, прописка, жировка. И вообще о таком зяте должны мечтать все родители, но не звездочет, если он ищет в небе не привычные светила, а свою мечту, и даже не людоедка, раз она так холодна к окружающим ее людям много выше среднего уровня. Глядя на него, я что-то понял в Дашином отношении ко мне — я привлек ее тем, что был во всем противоположен жениху, рукастому, губастому, мосластому, громкоголосому, благодушному, лишенному тени загадочности, даже той жалкой загадочности, какой награждает не уверенного в себе человека слишком сильное ощущение окружающего, заставляющее хорониться в скорлупе.

Даша ничем не поступилась в той обычной сдержанности, с какой вела себя за столом: прямоспинная, молчаливая, неторопливо занятая едой, не выключающаяся из застольного разговора, но и не дарящая ему хоть слово.

Поэт делился московскими новостями, что занимало, по видимому, одну Анну Михайловну. Гербет только моргал, поправляя очки и делая любезное лицо, иногда произносил:

«О! Вот как! Великолепно!» Зато эмоционального заряда Анны Михайловны хватало на всю семью. Видать, ей очень хотелось выдать дочку замуж. Она взмахивала руками, озиралась, как бы призывая окружающих к участию в интеллектуальном празднике, ее холодный смех осаждался инеем на спинках стульев и притолоках.

Поэт вскоре навсегда исчезнет из моего повествования, а он был важен в нем, поэтому скажу о его судьбе. Он умер год назад, прожив долгую и неправдоподобно благополучную для советского литератора жизнь. Он участвовал в Отечественной войне, совершил чепуховый проступок — на день задержался в московской командировке, был судим и понес суровое наказание: его послали рядовым в атаку. Тяжелое ранение надолго приковало его к госпитальной койке. Потом он вернулся в свою фронтовую газету, заслужил все положенные награды, после войны писал скучные, длинные, на редкость непоэтичные стихи, а когда от него перестали что-либо ждать, раскрылся превосходным песенником, что принесло ему широкую известность и новые награды. Мелодия одной его всемирно известной песни стала радиопозывными.

Свой худший, хотя и безобидный, поступок он совершил до нашего знакомства, на заре туманной юности, с великого перепуга, написав такие слова об НКВД: «Здесь все чисто, свято»; это стало нашей домашней поговоркой: «Чисто и свято, как в НКВД». Больше он умудрился ничем не прощтрафиться. Женился по любви на красивой и милой женщине, подарившей ему двух дочерей. Одна из них, одаренный искусствовед, умерла совсем молодой от рака, то было жесточайшее потрясение всей его жизни. Другая вроде бы уехала за границу. Он написал очень хорошие стихи для одного моего фильма, никогда не держал на меня зла, полагаю, что справедливо: с Дашей у них все равно ничего бы не вышло. Он был человеком без свойств, но не в музилевском смысле, а в смысле характера: одни лишь положительные качества, исключаяющие возможность осудительного с точки зрения властей предержавших поступка. Он мог бы достигнуть в смысле официального положения куда

большого, если б не был евреем и хоть немного помогал тому учреждению, где «все чисто и свято». Но, похоже, он никогда не считал этого всерьез. Он много лет сохранял телефонную связь с Дашей, не помня зла, ибо был по-настоящему хорошим человеком. Одну его песню о расставании я до сих пор не могу слушать без волнения. Мир праху его.

Мне и в голову не пришло бороться за Дашу. По чести говоря, я и сейчас, по минованию жизни, так и не понял, что значит бороться за женщину. В фильме «Большой вальс» показано, как вельможа борется с нищим Штраусом за певицу Карлу Доннер. Штраус пишет для нее красивые песенки и трахает, затем появляется вельможа с роскошным подарком — колье, ожерельем — и уводит Карлу Доннер трахать в свой черед. Затем опять появляется Штраус, сочинивший что-то новенькое, и вся история повторяется. В конце концов Карла остается с вельможей, у которого драгоценностей больше, чем у Штрауса мелодий. Ей, как говорится в старом анекдоте, было и так хорошо, и так хорошо. Хуже приходилось борцам. Очевидно, окончательная победа осталась за вельможей, по чести, это Пиррова победа.

Можно поочередно трахать женщину, только не надо считать это борьбой за нее. Любовник не имеет никакого преимущества перед мужем, он пользуется его женой, а тот — его любовницей, это, пожалуй, обидней. В нашем случае наличествовал только душевный момент, физиология в ее последнем проявлении отсутствовала. Но не в этом дело. Я ни в малейшей мере не претендовал на роль соперника и сам удалился на свое место, не ожидая, когда мне его укажут.

Вечером, как и всегда, я потащился на танцы, уверенный, что Даша со своим поэтом туда не придет. Такое времяпровождение казалось мне слишком вульгарным для них. Но они явились и танцевали только друг с другом. И в танцах поэт имел подавляющее преимущество передо мной. Во-первых, он был ритмичен, во-вторых, выписывал ногами кренделя — то ли это был чарльстон, то ли некое сочетание чарльстона с фокстротом.

Наверное, столичный вычур задел местных хулиганов, которые до того никак себя не обнаруживали. В курортных городах существует неписаное правило: не трогать отдыхающих, ибо это противоречит материальным интересам местного населения. От курортников шли доходы: иные по окончании срока путевки снимали комнаты в деревне, почти все покупали свежую и копченую рыбу, абрикосы, черешню, помидоры, огурцы, плодоягодное вино, многие аборигены работали в прачечных, банях и на складах здравниц.

Хулиганье могло в виде исключения задеть новичка, но Дашу хорошо знали, как и всю остальную нашу компанию, кроме поэта, но он был из наших. И приставать они начали, что было вовсе не по правилам, к Даше. С дурашливым видом они наперебой приглашали ее на круг, не спрашивая разрешения у кавалера, обменивались впечатлениями о ее загаре, спорили, в чулках она или нет. И незаметно придвигались ближе к нам. Не встречая отпора, они нагтели все больше. И тут раздался громкий, решительный и спокойный голос поэта:

— Оставьте девушку в покое!

— А ты не кричи, — с лениво-хулиганской интонацией завел чернявый парень. — Мы не обожаем, когда на нас кричат.

— Я с вами свиней не пас. Извольте обращаться на «вы», — сказал поэт и хорошо развел чуть жирноватые, но широкие крепкие плечи.

Заиграла музыка, и поэт, небрежным движением отстранив какого-то шкета, пригласил Дашу на танец.

Все кончилось самым неожиданным образом. Откуда-то появилась Лиза Огуренкова, культурница этого санатория, никогда не ходившая на танцы, видимо, ей кто-то сообщил о надвигающемся скандале.

— А ну, вон отсюда! — сказала она таким хозяйским, презрительно-уверенным тоном, какого я никак не подозревал в ней.

— А что мы делаем?.. — завел было чернявый — без всякого гонора.

— Вон! — повторила Лиза.

И вся бражка, как побитые шавки, поплелась прочь.

Лиза даже не сочла нужным убедиться, что ее приказание выполнено, настолько была уверена в этом, и сразу поспешила назад в клуб, где проводила то ли викторину, то ли концерт самодеятельности. Какая сила была за Лизой — прочное положение в санатории или бритые затылки ее поклонников?

Играла музыка, я не танцевал и с удивлением думал о собственной безучастности в конфликте. У меня даже в мыслях не было стать рядом с поэтом и вместе биться за честь нашей дамы. Я полностью уступил ему Дашу и всю ответственность за нее. Конечно, начнись драка, я не остался бы в стороне, но лишь по принципу: наших бьют. Чем-то это напоминало рассказ Брет-Гарта «Пастух из Солано». Мнимый простак, одурачивший потом весь город, влюбился в девушку, помолвленную с другим. Однажды во время лодочной прогулки она упала за борт. Пастух из Солано получил редкий шанс героическим поступком завоевать сердце любимой, но он хладнокровно ждал, когда ее спасет жених. Он считал, что у того больше прав. Похоже, что парализовавшие меня соображения были столь же великодушны и низменны, как у пастуха из Солано.

На танцплощадку явилась Анна Михайловна, оказав тем самым честь жениху. Она сказала со смехом, в котором впервые прозвучали теплые нотки:

— Здорово вы проучили наглецов!

— Я уже думал, полетели мои очки, — скромно отозвался поэт.

Для очкариков нет ничего опаснее в драке — удар по стеклам, вот почему носящие очки избегают драк. Тем отважнее и благороднее был поступок поэта. И тем противнее выглядело — для меня самого — мое пастушеское благоразумие. Я, конечно, был деморализован всем выпавшим мне на долю.

Когда мы возвращались с танцев, уже на территории нашего дома отдыха, я отстал от остальных. В этот час начиналась моя главная жизнь, ради которой стоило появиться на свет. Я шел по коридору мертвых тамарисков, и гравий

мертво хрустел у меня под ногами. И сам я был мертвяк в мертвом царстве.

Утром Оська, исполненный сочувствия, предложил пойти на ваммовский пляж полюбоваться Лизой Огуренковой. Но для меня его слова прозвучали столь же кощунственно, как для кавалера де Грие любезное предложение неверной Манон утешиться с ее подругой. Вместо этого мы пошли под палящим солнцем в Отузы, где нам нечего было делать. Отузы — это скучная деревня и огромной протяженности пустынный пляж в намывах сухих водорослей.

А за ужином до меня донеслась странная весть: поэт уехал в Москву. Комментариев никто никаких не делал. Когда я выходил из столовой, медовый голос Варламова уже навел на ежевечернюю путаницу.

*Уходит вечер, вдали закат погас,
И облака толпой бегут на запад...*

Здесь его красивая и томная песня делала неожиданный временной скачок и, не дав насладиться еще только уходящим вечером, сразу переносила в ночь:

*Спокойной ночи поэт вам поздний час.
А ночь тиха, а ночь на крыльях сна...*

На самом же деле эта баюкающая песня служила сигналом начинающихся на ваммовской площадке танцев. И только через полтора часа Варламову предстояло попрощаться с нами всерьез в связи с приближением ночи. Пока я стоял возле столовой, размышляя об этой ничего не стоящей чепухе, подошла Даша.

— Ты пойдешь на танцы?

— Твой друг уехал?

— Да.

— Почему так скоро?

Правый глаз знакомо приблизился к переносью, освободив много опасного белка.

— А что ему тут делать?

Я не внял предупреждению.

— Он приехал потанцевать?

— Выходит, так. — Глаз быстро вернулся на положенное место. Она вздохнула.

Я понял, что ей тяжело, и оставил тон злобной шутливости.

— Он приезжал за твоим ответом?

— Он поступил в аспирантуру и на радостях прикатил сюда. Ответ тоже был.

— А что случилось? — спросил я с тем искренним удивлением, которое могло бы показаться оскорбительным, если б за ним не угадывался паралич мозга.

— Случился ты, — тихо, сокрушенно, но с проблеском улыбки в самом донце ответила Даша.

Не знаю, хорошо это или плохо, но никакого иного чувства, кроме болезненной жалости к поэту, я не ощутил. Было мучительно жаль его, такого большого, доверчивого, уверенного, наивного, такого смелого и хорошего, с какой стороны ни глянь. Возможно, тут произошла какая-то странная психологическая подмена, и я ощутил себя на его месте, на месте человека, которому Даша почти принадлежала, и все рухнуло в последний миг. Мне было плохо вчера, на редкость плохо, когда я почувствовал себя мертвым в мертвом тамарисковом лесу, и все же в душе таилось какое-то большое утешение, что мне выпало на долю такое сильное и незаслуженное счастье. Я не считал себя ровней Даше, и все случившееся между нами было неожиданным подарком, которого я не стоил. Испытать это проще, чем выразить. Но сознание неизбежного и скорого конца неотступно сопутствовало моему счастью, не уменьшая его, скорее наоборот.

— Кажется, это тебя не слишком радует? — прозвучало оскорбленно.

— Я этого не ждал. Я тебя люблю. А каково ему?

— Особо не переживай, — сказала Даша с интонацией, в которой я уловил нотки ее матери. — Он успокоится. Думаешь, мне его не жалко?.. Но больше из-за ситуации. Слишком глупо все вышло. А он выживет. Напишет стихи о расставании. Потом о Магнитке. Кончит аспирантуру. Женится. А я хочу быть с тобой, вот и все...

Оська был потрясен моей победой. Я — тоже, но с некоторой жутью: как же все хрупко и непрочено в том, что должно быть крепче железа и камня. Мне было всего восемнадцать лет...

Можно наслаждаться одним и тем же каждый божий день — и так прожить счастливейшую жизнь, но написать об этом невозможно. Ты доконаешь читателя в разгаре своего счастья, но, скорей всего, как автор ты сдашься еще раньше. Читатель может думать, что его разыгрывают, усыпляют, чтобы потом сильнее дать по башке, но ты-то ведь знаешь, что никакой неожиданности не будет. Помню, я смотрел французский фильм о клубе одиноких, просто невероятный по своей нудности, однообразию, сознательному нежеланию режиссера придать экранному зрелищу хоть какую-то остроту, но именно это заставляло меня верить, что в конце будет взрыв. Так и произошло: в финале все персонажи живо и разнообразно перестреляли друг друга, без тени взаимной ненависти, скорей даже любовно, просто им хотелось пережить тревоги и опасности минувшей войны.

Я продолжу свое повествование с середины августа того же бесконечного и, увы, такого короткого лета. Даше исполнилось двадцать лет. Мне осталось восемнадцать, стало быть, формально возрастная разница увеличилась между нами до двух лет.

Гербетты устроили грандиозный бал, абонировав на вечер столовую. Чествование длилось до отбоя, и на нем перебивали все обитатели обоих домов отдыха, московского и ленинградского. Конечно, многие, мало знакомые, заходили на огонек: поздравить и выпить стакан плодоягодного вина, другие были как бы «стационарными» гостями. Но, конечно, пиком торжества для меня — Гербетты отнеслись к этому хладнокровно — стало появление блистательной тройцы: Горностаевой, Каплина и Мессера. Для Гербетов, чей интимный круг составляли Пастернаки, Нейгаузы, Габричевские, Юдина, Лосевы, эти трое были просто парвеню, люди без определенных занятий, а для меня — небожители, спустившиеся на землю, чтобы поздравить мою подругу. Это совпало с другим значительным событием: мне поручили разрезать арбузы, которых было много.

Моя ручная неумелость равнялась бесполезности в практической жизни. И как обычно бывает в таких случаях, мне

особенно хотелось показать себя в каком-нибудь деле. Я даже велосипедную шину не мог накачать, не справляясь с ниппелем, не умел наживлять крючок — непременно торчала борода, так и не научился чистить ружье и даже собирал его с бесконечными затруднениями. И при такой неуклюжести я, как уже говорилось, отличался редкой спортивностью, блестяще водил машину, но не мог вывинтить свечу. А вот колесо каким-то чудом научился менять и очень любил, когда случался прокол. Работая рычагом домкрата, я чувствовал блаженную связь с веком техники.

Однажды в жизни меня приняли за толкового человека. Мы возвращались большой группой из писательского дома отдыха «Долгая поляна» под Тетюшами. Нас доставили на катере в Казань, где мы должны были пересесть на поезд, взяв предварительно билеты. Как полагается в летнее время, и на пристани, и на вокзале творилось столпотворение. Моя безрукость отступала, когда требовалась просто физическая сила, и при разгрузке катера я перенес на пристань чуть ли не весь багаж. Это породило в цыганистой и горячей жене писателя Лишина безмерное доверие ко мне.

— Пусть билеты достает Юра! — кричала она с цыганским темпераментом. — Он единственно толковый человек среди нас!

Лопаясь от гордости, я собрал деньги и ринулся к осажденным толпой наглухо закрытым кассам. Прекрасно понимая, что никаких шансов у меня нет, я с яростью продираюсь сквозь толпу в надежде напороться на драку и списать на нее неудачу. Но густая, отвратительно слипшаяся, как восточные сладости на базарном лотке, толпа покорно расплзлась под моим нажимом, возможно, веря в меня, как в спасителя. И спаситель действительно явился, только не для этих страждущих, а для тех, кому покровительствовала высшая на Земле сила — Литфонд. Посланный заранее из «Долгой поляны» агент заблаговременно обеспечил всех нас билетами. Мы с ним пришли вместе к нашей растерянной группе, и на меня пал отсвет незаслуженной славы. Цыганистая жена Лишина так и осталась при убеждении, что более хваткого малого нет на свете.

Мне регулярно снится сон, что я должен заменить исполнителя главной теноровой партии в «Травиате», «Риголетто» или «Трубадуре» — моих любимых операх, и я испытываю ни с чем не сравнимые радость и гордость. При этом я знаю, что в последний момент явится настоящий артист, поэтому без тени тревоги гримируюсь, одеваюсь, уточняю с режиссером мизансцены и вдруг слышу третий звонок, вслед за тем звуки увертюры. Артист не пришел, сейчас мой выход. Я кричу, плачу и просыпаюсь.

Так и здесь, выслушав указание Анны Михайловны, я исполнился в первый момент гордой радости и той уверенности, какой у меня не было во сне: с этим я справлюсь, авось не верхнее «до» брать. Надо признаться, очень скромно, приметно, как мне думалось, лишь мне самому, я изображал перед гостями одного из хозяев праздника. Быть может, это сказывалось лишь в потугах мало реализуемой любезности: подать кому-то спичку или пепельницу, наполнить стакан, но здесь привыкли к самообслуживанию, и мое робкое рвение оставалось незамеченным. И еще я несколько преувеличенно радовался каждому вновь входящему, что, впрочем, выражалось лишь в вежливой улыбке. Только недобрая пронизательность Анны Михайловны, возненавидевшей меня после отъезда поэта, могла догадаться о моей неприметной игре в гостеприимство и злорадно ее использовать. Великий тяжелоатлет Жаботинский впоследствии неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что «жмать рекорды» — это «не кавуны трескать», но при этом оговаривался, что правильно разделать кавун — тоже маленькое искусство. И этим искусством я не владел.

Арбузы были свалены за сдвинутыми длинными столами в углу обеденной залы. Я выбрал арбуз поменьше, самый маленький из всех, недомерок, дитя, чтобы попрактиковаться на нем. По неведению я вооружился обычным столовым ножом с закругленным концом, которым нельзя было ни пропороть, ни даже разрезать шкурку арбуза-недомерка. Тогда мне пришла в голову мысль нарезать арбуз кругами, что казалось легче. Но как ни пилил я его столовым ножом, так до красной мякоти и не добрался.

Я огляделся, за мной никто не наблюдал. С размаху, истерическим жестом Брута вонзил я нож в сердце арбуза. Он оказался ловчее Юлия Цезаря и, не приняв смерти, не тратя времени на укоризны словом и взглядом, скакнул прочь, прыгнул на пол и закатился под стол. Там было темно, и я его не нашел.

Меня прошиб холодный пот. И тут я увидел своего соседа по номеру, украинского поэта из Харькова. Соскучившись по кавуну, он не стал ждать, когда его угостят на тарелочке аккуратно отрезанным куском. Он выбрал хорошего размера полосатый кавун, потискал в руках, чтобы услышать скрип, определяющий спелость, потом вынул из кармана складной нож и срезал сверху кружок с хвостиком. Отбросив его, срезал такой же аккуратный кружок, но чуточку побольше, снизу, прочно поставил арбуз на стол и ловкими взмахами ножа разделал вдоль на ровные куски.

Боже мой, как это просто! Даже мне по руке. Я сбегал на кухню, взял длинный острый нож для разрезания ветчины и, вернувшись на свой рабочий пост, в считанные минуты разделался с десятком арбузов. Конечно, то не была такая филигранная работа, как у харьковского специалиста, но все арбузы стояли, иные с наклоном Пизанской башни, и легко превращались в раскрывший лепестки розовый цветок. Подходи и выбирай себе кусок по вкусу. Если Анна Михайловна ждала моего фиаско, то она просчиталась.

Я еще переживал свой триумф, глядя, как жадно расхватывают гости куски пунцовых, с сахаристым налетом арбузов, когда услышал Дашин голос:

— А это мой друг — познакомьтесь.

Я обернулся. Возле стола остановились Даша и Мессер, последний держал в руках почти полный стакан плодоягодного вина. Как же близок я стал Даше, если она сочла нужным представить меня такому человеку!

— Очень приятно! — сказал Мессер, улыбаясь своей доброй улыбкой. — За ваше здоровье!.. Чтоб вы стали хорошим врачом!

Значит, ему и это известно! Обо мне говорят, меня обсуждают. Конечно, я обязан этим Даше, ее знаменитой

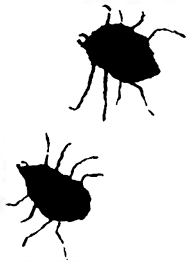
семье. И пусть меня слегка передернуло от тоста Мессера, ведь я твердо знал, что буду писателем, я был тронут его вниманием. А Мессер — это выяснилось много лет спустя — решил, что его тост послужил причиной моей ненависти к нему. Вот бред так бред, я всю жизнь относился к нему с инфантильной восторженностью.

Как и чем закончился вечер, я уже не помню. Даша ушла раньше, у нее разболелась голова от выпитого еще за обедом шампанского. В ту пору она совсем не могла пить. Я помог навести порядок в столовой, после чего чуть не до рассвета блевал в кустах акации плодоягодным коричневатым вином и красными кусками арбузов. Странное это коктебельское винишко. После двух-трех стаканов ты ничего не чувствуешь, будто выпил компот из сухофруктов, потом начинается острая желудочная резь, ее надо перетерпеть, чтобы вновь утратить чувствительность к напитку, а кончается все — даже у старожилов — чудовищной рвотой. Потом весь день ходишь будто выпотрошенный, а вечером опять тянет выпить.

Мне нечего больше сказать о первом Коктебеле. Были походы в горы, в том числе на Карадаг к Чертову пальцу с его необыкновенным эхом, приплывали мы в Сердоликовую бухту в надежде найти там россыпь прозрачных розовых камушков, были поездки в Отузы, Козы и Судак, поход через горы в Старый Крым, чтобы поклониться могиле Грина, лазанье при луне по каньонам, были костры и заплывы на лунную полосу под ругань пограничников, но главное, была Даша — каждый вечер на танцах, а затем до полуночи в саду под тамарисками.

Мы уезжали немного раньше, мне надо было показаться в институте до начала занятий. Даша должна была позвонить мне, как только войдет в квартиру. Раньше поезда не опаздывали, а у вокзала тянулись хвосты свободных такси. Даша позвонила мне минута в минуту...

4



Повесть о любви легко может превратиться в тягучее бытописание, если следовать за движением жизни любящих. Ведь любовь не расположена наособь, как ваза с цветами, она растворена в быте, повседневности. Надо брать ключевые моменты, открывающие новые этапы отношений, иначе получится «Воспитание чувств» Флобера — вещь неплохая, я бы даже сказал гениальная, но непосильная нашему читателю. Представляете, роман о любви, прошедшей через всю долгую жизнь, и без трахання!

Самое значительное, что произошло за долгий промежуток времени между возвращением из Коктебеля и новым отъездом туда же почти через год, носило комический характер, причем все получилось так, что Даша не узнала причины первого смелого и самостоятельного деяния, на которое я осмелился. Тот поцелуй в ключицу, не поцелуй, а какой-то цыплячий клевок, был не в счет. Всем остальным руководила Даша, даже падением со скамейки, которой она позволила развалиться.

Даша распоряжалась всеми территориальными перемещениями по своему телу. Голова, шея, руки до локтей, ноги до колен, изредка сами колени были открытыми зонами. Иногда меня допускали до плеч, изредка разрешалось коснуться скольльзящим движением груди, упакованной в плотный бюстгальтер; если наше объятие творилось стоя, то мне предоставлялись лопатки, талия и даже желоб позвоночника, все остальное находилось под строжайшим запретом. И если

я по несдержанности или просто по случайности нарушал запрет, то кара была сурова и долговременна. Бывало, я отлучался от ласк на весь остаток вечера. Самым крупным преступлением считалась попытка навалиться на Дашу, когда мы обнимались на скамейке.

Это случилось во время первого визита Даши ко мне. Я уже неоднократно бывал у нее на Зубовской площади, в казавшейся по тем временам очень большой, воистину барской квартире на первом этаже свежего новостроечного дома. У Даши была своя комната, совмещавшая будуар с кабинетом: трельяж, туалетный столик с косметикой и парфюмерией, какой-то пуфик перед ним, низкий широкий диван, крытый персидским ковром, письменный стол красного дерева, кожаное кресло и книжный шкаф.

Видел я и кабинет Гербета, заваленный рукописями, старинными книгами в подгнивших кожаных переплетах, манускриптами (до сих пор не знаю, что это такое, и ленюсь посмотреть в словаре), в углу зачехленный, как орудие, телескоп мечтал о коктебельском небе, я улыбнулся ему, как старому знакомому; в столовой-гостиной-спальне сочеталось несколько миров: забалдахиненное двуспальное ложе было убежищем Анны Михайловны, которая любила полежать с томиком Горация или Платона в руке, какие-то греки и римляне громоздились на спальном столике, а маленькая полка над изголовьем целиком посвящена Пастернаку. Тут же, на стенах и на столике, было много фотографий молодого Бориса Леонидовича, чаще всего на лоне природы, иногда с каким-нибудь сельскохозяйственным орудием в руках, но не за плугом или сохой.

Другой угол комнаты занимал концертный рояль, на котором Гербет играл Шумана, Брамса, Малера, а в четыре руки с Нейгаузом Бетховена и какие-то неизвестные мне сочинения. Нейгауз высоко ценил музыкальность и технику Гербета, считал, что он мог бы стать профессиональным пианистом. Посреди комнаты стоял раздвижной овальный стол, рассчитанный гостей на двадцать, Гербетовы регулярно устраивали приемы. Через год и я удостоился приглашения.

После гербетовского жилищного изобилия, где гармонично сочетались музыка с наукой, семейный уют с пиршествен-

ным роскошеством, мне ужасно не хотелось вводить Дашу в наше убожество. Но она твердо дала понять, что по светским правилам обязана нанести мне ответный визит.

Наша первая восьмиметровая комната, где мы раньше обедали, удачно располагалась прямо против уборной, тревожившей меня добавочным беспокойством, что Даша в ней не поместится. Ныне столовая стала ночлежкой: на продавленном клеенчатом диване спала Вероня. На раскладушке — откуда-то опять возникшая из своих темных странствий Раечка, самое несчастное, глупое и бездомное существо на свете, которую мама, внутренне не перебарывая, считала своей обязанностью опекать и давать приют до очередного скандала. Наконец, на полу у тепла батареи кемарил друг моего детства Миша, ныне студент юридического института.

Затем следовал десятиметровый кабинет, вполне пристойный: диван, письменный стол, кресло, два шкапа с книгами — нарядные корешки книг издания «Академия» радовали взгляд, журнальный столик, лампа с зеленым ленинским колпаком.

Замыкала крошечное наше обиталище четырнадцатиметровая комната, которую мы в шутку называли залом, здесь стояли тахта с подушками, на которой спала мама, напольная старинная лампа, изуродованная колпаком Раечкиного производства, обеденный круглый стол черного дерева, несколько стульев, высокий шкаф с превосходным зеркалом и старинный столик с гнутыми ножками в стиле рококо. Обесценивало комнату то, что отсюда был вход в ванную с газовой горелкой. Это ненадежное сооружение стремилось истечь свинцовыми слезами в ванну; кроме того, мы периодически травились газом. Еще имелся коридор, в котором нельзя было разминуться, и кухонька, не вмещавшая обхудавшего Верониного зада. Она готовила, находясь наполовину в коридоре. К Дашиному приходу я всех выгнал из квартиры, даже пса Альфарку, чтобы помещение выглядело попросторнее.

Даша пришла, как всегда, вовремя и принесла цветы. Я смутился, ибо думал, что только мужчины дарят женщинам цветы, тут я смутился еще сильнее, вспомнив, что за время

знакомства не принес Даше ни одного цветка. Даша прошла в мой кабинет, села на диван, машинально проверив упругость пружин, чтоб не провалиться, и сказала приветливо:

— Ну вот, теперь я знаю, как ты живешь.

Я в то время отыскивал вазу для цветов. И как назло, не мог найти не только вазы, хоть какого-то сосуда, способного вместить букет. Я облазил буфеты, шкапы, залавки, но ничего подходящего не нашел. В «зале» дотлевали в эмалевом кувшине почти осыпавшиеся георгины, подарок художника Осмеркина, я вышвырнул их в унитаз и спустил воду. Но только на третий раз, оглашая углое жилье обвальным, вульгарным шумом слива, удалось мне их спровадить в смрадную глубь. После чего я налил свежей воды в кувшин и торжественно водрузил Дашин подарок на письменный стол.

Все это время Даша с сумеречным лицом листала анатомический атлас с красочными разрезами человеческих половых органов.

Я взял у Даши атлас, зашвырнул его подальше, уютно пристроился к ней и тут с обморочным ужасом обнаружил двух клопов, резво стремящихся к ее голове, почти касающихся стены. Я глазам своим не поверил, у нас не водилось клопов. Всю мелкую живность — клопов, блох, вшей, тараканов, так же как грызунов: крыс и мышей — мы оставили в нашей прошлой жизни, в коммуналке Армянского переулка. Прежде чем переехать сюда, мы приглашали поочередно клопоморов, тараканоморов, специалистов по выведению вшей и блох, а также виртуозов крысо- и мышобоя. И сейчас меня потрясли не столько сами клопы, сколько невиданная сроду особенность этих мерзких тварей продвигаться на рысках, ведь им всегда присуща неторопливая степенность, а сейчас еще немного, и они перейдут в курц-галоп.

Кто читал замечательную повесть Фридриха Горенштейна о девушке, пришедшей на бал в послевоенное лихолетье с двумя вшами на платье, тот сразу поймет мое отчаяние. Я должен был уничтожить негодяев так, чтобы Даша ничего не заметила, но проклятые твари находились за ее головой, и

скинуть их незаметно не представлялось возможным. А если встать с дивана, Даша непременно глянет, что я замыслил. Я потянулся к ней и поцеловал. Она ответила мне с каким-то облегчением, видимо, затянувшееся прохладное начало встречи произвело на нее обескураживающее впечатление. Сейчас начиналось то, чего она ждала: ласки, нежность. Я обнял ее потеснее левой рукой, а правой дал щелчка ближнему клопу. Но он не остановился, лишь чуть изменил направление. Я еще сильнее навалился на Дашу, она откинулась, и я почти лег на нее. Такого мне еще не позволяли. Но ситуация была критическая. Я почти вдавил ее в диван и сшиб клопа со стены меньше чем в сантиметре от прядки ее волос.

В коротком облегчении я успел заметить позицию, которую занял на Даше, лежа на ней, ощущая ее грудь, живот, бедра, все тело. И еще я успел почувствовать, что она отвечает мне с большей горячностью, чем прежде. Переведя ее в партер, я сделал то, чего она давно уже ждала, удивляясь моей холодности и пассивности. Во мне нарастали две параллельные агрессии: любовная к Даше, истребительная ко второму клопу, который и не думал отступить. И так получилось, что губительный выпад против клопа оборачивался любовным рывком к Даше. «Ты совсем задавил меня», — произнесла она голосом изнемогающей нежности, и в то мгновение я наконец ссек лихую голову супостату. Свидетельство тому — капелюшечка крови на ногте среднего пальца, обезглавленный труп соскользнул за диван.

Мы с Дашей перешли на новые рубежи в наших отношениях. Теперь все домашние встречи стали строиться по классическим правилам спортивной борьбы: стойка — партер.

А клопы в нашей квартире пропали так же внезапно и таинственно, как Шемаханская царица в «Золотом петушке»: «А царевна вдруг пропала, будто вовсе не бывала». А ведь только один из них был казнен, другой совершил не страшный для клопа проскольз по глади стены. Но клопы исчезли раз и навсегда. А Даша стала мне неизмеримо физически ближе. Что же все это значило? Не знаю. Думаю, объяснение самое простое: беговых клопов не существует, то были посланцы

небес, которым следовало двинуть меня вперед. В горных высях то же знают толк в раблезианской шутке.

Наши свидания сделались более страстными, но и более трудными для меня. Я слишком сильно чувствовал Дашину плоть. В Коктебеле она легко и уверенно установила предел, за который я не помышлял проникнуть. Мысль об интимных отношениях не проникала мне в сознание. Горячий переизбыток влечения остужался в море, волнуя пограничников возможностью бегства в туретчину. Сейчас я испытывал куда большее искушение, его было не остудить. И Даша не могла не чувствовать физически моего желания. Из буколического пастушка я превращался в фавна, сатира, объятого нечистым пламенем. Конечно, Даша все это чувствовала, но решила не замечать. Хоть мы не съели, даже не надкусили яблока, но почувствовали в ладони его округлость и оценили аппетитность золотистой кожиры.

Но месяц шел за месяцем, и никакого нового сдвига в наших отношениях не происходило. В конце концов я довольствовался тем, что меня из клетки выпустили в вольер. У меня не было другого выхода, как находить в этом максимум счастья.

Мы виделись нечасто. Я решил перейти в киноинститут, который открывался заново среди учебного года. Мое намерение встретило самую горячую поддержку Даши. Помоему, дружеский тост Мессера, пожелавшего мне стать хорошим врачом, произвел на нее еще более удручающее впечатление, чем на меня. Даша представила себя подругой, или того страшнее — женой, участкового врача. Верить в мою блестящую врачебную карьеру у нее не было ни малейших оснований, она знала, что я пишу, кое-что даже читала без особого восторга, но ей, прожившей всю жизнь в литературной среде, это было бесконечно ближе, чем перспектива хороших заработков от подпольных абортот.

Я готовился к поступлению во ВГИК тщательно и ответственно, но прошел со скрипом. С домашними работами все было в порядке, мои рассказы уже ждали публикации в ряде московских журналов, а за критический разбор фильма мне вlepили тройку: у меня плохой почерк, я принялся

перебелять свою писанину и не успел до звонка. За экранизацию какого-то литературного фрагмента мне опять поставили тройку, скорей всего по инерции. На мое счастье, тройка оказалась прочным проходным баллом. И все же мой афронт мне непонятен. На общем счете моих высокоодаренных соучеников, так мощно обскакавших меня на экзаменах, за пятьдесят лет работы в кино значится четырнадцать художественных фильмов — почти сплошь экранизации, у меня их сорок два, среди них есть удостоенный Оскара, многие другие отмечены высшими наградами фестивалей в Каннах, Лозанне, Сен-Себастиано, Карловых Варах, Мюнхене, Дели. Обо всем этом не стоило бы говорить, если б казус вгиковских экзаменов не оказался предвестником множества странных нелепостей и кривизн моей последующей жизни.

Наше с Дашей знание друг о друге было неравным. Я бывал у нее гораздо чаще, чем она у меня, а знал ее жизнь куда хуже. Даша сблизилась с моими друзьями Павликом и Оськой. Знала по моим рассказам моих медицинских однокашников, вскоре на вгиковских вечерах свела знакомство со многими ребятами, читала мои опусы, была в курсе всех моих экзаменационных мытарств. Я же знал о ней лишь то, что она дочь Анны Михайловны и падчерица Гербета и что у нее был жених, молниеносно покинувший Коктебель. Никогда не прозвучало имени ни одной Дашиной приятельницы или приятеля по институту, порой у меня возникало странное ощущение, что она вообще нигде не учится. Я не видел ни ее учебников, ни тетрадей, не слышал ни об одном трудном домашнем задании или успешно сданном зачете. У них в доме бывали выдающиеся люди, но Даша почти ничего о них не говорила.

Даша сумела на какой-то отметине заморозить наши порывы друг к другу. В этом не было бытовой осторожности: нас никто никогда не тревожил, не лез в комнату, не звал Дашу к телефону. Видимо, у Даши были какие-то незываемые права, которых не решалась нарушать даже своенравная Анна Михайловна. За все время Даша лишь однажды пригласила Павлика в сочельник, для Оськи дом Гербетов

был закрыт. Даша знала, что причиняет мне боль, но тут она или не могла, или не хотела воспользоваться своими правами. У меня она охотно встречалась с моими друзьями, особенно с Павликом, который вызывал ее искреннее расположение, случалось, она приносила бутылку полусладкого вина, водки мы в те невинные времена не пили.

Но не бывает идеальной скрытности. Прокол неизбежен. Однажды мы с Павликом пошли в Дом писателей на Ираклия Андроникова. Те, что помнят его довоенного, согласятся, что более позднее и более отработанное им исполнение классических номеров: Алексей Толстой и Качалов, Алексей Толстой и дирижер Штидри, Алексей Толстой и Маршак в издательстве, Соллертинский в консерватории, Арапов и Соллертинский, — старая актриса значительно уступает той дебютной поре, когда он не стал так признан, знаменит и окольцован. То было до появления в «Правде» гнусной, инспирированной Сталиным статьи, что Андроников клеветает на выдающихся представителей советской культуры, изображая их пьяницами и маразматиками. Интеллигенцию берегли: Мейерхольда уже расквасили сапогами на полу следственной камеры, а у Зинаиды Райх вырвали глаза.

То был субботний вечер, и после окончания концерта ряды стульев вынесли, а на их место поставили крытые крахмальными скатертями столики, на антресолях же запиликал, пробуя скрипочки, джаз-оркестр. И тут Павлику нестерпимо захотелось потанцевать. Он мало кого так ненавидел, как нашего бывшего учителя математики Михаила Леонидовича, по вечерам подрабатывающего в джазе. Говорили, что Михаил Леонидович в консерваторские свои дни обещал стать выдающимся скрипачом. Но после перенесенного им тяжелого мозгового заболевания ему не оставалось ничего другого, как стать школьным учителем математики. А на скрипке он играл в джазе, который часто приглашали в Дом писателей на вечера отдыха. Однажды Михаил Леонидович, человек вообще добрый, вызвал Павлика к доске и полчаса измывался над ним, заставляя мучиться над задачей, которую Павлик не мог решить. «Почему я не дал ему в морду?» —

сокрушался Павлик, вернувшись за парту и высмаркивая обиду в носовой платок. С тех пор Павлик стал частым посетителем танцевальных вечеров в Доме писателей. Ему казалось, что он бесконечно унижает Михаила Леонидовича, кривляясь в фокстроте под его скрипку и посылая ему с официантом рюмку водки на антресоли. Он продолжал это делать, и когда мы кончили школу. Не знаю, дошла ли до Михаила Леонидовича эта изысканная и страшная месть. Но водку он аккуратно выпивал.

Вечер был в самом разгаре, Павлик уже не раз огорчил математика-скрипача фокстротом, танго и рюмкой водки с барского стола, когда, вызвав приметное волнение среди присутствующих, появились новые гости. Впереди, как всегда, в шифоновом, но, разумеется, новом платье шествовала Анна Михайловна, отставая на полшага, деликатно продвигался Гербет, а за ними шла стройная пара: Даша в черном облегающем платье и с ниткой жемчуга, ее поддерживал за локоток представительный мужчина лет тридцати пяти в золотых очках, модном красивом галстуке и двубортном костюме. На груди у него висела табличка: жених. Впрочем, возможно, мне так показалось после всех выпитых рюмочек.

Их столик находился рядом с нашим. Мы с Павликом встали, поклонились и получили в ответ рассеянный кивок старшей пары и удивленно-недовольную улыбку Даши; джентльмен чуть замешкался, затем вежливо наклонил голову с прекрасным пробором.

Они расселись. Даша не без умысла оказалась ко мне спиной, а жених — вполоборота. У него были атласно выбритые щеки, очень широкий упрямый профиль, что придавало ему что-то бизонье, и значительно-неумное выражение лица.

Анна Михайловна знала свое дело. Она смотрела сквозь пальцы на наши пылкие, но строго регламентированные встречи, а сама вела поиск. Откуда появился этот лощеный человек, о котором я никогда не слышал?

А я-то думал, что Даша от меня ничего не скрывает, как и я от нее (а что мне было скрывать?). Ее сдержанность в отношении институтских друзей я относил за счет полного

отсутствия интереса к ним и отчасти за счет не слишком блестящих студенческих успехов Даши: текстильные машины интересовали ее куда меньше, чем прошлогодний снег. Ну, а родительская компания была слишком высокого пошиба, чтобы даром трепать священные имена. Я знал, что она нередко говорит по телефону с поэтом, переживающим бурный роман с балериной, знал, что к ним заходят по делу ученики Гербета, не остающиеся равнодушными к прелести Даши, но все это меня ничуть не трогало. А вот появление этого элегантного, источающего самодовольство человека оказалось неожиданностью.

Я не испытывал ни гнева, ни ревности, было лишь удивление. Да, пожалуй, я несколько гордился перед Павликом, что у меня такой взрослый и представительный соперник. И меня крайне удивило, когда Павлик встал, чтобы набить ему морду. Стоило немалого труда удержать его от этого доброго намерения. Пришлось даже прибегнуть к помощи грозного метрдотеля. Но Гербеты в своем величии ничего не заметили.

Вместо мордобоя я пригласил Дашу на танец, что ей было, по-моему, столь же неприятно.

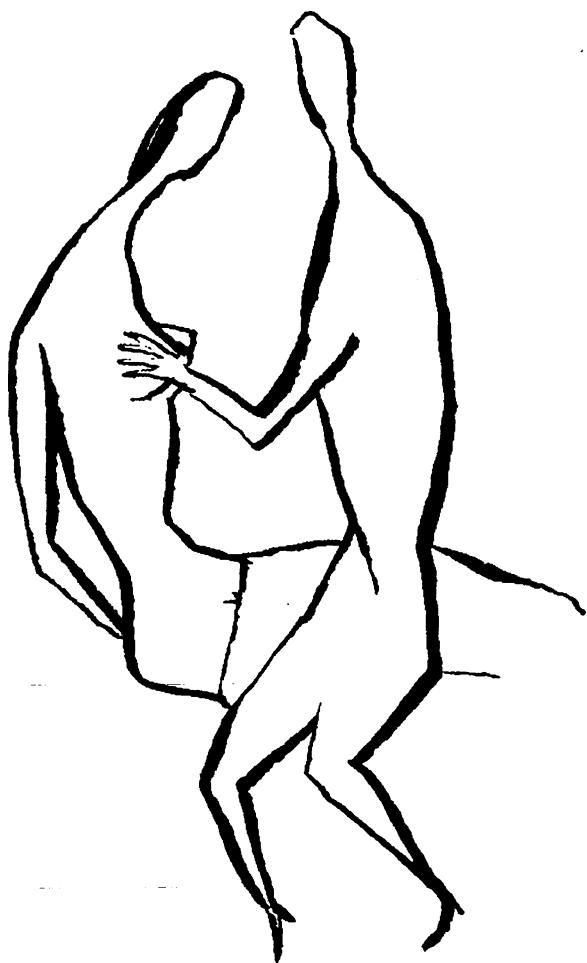
Дашин кавалер оказался докторантом по фамилии Бахрах, учеником Гербета, считавшего его самым обещающим из молодых философов. Что может обещать советский философ? Ведь все вопросы давно решены и все точки расставлены. Сам Гербет комментирует Аристотеля в духе марксизма-ленинизма и смотрит в трубу — разве это наука? А у Бахраха даже трубы нет.

Перспективный Бахрах из дома исчез. По усилившейся неприязни Анны Михайловны я понял, что тут не обошлось без моего участия. При всей подчиненности матери: ее уму, вкусу, оценкам, манерам — Даша сохраняла свободу выбора.

Из дома Гербетов Бахрах ушел, но наши пути с ним неожиданно пересеклись. Я наткнулся на него в коридоре Политуправления Волховского фронта в начале весны 1942 года. Он был заместителем главного редактора армейской газеты 2-й Ударной армии, той роковой газеты, где все погибли, кроме контуженного в канун первого окружения

художника Вучетича — его успели вывезти, и начальника типографии, который вышел сам. Мне кажется, что часть лесного пути мы проделали с ним вместе и потеряли друг друга близ Волхова. А перед окружением погиб на моих глазах Сева Багрицкий, сын знаменитого поэта и сам поэт, читавший мне воронежские стихи Мандельштама и подаривший наган 16-го года. Мы расстались, и через несколько минут его убило взрывной волной. Обстоятельств гибели Бахраха я не знаю.

Фронтвые встречи всегда сопровождаются избытком сердечности — не из фальши, а от радости видеть человека живым. Я кинулся на шею Бахраха, но был встречен холодно. Думаю, что Даша тут ни при чем. В своей полуофицерской-полусолдатской форме (так нас экипировали) я выглядел рядом с Бахрахом размундиренным дезертиром. Он красовался в романовском полушубке, бурках, роскошный ремень с портупеей нес груз товарища-маузера в деревянной кобуре. Бывшие штатские люди крайне чувствительны к субординации, Бахраха шокировала моя развязность, ведь у него в петлицах было столько же шпал, сколько у меня кубарей. Это смешно, но в качестве ответственного секретаря газеты для войск противника я был старше Бахраха по должности и по окладу, повисить же меня в чине — при моей удачливости — начальство как-то забыло. Расстались мы без объятий. Бахрах очень лихо и при этом снисходительно козырнул, чему я так и не научился за всю войну, и уехал в смерть.



Незадолго перед моим отъездом в Коктебель Даша заболела, в первый и в последний раз на моей памяти. Но независимо от ее болезни их отъезд задерживался — наступала пора защиты кандидатских диссертаций, а Гербетты ездили только всей семьей.

Даша принадлежала к тем рыхловатым существам женского рода, которые всегда полубольны, вечно кутаются в платки, шали, стеганные халаты, любят шерстяные кофты, теплое белье, валенки и при этом не знают более тяжелых заболеваний, чем легкий насморк. На этот раз она подхватила грипп, и даже с температурой.

Непривычное лежание в постели, легкий жар, лекарства, визиты врача, атмосфера небольшой паники в доме — все это подействовало на Дашу расслабляюще. Впоследствии мне доводилось видеть в таком состоянии женщин после первых родов. Я навещал Дашу каждый день, но Анна Михайловна считала меня жароповышающим и быстро выгоняла. Когда у Даши твердо установилась температура тридцать шесть и шесть, мне разрешили проводить больше времени у одра выздоравливающей. Вообще Даша была вполне здорова, но ей приглянулась постельная разнеженность.

И вот, присев как-то на край ложа, я сомнамбулическим жестом засунул руку в вырез ее ночной рубашки и стал гладить и мять груди. Если мне до этого случалось ненароком сквозь одежду коснуться ее груди и промедлить с удалением грешной ручонки, то она делала это сама весьма решитель-

ным образом. При этом задрожавшие ресницы, участившееся мгновенно дыхание выдавали ее волнение, грудь, похоже, была самым чувствительным ее местом. А сейчас она опустила веки и отключилась от происходящего; дыхание было ровным и глубоким, тени ресниц недвижно лежали на скулах. Она как будто вобрала в себя то, что прежде вызывало в ней осязаемое волнение.

Свершилось! Я первый коснулся девственных персей. Увы, не первый. Это выяснилось во время этого же визита. Если б Гагарин, шагая по Красной площади навстречу своей всесветной славе покорителя космоса (он, кстати, никакого космоса не покорил, первым в космическом пространстве, сам того не зная, оказался Герман Титов, отчего и ощутил перегрузки, лишившие его всякого мужества, но останемся верны легенде), так вот, если б Гагарин, печата шаг по торцам Красной площади, вдруг узнал, что до него в космосе побывал какой-нибудь дядя Митяй или дядя Минай, он не был бы так разочарован и убит, как я, обнаружив, что этой несказанной милости удостоен — и неоднократно — изгнанный из Коктебеля поэт. Я вообще не слишком ревнив, а Дашу в безграничности моего доверия вовсе не ревновал, считая: все запретное для меня было запретно и для других. Мы с Дашей уже завершали год любви, а мне только сейчас стало доступно то, что было привычной милостью поэта: валяться рядом с моей милой, почти раздетой, и мять ей соски.

Помню, я все пытался извлечь что-то положительное для Даши из ее чистосердечного признания, ведь она могла и промолчать. Почему же она все-таки сказала? Положительное упорно не давалось, зато возникало что-то другое.

Она сняла один из самых строгих запретов перед моим отъездом в Коктебель, этим она приоткрыла мне возможность новых пленительных наслаждений среди тамарисков, в дюнах и морской пучине. Коктебель никогда не пользовался славой Оптиной пустыни или Афонской обители, поэтому она дала понять, какая расплата меня ждет, если я не соблюду верности. Она не робкая и наивная девочка, она позволяла мужчине касаться ее обнаженной плоти.

Признания бывают разные: вынужденные, опрометчивые, расчетливо-лживые, расчетливо-правдивые. Дашино принадлежало к этой последней категории. Мне было обещано многое, но я же был предупрежден, что могу все потерять. Расчетливость сочеталась в Даше с порывом, причем последний преобладал. Даша хотела зарядить меня перед расставанием, зарядить надеждой и угрозой.

Даша все-таки промахнулась. Ей надо было бы ограничиться доверием нежности, девичьим самопожертвованием (пусть фальшивым), и я устоял бы не только перед соблазнами Коктебеля, но и Вавилоня его лучшей поры, Парижа эпохи регентства и Хаммер-центра поры японского нашествия. Все испортили слова. Зачем мне было знать о достижениях поэта? Ведь сам поступок содержал в себе и предупреждение: перешла границу с тобой, перейду ее и с другим, если ты провинишься.

Почему люди говорят столько лишнего и, как правило, во вред себе? Иногда это идет от скрупулезной честности, от нежелания, чтобы тебя считали лучше, чем ты есть. Но куда чаще болтовня — следствие переоценки себя. Человек кажется себе настолько прекрасным, настолько выше всей окружающей сволочи, что он нисколько не стыдится своих маленьких милых недостатков: блядства, вранья, эгоизма, скупости, завистливости, мстительности и мошенничества. А тем, что считают причудами, своеобразием собственной личности, — гордятся. Не признаются лишь в уголовно наказуемых поступках.

Дашино признание не связало, а раскрепостило меня, к чему я вовсе не стремился. Ощущение Дашиной немаленькой груди, хорошо и полно заполняющей обширную ладонь поэта, возникало во мне куда чаще, чем это требовалось для моего внутреннего комфорта.

Наверное, оттого, приехав в Коктебель, я тут же влюбился. «Тут же» надо понимать буквально: не в тот же день, не через час, а едва спрыгнув на каменистую землю из кузова грузовика, которым по-прежнему доставляют отдыхающих из Феодосии и в Феодосию. Мимо меня мелькнула высокая стройная женщина в белом платье, повязанном по талии

куском узкого черного бархата. Она была совершенна: от тонких сильных лодыжек до чуть растрепанной ветром каштановой прически. Когда я спросил болтавшуюся поблизости мою старую знакомую армянку, угольно-черную и носатую Свирель Погосян, кто это такая, она засмеялась: «Уже заметил! Это наша красавица Гера Ростовцева. Торопись. На нее многие глаз положили».

То, что произошло в последующие дни, недели, вплоть до самого приезда Гербетов, объяснялось, конечно, не только Дашиной полуизменой задолго до нашего знакомства, но и естественным ходом вещей, который неизбежно должен был привести к тому, что так точно выразил Пастернак в стихотворении, попавшемся мне в рукописи:

*Тяни, но не слишком,
Не рваться ж струне!..*

Даша перетянула, и струна лопнула. Подарок ее груди, так сказать, из вторых рук лишь ускорил неизбежное.

Не следует думать, что дело только в физиологии. Я влюбился в Геру Ростовцеву так безоглядно, как влюбляется мальчишка во взрослую женщину, и Гера, в отличие от Даши, не дала порваться струне. Едва ощутив натяжение, Гера взяла дело в свои умелые руки и сыграла на этой струне с виртуозностью Паганини. Свой быстрый и неожиданный успех я отнес за счет скопившегося во мне неотразимого мужского обаяния. И был несколько разочарован, узнав через год, хотя Гера давно перестала играть роль в моей жизни, что вся история повторилась один к одному с моим приятелем, художником Васей Каменским. Гера была нимфоманка. Она, как героиня романа Музиля «Человек без свойств» Бонадея, теряла всякую способность к сопротивлению при виде мужских брюк. В конце войны мы случайно встретились с Герой возле моего дома. Я предложил ей зайти, через несколько минут она отдалась мне так охотно и деловито, словно это было продолжением коктебельских вечеров и не пролегло меж тем временем и нынешним кошмар войны, когда она чудом сохранила тяжело раненного мужа.

Наша очередная встреча произошла через тридцать три года в санатории, где полупарализованный Ростовцев даже

не лечился, а коротал дни перед близкой и неизбежной смертью. Гера была так стара и страшна, что я не узнал ее, оказывается, она сильно уменьшила себе возраст в Коктебеле. Но разрази меня гром, на темной аллее санатория она вдруг так по-юному кинулась ко мне, что потребовалась вся ее непривлекательность, чтобы я не ответил на страстный порыв.

В Коктебеле она выглядела лет на двадцать пять. Легкость, стройность, воздушность пленительно и странно сочетались в Гере с казацкой крепостью, она была казачка чистейших кровей. Наверное, так выглядела гоголевская Катерина, чью душу вызывал вождедеющий к ней отец-колдун. И в глаза и за глаза ее звали «Голуба душа», кажется, то была присказка доброй бабушки Алеши Пешкова. Геру и впрямь отличали крайнее беззлобие, расположенность к людям и откровенность во всем, что не касалось половой сферы. При ее неодолимом мужелюбии ей приходилось строго следить за собой, чтобы не попасть впросак. Самое замечательное, что это не мешало ей быть преданнейшей женой и образцовой матерью. Она прожила с мужем в любви и согласии (он был патологический бабник) более полу столетия, вырастила милого, одаренного и на редкость скромного сына. В коктебельские дни этот сын был четырехлетним малышом и крайне смущал меня своим присутствием в комнате, где на полу, на разостланной простыне, мы предавались непотребству. У мальчика была тревожная манера: много говорить во сне и порой открывать светлосерые и как будто видящие глаза. Гере стоило немало труда и редко проявляемой досады убедить меня, что мелющий языком и пялящий глаза малыш находится в полной отключке.

— Ты в этом уверена? — спросил я с некоторым ужасом в первый раз.

— Можешь не сомневаться, — с неосторожной интонацией совершенного знания ответила мать, но я не понял, что она себя выдала.

Он ни разу не проснулся, этот славный сероглазый малыш, хотя гости Марии Степановны, спавшие на «палубе», как раз

над Герминой комнатой, жаловались на тревожные сейсмические явления, обычно предвещавшие землетрясение.

Последнее объяснялось не только страстью, но и моей неосведомленностью в технике любви. Я думал, что кавалер должен вздыматься всем телом над партнершей, а потом рушиться на нее. Сотрясались пол и вся мебель, ходуном ходили стены, трескался потолок. Гера долго терпела эти сокрушительные упражнения, думая, что она столкнулась с новым, неизвестным ей, но модным в Париже способом любви. Потом как-то осторожно сказала:

— Постой!.. Ты что, не умеешь?..

— А чего тут уметь? — самолюбиво отозвался я и рухнул на нее.

— Да погоди... Так нельзя. Лежи спокойно.

Она сжала меня своими сильными казацкими руками, не давая отлепиться от нее, я подчинился, не понимая, как смогу вкусить «всю беззащитность точки, которой алчет перпендикуляра». Но оказалось, вовсе не нужно «падать стремительным домкратом», движение напоминало ход рубанка в умелых руках столяра.

Гера была опытным учителем, а я толковым учеником. Покинул я ее под утро не суетливым недотепой, а настоящим, гордым, решительным и неторопливым мужчиной, исполненным того достоинства, которое воспел Шиллер.

Я выпрыгнул из окна и сшиб с ног ночного сторожа. Он рухнул на гравий со своей жалкой берданкой и скуляще, пощеньячи затыврал. Я подумал, что расплачиваюсь за первую ночь настоящей взрослой любви каким-то гадким кикиморочьим кошмаром. Сейчас он поднимется на четвереньки, у него окажется песья голова, глаза плоскими, железные когти. Но, слава Богу, этого не случилось: меня облаивал крошечный трехмесячный щенок, похожий на муху с бородкой, — сторожевой пес был по грозности и надежности достоин своего повелителя.

— Собака не разорвет? — спросил я, чтобы расположить стражника к себе.

— Куш, Тамерлан! — прикрикнул сторож на малявку, которая сразу поджала хвостик и упряталась в тень.

— Что за порода? — продолжал я подлизываться.

— Пинчер-бабочка, — небрежно ответил хозяин.

Я помог ему подняться, подал боевое оружие. Он был человек добродушный, грешный, весь пропахший бурачным самогоном, поэтому только поинтересовался:

— Откуда ты спрыгнул? С палубы, что ли?

Я подтвердил.

Но ушлый старик не дал себя обмануть. Он понял, откуда я возник, и раззвонил по всему дому отдыха. Это избавило нас с Герой от докучных усилий маскировки.

Я все-таки разозлился на старика за предательство. И хотя он постоянно терся возле Гериных окон в надежде, что я опять сшибу его и откуплюсь рублевкой, я стал выходить из дверей, а скромный гостинец: кусок сахара, барабульку, засохший бисквит — преподносил пинчер-бабочке.

Не знаю почему, меня ничуть не тревожил Дашин приезд. Я не ощущал на себе и тени вины. Случившееся принадлежало той жизненной необходимости и неизбежности, куда Даша не могла или не хотела вступать. Она же знала стихотворение Пастернака о перетянутой струне. Я был слишком молод, чтобы отделить то физическое наслаждение, которое Гера дарила мне, от своей душевной жизни. Гера вошла в меня. Ночное упоение сменялось дневной нежностью, восхищением, благодарностью. Тогда я понял, что такое женственность — это присутствие женского начала, женской тайны в каждом слове, интонации, жесте, улыбке, вскиде головы, взгляде. Немногие женщины награждены этим свойством. Большинство слишком серьезно принимают тяготы повседневности, будь то воспитание ребенка, отношения с мужем, забота о душевном самочувствии родителей, материальные тяготы, мнение окружающих, даже уборка квартиры, поход в магазин или на рынок, готовка пищи. Это очень хорошие, положительные женщины, что растворяются в дневном существовании в ущерб себе, своей внешности, беззаботному блеску глаз, сохранности тела, они совершенно забывают, что главная жизнь творится ночью. Когда же они чуть стареют, то превращаются в тех бедняжек, о которых Жан Жироду сказал: «Раздеваясь, эти женщины надевают

свой самый безобразный наряд — наготу». Конечно, многое зависит от природы, но не меньше от уверенности в себе, легкости, с какой носишь себя по жизни, всего поведения. Мерилин Монро вовсе не нужно было обнажаться, чтобы наэлектризовать мужскую (да и женскую) аудиторию; Мадонну мучит, что она недораздета, ей не хватает женственности, а никакая демонстрация гениталий тут не поможет.

Гера была вся пронизана женственностью.

Так прошел едва ли не самый радостный и беззаботный месяц моей жизни.

Гербеты приехали с большим количеством вещей, с молотовской трубой в замечательном чехле из какого-то легкого и нездешнего материала и привезли только им присущий семейный аромат чистого, здорового тела, хорошего мыла, тонкого одеколона и собственное шумовое оформление, создаваемое преимущественно Анной Михайловной: ее серебристо-льдисто-холодным смехом, захлебом в конце даже коротенького рассказа, шуршанием длинных юбок; странно, но очень тихие люди — Даша и ее отчим, что-то добавляли свое к фоновому шуму царицы дома: вздохи, слышимые в провалах тишины, внезапный хлопок, приканчивающий мушку, — Гербет все время воевал с мелким летучим миром, Дашин приглушенный возглас — она непрочь была подвернуть ногу, оступиться, разорвать платье о шип акации.

Я не сомневался, что Даша услышит о моем весьма бурном романе уж за станции, ничего более яркого в начале этого сезона не было представлено на всеобщее обозрение. Тем более что следовало торопиться — Гера уезжала через несколько дней. Так что всем жаждущим крови, слез, бурных объяснений нельзя было терять времени. Среди отдыхающих было немало свидетелей начала нашей любви с Дашей — курортные обитатели Коктебеля являли в целом монолит, и, естественно, всем хотелось увидеть развязку.

Перед приездом Гербетов я приобрел у садовника букет роз и поставил им на стол. Мне хотелось подсказать Даше тон наших новых отношений: не давать пищи для злословия. И Даша это поняла. Написав это, я вдруг сообразил, что

Даша знала обо всех волнующих событиях еще в Москве, конечно, ей кто-то написал о моих «грязных шашнях», вот чем объяснялась ее спокойная, ровная повадка. Остальная семья никогда ко мне не горела и, наверное, сочла это — при легкой оскорбленности — наилучшим выходом из положения. К тому же Анна Михайловна была весьма чувствительна к знакам внимания и почтения, а на букет роз ушла половина местного розария.

Гера деликатно самоустранилась. В день приезда Гербетов ее не было видно ни в столовой, ни на пляже, ни на танцах, только где-то в отдалении, почти неуловимо, мелькало белое платье с черным бархатным кушаком. Казалось, ее подвергли остракизму. Взбешенный, я произвел налет на розарий и срезал почти все оставшиеся розы. Гигантский букет я зашвырнул к ней в полуоткрытое окно, после чего последовал за ним сам.

Утром возле столовой Даша спросила, закатив косящий глаз:

— Что все это значит?

— А ты не понимаешь?

— Ты живешь с ней?

— Да. Я же мужчина. — Последнее было лишним, прозвучало хвастливо и фальшиво, хотя соответствовало теперешней сути.

Она закусила губу.

Внешне все хорошо устроилось. Я оставался с Герой, а Даша, чтобы не выглядеть брошенной, приняла ухаживания старшего (на двенадцать минут) из близнецов Любимовых — Юры. Близнецы, их родители (папа — доктор наук, недавно отметил свое столетие, мать — детский драматург, давно умерла) уезжали в один день с Герой. Разочарование отдыхающих, алкавших крови, перешло в открытое возмущение, когда мы с Дашей очень мирно поехали провожать в Феодосию всю отбывающую компанию. Говорили, что такой безнравственности Коктебель не знал даже во дни греческих нравов покойного Волошина, когда никто не скрывал наготы, как Афродита, вышедшая из пены морской во всем своем пленительном бесстыдстве на каменистый берег Кипра.

А на обратном пути из Феодосии, в кузове открытого всем ветрам грузовика, мы с Дашей, не сговариваясь, угрюмо, нелюбезно, почти ненавистно начали обратный путь друг к другу. Это было невероятно — при всей своей оскорбленности, обиде, униженности и также твердом и неотходчивом характере она почти мгновенно откликнулась на мою не слишком ловкую попытку вновь связать разорванную бечеву. При известном напряжении старого, усталого, но памятливого к прошлому мозга я мог бы заставить себя вспомнить слова, какими я предал Геру, но мне не хочется этого делать. И не потому, что совестно за себя, это начисто отсутствует, несоизмеримое с важностью стоявшей передо мной задачи, а потому, что слова были слишком ничтожны, примитивны и в какой-то мере неискренни. Печаль расставания не успела развеяться, всякий отходящий от перрона поезд печален, даже если в окошках не мелькнет ни одного близкого лица. И сам я, и Даша понимали, что не слова важны, а намерение. Я вновь знал, что люблю только Дашу, а Гера — это тучка золотая, от которой не останется влажного следа в морщине старого утеса. Ну, а Даша? Наверное, и она меня любила, хотя огромную роль играла жажда реванша, мгновенного возобладания над соперницей, и чтобы ни у кого на этот счет не оставалось ни малейших сомнений.

Тут я ни в чем не ошибаюсь, восстановление наших отношений происходило с обескураживающей и огорчающей окружающих быстротой. В доме отдыха ничего не утаишь, за каждым твоим шагом следят десятки пар любопытных и бездельных глаз. Ведь подавляющему большинству нечем себя занять. Очень немногие отваживаются на крутые поступки, игру с судьбой хотя бы местного значения. А мы с Дашей заменяли в нынешнем пресноватом Коктебеле прошлогоднюю блистательную триаду: Каплин — Горностаева — Мессер. Конечно, мы не были осиянны славой, но Гербет со своей загадочной трубой не переставал волновать коктебельское население, придавая добавочную ценность сплетням. Да и поэт, отставленный в прошлом году, набрал за минувшее время известности. И только моя захудалость помешала возникновению новой благоуханной курортной легенды.

Мы обманули всеобщие ожидания: кровавая трагедия обернулась комедией положений, когда самые страшные, сулящие гибель безвыходные ситуации оказываются недоразумением и вместо слез разряжаются смехом. Никто ничего не понимал. Будто не было наших с Герой прилюдных телячьих нежностей, моих еженощных визитов к ней, прыжков из окна на голову ночному сторожу, не была оскорблена любящая чистая девушка и вся ее благородная семья босяцким поведением ничтожного мальчишки, ради которого еще раньше был изгнан с позором великий (в таких случаях не надо мелочиться) поэт! Все чувствовали себя обманутыми, обведенными вокруг пальца. Мы, как прежде, ходили с Дашей в Сердоликовую и Лягушачью бухты, на Кара-Даг и Серрюк-Кая, в Отузы и ночные лунные каньоны, каждый вечер танцевали до упада на вавмовской площадке и уходили вдвоем под сладкие прощальные слова Варламова, обещавшие новую встречу. И все знали, что мы идем не домой.

Разведка в доме отдыха была поставлена на высокую ногу. В слезку включился сам директор Хохлов, он-то и застукал нас целующимися на скамейке под тамарисками после отбоя. Хохлов закатил нам крикливую вульгарную сцену. Даша, потупив глаза, смиренно поднялась и побрела к дому. Но на меня вдруг наехало, за всю жизнь такие взрывы случались со мной всего лишь несколько раз. Я всегда предпочитал драку ругани. Хохлов когда-то служил в морском флоте, но ходил, как все служащие дома отдыха, в белых брюках и рубашке. Не знаю, почему в этот вечер он напялил на себя черный китель и большую капитанскую фуражку с крабом. Может, для убедительности разноса, а может, шел с какой-нибудь встречи. Но на нас он наткнулся не случайно, его навели, место у мусорной свалки не привлекало гуляющих. В нашем роду были военные моряки. Для начала я посоветовал ему не срамить морской формы шпионским выслеживанием. «Поберегите свой боевой вид для встречи с Ляшкевичем (то был тогдашний директор Литфонда, которого ждали с ревизией, гроза жуликов и редкий грубиян). Если он не попрет вас за воровство, то вылетите за хамство. Профессору Гербету Молотов не для того подарил телескоп, чтоб с его

дочерью так обращались!» Из капитана будто весь воздух выпустили, широкое, смуглое, под красивой фуражкой лицо стало серого цвета. Он пробормотал что-то о нежелании пререкаться с мальчишкой и дал задний ход.

— Вот не знала, что ты такой, — сказала Даша, когда ночные тени поглотили моряка.

— Какой?

— Хам.

— При чем тут хамство? У нас нет режима. Это чьи-то гнусности. Если мы уступим, куда нам деваться?

От слезки мы отбились, Хохлова вскоре после грозного визита Ляшкевича уволили, но я обрел куда более опасного и постоянного врага. Анна Михайловна Гербет готова была равнодушно простить измену ее дочери, не простить даже, а выкинуть из головы вместе с прочими моими фокусами, ибо у нее были фундаментальные жизненные намерения, а я только путался под ногами. Она настолько презирала меня, что не могла отнестись всерьез и к Дашиной обиде. Но сейчас все обернулось по-другому. Я оказался куда опаснее, чем можно было предположить. А главное, Даша легко, даже с радостью списала мне чудовищную провинность, лишь бы я вернулся, когда и за меньшее в старое доброе время угощали отравленными рыжичками. Ее бесила, сводила с ума Дашина привязанность ко мне. Достаточно было посмотреть на нас с Дашей рядом, чтобы понять материнское возмущение: крупная девушка, восковой, как говорят агрономы, спелости, шагнувшая уже в зрелую женскую красоту — бель-фам, — и какая-то обгорелая спичка. Я был «хорошего женского роста» — 171 см, мускулист, но тощ — все ребра можно пересчитать — и жалостно худостроскулым монгольским лицом. Даше я казался красивым, что меня смешило и стесняло, но куда больше смутил вдруг случайно подловленный взгляд Анны Михайловны, выражавший гадливость, отвращение.

Самое печальное, что это отношение она пронесла, ничуть не смягчившись, сквозь годы и годы. Сколько выпало нам всем на долю сложной, трудной, разной, порой страшной жизни, Анна Михайловна не колыхнулась. Моя любовь, верность, преданность Даше не производили никакого впе-

чатления. Она неумолимо копала под меня. Когда же наконец спохватилась, было, увы, слишком поздно...

Чтобы покончить с историей моей единственной измены, скажу, что роман с Герой не только не уронил меня в Дашиных глазах, но прибавил значительности и романтизма. Гера в самом деле была очень хороша, а репутацию свою испортила значительно позже.

Все пошло у нас так же прекрасно и изнуряюще, как в прошлом году. Но для меня еще острее и трудновыносимей, ведь я уже откусил от яблока, а Даша только перекатывала его из ладони в ладонь.

Однажды, когда я стал особенно настойчив, она сказала с какой-то беспомощной интонацией, в которой пробились странная, не ее нота:

— Ну, что ты от меня хочешь?.. Не могу я. Ведь это мое единственное достояние. Другого у меня ничего нет.

Для меня это прозвучало невероятно. Даша представлялась мне сокровищницей, полной всевозможных богатств, тайн, соблазнов, а вон к чему сводится ее ценность. К тому же я не был убежден, что Даша сохранила нетронутым семейное достояние. Я слышал краем уха о ее очень юном и трагическом романе с немолодым человеком. Мне она казалась полудевой, но, может быть, я был несправедлив к ней. Конечно, эту ветхозаветную пошлость внушила ей мать.

— Для кого ты бережешь свое сокровище? — спросил я. — Ты говоришь, что любишь меня. Но выходит, любовь тут ни при чем. Надо быть докторантом или членом правления Союза писателей?

Она показала мне язык.

— Сейчас нельзя делать далеко идущих расчетов. Сегодняшний академик завтра окажется врагом народа. Твоего отчима обвинят в идеализме и отберут трубу.

— Считай, что ты прав.

Крыть было нечем.

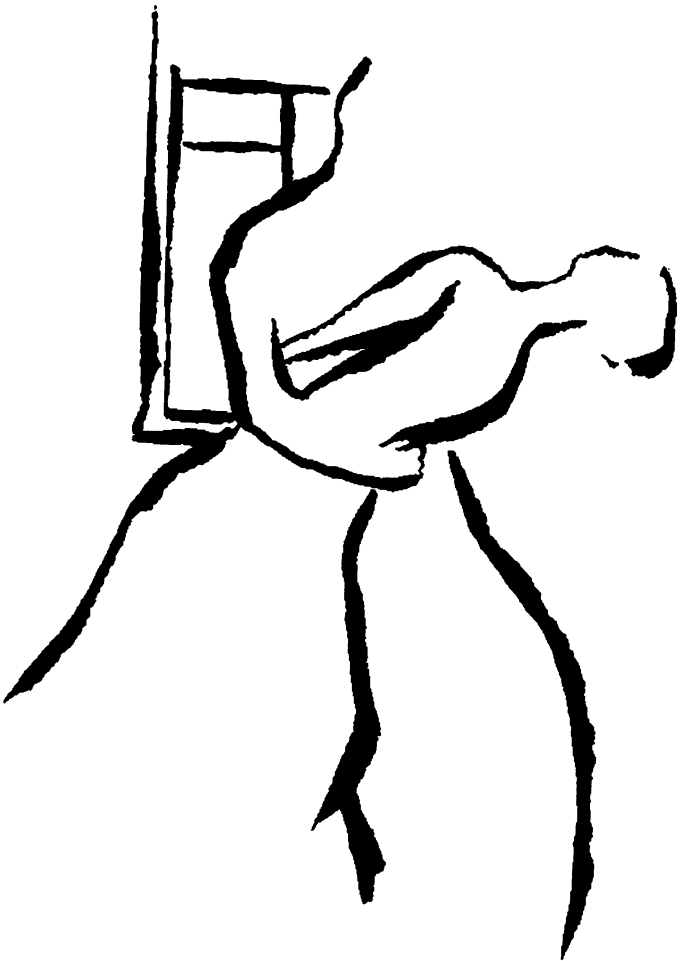
Сейчас я лучше понимаю Анну Михайловну. Ею двигали не меркантильные соображения. В московской жизни ее окружали люди такого калибра, что вгиковский студент, друг хулиганистого Оськи, гроша медного не

стоил. Ей по-человечески было обидно, что Даша так низко себя ценит.

Бедная, неотступно терзаемая мною Даша сделала еще один шаг на пути к своему окончательному падению. В канун моего отъезда она почти отдалась мне на ночном берегу. Нет, я не был допущен в тайное тайн, но и преддверие оказалось упоительным. Даша сняла с себя все, я тоже. Песок был холодный, а кожа ее очень горячей. И очень гладкой. И такой смуглой, что я не видел ее в безлунной тьме, только порой мелькали белки глаз. Но она смежала веки, и я обнимал невидимку.

Тогда я узнал разницу между близостью с женщиной, которую ты хочешь, и близостью (пусть неполной) с женщиной, которую ты любишь. Первая утрачивается в беспомысленности, а Даша осталась со мной, только она, все прочее исчезло. Потом вернулся скос берега с бордюром мелкого кустарника, темное, затянутое небо; я услышал порыв ветра по колючему шороху прокатившегося через пустырь за кустарником перекасти-поля. Вдруг высветился каменистый отрог Серрюк-Кая и погас, но линия спада горы просуществовала еще несколько мгновений и растворилась в темноте. И вновь не стало ничего вокруг, новая волна желаний накатила на меня, оставив наедине с тем необъяснимо манящим, что состояло из нежной глади и родного запаха.

Даша еще не раз вернется в Коктебель, и я зачашу сюда после войны, но общего Коктебеля у нас уже никогда не будет...



Я ничего не скрывал от Даши (мне нечего было скрывать) и потому считал, что тоже все знаю о ней. А между тем она изредка попадалась

на вранье, казавшемся таким бессмысленным и наивным, что я не придавал ему ни малейшего значения. Даша звонит из уличного автомата, мы ведем торопливый, как всегда в таких случаях, разговор. И вдруг она совершает маленькую оплошность, и я понимаю, что она говорит из дома. Чепуха? Возможно. И так же возможно, что за этим скрывается нечто важное для наших отношений. Люди, за исключением патологических и бескорыстных лгунов, предпочитают говорить правду, потому что с ней легче жить. Разумеется, я исключаю те случаи, когда ложь выгодна. Какой смысл врать просто так? Врут в силу необходимости. Значит, было что-то в Дашиной жизни, что она должна была скрывать от меня.

Я рассказывал ей буквально все. Даже то, как меня пыталась соблазнить очень известная в Москве дама. Она прославилась коротким и бурным браком с одним замечательным поэтом и невероятным бесстыдством, с каким изменяла нынешнему мужу, красивому, сановитому и очень любившему ее человеку.

Меня затащил к ней Оська, уже вступивший на путь греха, но имевший дело с какими-то грязнульками школьного возраста, а он мечтал о настоящей даме. Мы поужинали, выпили, и совершенно неожиданно дама отдала предпочтение мне и повела атаку с энергией жены Пентефрия. Оська,

поняв, что ему не светит, ушел в другую комнату, а дама с молниеносной быстротой освободилась от всех одежд и приняла позу, не оставлявшую сомнений в ее намерениях.

Отказ дама восприняла с беззлобной досадой. «У меня паршивая неделя, — сказала она. — Третьего дня я сорвала презерватив с члена Сафонова и выбросила в окно. Это его так потрясло, что он ничего не смог. А вчера пришел Гросс с цветами и чудовищным приступом астмы. Какие у вас проблемы?» — «Меня привел Оська. У нас есть свои правила». Это я сказал даме, успевшей натянуть юбку; «Любимая девушка», — сказал я Даше, и правда была в этих словах.

У нас с Дашей появилось постоянное пристанище — однокомнатная квартира отчима в Подколокольном переулке, меж Яузским бульваром и Солянкой. Квартира, пожалуй, слишком пышно сказано: она состояла из крошечной прихожей, где имелись умывальник и газовая плитка на две конфорки, и странной формы комнаты в четырнадцать квадратных метров. Впивающийся в комнату угол, образованный соседним помещением, отделял тахту от письменного стола, придвинутого к окну. За окном находился очень деятельный, сугубо деловой двор, дальше старый сад с высоченными деревьями, который исчезал, когда вы оказывались на улице. Все мои попытки обнаружить этот сад и с Подколокольного переулка, и с Покровского, и с Яузского бульвара ни к чему не привели. Он исчезал, как город Китеж. Дашу эта тайна не трогала. Она раздражалась, когда я начинал приставать к ней с дискретным садом. Почему люди так равнодушны к тайне? Почему никто не пытается глянуть за тусклую очевидность быта?

По тем аскетическим временам наш закут или гостиничный номер, в доме была коридорная система, казался верхом роскоши. Ванна отсутствовала, но, слава создателю, имелась уборная. По-моему, дом строился как общежитие для коминтерновцев. Ко времени завершения строительства руководители Коммунистического Интернационала были расстреляны, а сам Коминтерн, хотя и не ликвидирован формально, это сделали во время войны, как бы не существо-

вал. Во времена Сталина было немало таких призрачных организаций: Красный Крест, МОПР, Общество старых большевиков и проч. Немногие уцелевшие политические эмигранты: немцы антифашисты, руководители венгерской революции — ютились в номерах над рестораном «Астория». Оттуда их постепенно изымали и отправляли в лагеря, иных для разнообразия расстреливали.

Обычно я приходил первым, отчим торжественно вручал мне ключ, впоследствии мы сделали дубликат, который всегда находился при мне. Минут через двадцать со своей обычной пунктуальностью являлась Даша. Вид у нее был чуточку испуганный, глаза широко открыты, и румянец на щеках, словно она не была уверена, что встретит меня в этом тайном и опасном месте.

Минуты ожидания ее всегда были тревожны для меня, наверное, лишь от силы чувства, ибо я никогда не допускал мысли, что она может не прийти. Все во мне ныло и пело, сердце обмирало и рушилось, как у истерической девицы на первом балу.

Устав прислушиваться к шагам в коридоре и кидаться поминутно к двери, за которой никого не было, я садился к письменному столу и глядел на двор, где всегда разгружали подводы и грузовики, таскали тюки и ящики, стекла в деревянных стояках, рогожные кули и бумажные мешки, откуда высыпалась очень яркая синяя или желтая краска.

Двор, куда выходили многочисленные двери разных контор, большого продуктового магазина, пошивочной и какого-то таинственного, потреблявшего яркую клеевую краску производства, был всегда погружен в тень, какой бы день ни царил, сад-призрак неизбежно купал верхушки своих деревьев в небесной лазури. Я знаю, что так не может быть: Москва хмурый город, с низким серым небом; прекрасные синие дни случаются чаще всего в марте, но посещает нас эта радость не чаще, чем раз в три-четыре года. Суровая зима, грозное тревожное лето, черная слякотная весна, пронизанная ветрами осень — вот московский климат. Но когда мы встречались у отчима — чаще всего по воскресеньям, — всегда были солнце и синь. Пусть это невозможно, но я

бессилен заставить свою память принести мне хмарь, дождь и грязь.

Вообще память удивительный инструмент, который владеет человеком, а не наоборот. Мы встречались у отчима без малого два года в любой из месяцев, кроме летних, когда уезжали из Москвы, да и то, наверное, прихватывали один-другой июньский день, но во мне живет воспоминание только о сверкающих, морозных, чистых днях какой-то вечной сказочной зимы, осиянной серебряной рождественской звездой. В моем детстве были такие звезды — из серебряной стружки, не из стекла, они казались источником яркого нежного света, хотя в действительности собирали его на себе, вытягивая из законных фонарей и небесных светил, из всего, что способно рождать свет.

Это была Дашина идея — встретить тут Новый год. Обмершим сердцем я понял: пришел мой час! Даша наконец-то решила подарить себя мне. Это было так значительно, так громоздко, что я не отважился вспугнуть ее ни одним вопросом о предстоящем торжестве: поставить ли маленькую елочку — Рождество было под запретом и елку ханжески зажигали на Новый год, купить ли еды, шампанского?

Вино не играло той роли в нашей жизни, какую оно стало играть впоследствии у всех советских людей, независимо от их социального, политического, духовного, профессионального, душевного статуса. Все происходящее в нашей жизни стало совершаться вокруг бутылки: свадьбы, в том числе серебряные и золотые, рождения, крестины, семейные, религиозные и советские праздники, все события служебной жизни, окончания трудных работ, правительственных заданий, получение научных и литературных премий, орденов и медалей; признания в любви, первый поцелуй и первое объятие, спортивные победы, подвиги, расставания и встречи, выход из тюрьмы и лагеря, защита диплома и диссертации, поэтическое озарение и молитва, — все стало совершаться вокруг бутылки. Она была и жертвенником, и священной жертвой, алтарем и кафедрой, увитым розами ложем, точкой, вокруг которой вращается мироздание, сутью сути. Но все-таки Даша оживляла наши встречи — если они не носили

сугубо интимного характера: ужин с Павликом, встреча с Оськой, сделавшим новые фотографии, — бутылкой какого-нибудь легкого и вкусного вина: «Пино-гри», «Салхино», «Лидии», «Мускателя», «Тетры».

Меня удивило, что Даша пришла без той плетеной сумки, в которой она приносила вино и что-то вкусное: засахаренные орехи, пьяную вишню, черный изюм, жареные фисташки. Но я тут же понял: событие столь величественно, что недостойно обрамлять его какой-то бытовой мелочевкой. И хотя было довольно рано, а нас ждала впереди долгая новогодняя ночь, мы разделись и легли в холодную постель.

Я уже говорил, что Даша была мерзлячкой, и в этой промерзшей за день постели она никак не могла согреться, хотя от меня шло достаточно жара. Я навалил сверху ее беличью шубу, свое демисезонное пальто, какие-то драные пледы, байковый халат отчима — ничто не помогало. Тогда она попросила разрешения надеть плотную нижнюю рубашку и шерстяные чулки на круглых резинках. Теперь вместо милой, гладкой кожи я колосся о шерсть ее нижних одежд, что было неприятно, но не могло ослабить моего рвения.

И тут оказалось, что Даша вовсе не была настроена на подвиг. Она просто подумала: ведь нам никогда не доводилось проводить целую ночь вдвоем в постели, и наврала матери, что идет встречать Новый год к институтской подруге, которая живет на другом конце Москвы. Такси там не поймать, и она останется на ночевку. Это — матери, а мне досталась обычная нуда о единственном достоянии, растратить которое она не имеет права. Она даже не потрудилась как-нибудь освежить, взбодрить аргументацию. У меня мелькнула бредовая мысль, что она поспорила с матерью на «американку», что может переспать со мной в одной постели и остаться нетронутой.

Мысль была сумасшедшая, но именно поэтому завладела мною. Я рассвирепел. Вспоминать об этой ночи мне до сих пор стыдно и противно, тем паче что я не добился и тени успеха. Если не до рассвета, то до первой утренней разреженности тьмы, когда белизна снега и где-то в бесконечной дали восходящее солнце начинают одолевать

мрак, шла изнурительная, мучительная борьба за овладение Дашей. Она согрелась, потом даже запарилась и попросила разрешения избавиться от лишних доспехов. Вот до чего уверена в себе она была! Почему она настолько не боялась меня, почему знала, что я с ней все равно ничего не сделаю? Более опытный мужчина, конечно, справился бы, но у меня был слишком куцый опыт, и Гера была устроена иначе, чем Даша. Я впустую терял силы, стремясь совершенно не туда, куда мне было нужно. Но главное, она твердо знала: я неспособен к той последней грубости, когда женщине, находящейся в ее положении — обнаженная, в постели, придавленная мужским телом, — приходится подчиниться. Я мог причинить ей боль только с ее согласия.

Наконец самый убогий праздник в моей жизни кончился. Даже моя любимая, умевшая на редкость убедительно — для себя — оправдывать каждый свой поступок, чувствовала, что тут она совершила промах. Надо было все это как-то иначе обставить. Например, обговорить, что общий праздник обойдется без фейерверка в честь моей личной победы над чистотой девичества. Что мы сбережем себя до нашего особого дня. Клянусь, этого было бы достаточно. Надо было позволить мне обставить встречу: купить елочку, вина, шоколада, фруктов, чтобы сама необычность совместного ночевья несла надежду на будущее, чтобы первая ночь выделилась из наших встреч не только бесконечной борьбой, ожесточением, словесной перепалкой, но и большим доверием. А так получилось просто глупо. И зачем ей было обманывать мать? Мы вполне могли вернуться домой в начале второго, сохранив друг к другу больше доброго чувства. Что-то вообще нехорошее, нерешительное, невысокое чувствовалось в этом двойном обмане. Она бессмысленно надула мать, бессмысленно надула меня, словно потешила своего злого беса. А может, то была просто неловкость непродуманного, импульсивного поведения?..

Завершение праздника шло в том же ключе. Наломанные, невыспавшиеся, с головной болью, которой у меня никогда не бывает после пьянки, а сейчас затылок раскалывался, мы вышли на студеную, по-морозному солнечную улицу —

прямо к остановке трамвая. Но трамвая мы не дождались. Какому-то старому пьянице понадобилось уронить портки прямо на трамвайной линии. Подштанниками он не был обременен. Из-под грязного ватника и короткой застиранной ситцевой рубашки обнажился низ бледного нечистого брюха, длинный кривой член и синий мешок с яйцами, висящий, как у некоторых пород крупных сторожевых собак, на тонкой нити. Прохожие, конечно, принялись хохотать, а пьяница никак не мог подхватить свои сползшие портки. Я загородил Дашу от этого пакостного зрелища, которое как-то раблезиански омерзительно пародировало наш новогодний праздник, и потащил ее прочь от остановки. Она не заметила случившегося и раздраженно сопротивлялась моему желанию увести ее к Солянке, там была стоянка такси.

По пути туда нам пришлось миновать маленькие двухэтажные домики, где некогда размещалась знаменитая хитровская ночлежка, изображенная Горьким в «На дне». Сюда же Гиляровский привел Станиславского и других корифеев МХАТа для ознакомления с жизнью московского дна, где их чуть не прикончили.

Эти двухэтажные домики под толстенными шапками искрящегося снега выглядели бы уютно и даже нарядно из-за свежей покраски, ледяного узорочья замерзших окон, если б вокруг не слонялось, не валялось, не кочевряжилось и не мочилось яркой желтой струей столько невесть откуда взявшейся пьяни. Как будто встали из гробов горьковские хитрованцы, чтобы поздравить нас с праздником и выклянуть на опохмелку. Мы дали несколько мятых рублевок каким-то страшным людям с разбитыми, опухшими лицами, но не заслужили признательности обделенных. Они стали поносить нас на чем свет стоит, я никогда не слышал такого изощренного и злобного мата. Русский человек так любит мат, что даже чуть добреет, произнося заветные слова. Куда злее и страшнее звучит блатная «феня», где главный яд не в матюшках, а в зловещих звуках людоедского языка страшных Соломоновых островов. Мне даже пришлось отшвырнуть какого-то оборванца, ухватившегося за Дашину сумочку. По счастью, тут появился мотоциклетный милицей-

ский патруль, и хитрованцы растаяли в дымчато-морозном воздухе.

В общем, хорошо погуляли. Домой Даша пожелала почему-то вернуться на метро, хотя ближайшая станция находилась на площади Дзержинского, а от Крымской до ее дома было две троллейбусные остановки. Провожать себя она запретила. Зачем понадобилась ей вся эта смехотворная конспирация — ума не приложу. Скорей всего, она просто злилась на себя самую, уж больно бездарной оказалась ее выдумка.

В Даше все время происходило внутреннее бореение между двумя любовьюми: к матери и ко мне. Пишущий человек наделен страшной властью, ведь бедная Анна Михайловна, да и бедная Даша у меня в руках. Анны Михайловны давно нет не свете, не знаю, жива ли Даша. Но, живая или мертвая, она так же бессильна против меня, как и ее мать, потому что не пишет.

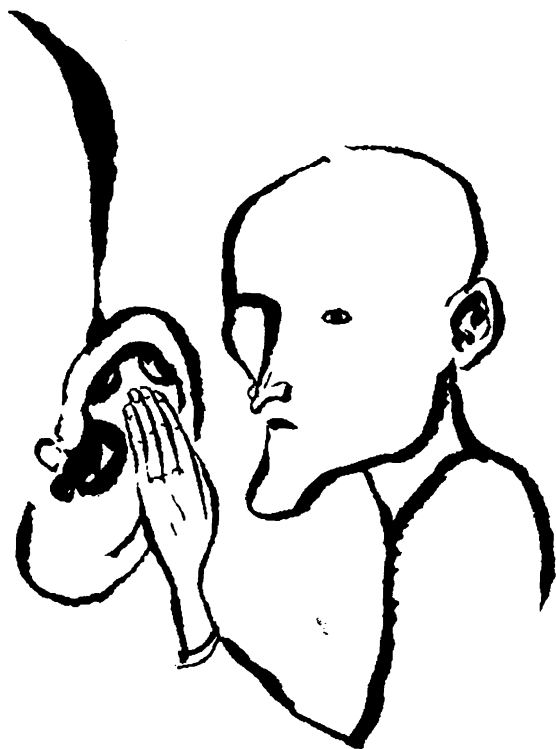
Не хочется быть несправедливым. Не хочется вести счет «глиняным» обидам, хотя от них никуда не денешься, такой счет возникнет, он неотвратим в нашей ситуации, как пугающе большой ресторанный счет выпивохи. Но я сел за эту повесть в тайном предчувствии, что она приведет меня к пониманию чего-то такого, что станет и прощением, и примирением, хотя, возможно, и по сю, и по другую сторону света это вовсе никому не нужно. Но нужно мне самому, я не хочу уходить со злом в душе. Вот в чем мое единственное неоспоримое право.

Анна Михайловна прошла по карнизу над бездной с новорожденной дочкой на руках, когда муж ее, польский художник, отец этой девочки, был расстрелян молодой, как Эос, с перстами столь же пурпурными, но по иной причине — от крови жертв, — советской властью. Судьба Анны Михайловны — один к одному — судьба моей собственной матери. Я не знаю, как удалось ей найти, охомутать Гербета, навязать ему свою дочь и тем спасти ее. Думаю, что щемящий страх за дочь остался в ней на всю жизнь, которая не могла быть легкой. Гербет считался русским, но был немцем, как и она сама, хотя, возможно, с каплей русской крови.

Естественно, Гербет числился советским философом, но за ним тянулся опасный хвост идеализма. Ему крепко помог в свое время Институт красной профессуры, где он преподавал, впихнула его туда Анна Михайловна. При этом она не пошла по легкому и дурному пути, сводя его с хамами новой власти. Их кругом оставались старые киевские друзья: Нейгаузы, Пастернаки, Вильямсы, Ушаковы. Но не случайно в доме оказался и правдист Борис Резников — Дашина первая любовь. Прустовская госпожа Вердюрен подмешивала аристократию к своему довольно плебейскому салону, у нее были свои задачи, Анна Михайловна поступала наоборот: после неудачи с Резниковым (об этом дальше), который должен был решить все проблемы, в салон был введен — без матримониальных целей — делающий большую советскую карьеру Твардовский. Гербет, которому колхозная муза была столь же подходяща, как скаковому коню расписная дуга, накатал об Александре Трифоновиче огромную, скучную, «вумную» и глубокую статью, очень польстившую певцу умелого печника Данилы. Твардовский появился на званом обеде у Гербетов уже в мою пору. Я уверен, что затея с молотовской небесной трубой, необычайно укрепившая земную прочность Гербета, исходила от Анны Михайловны.

Конечно, Анна Михайловна знала свою дочь неизмеримо лучше, чем я, и болезненно чувствовала ее житейскую непрочность, отсутствие той душевной грубости, которая помогает выжить человеку. И ей хотелось посадить этот слабый росток в тучную, надежную советскую почву. А я путался под ногами, мешал ей, сбивал с продуманных расчетов, конечно, она должна была ненавидеть меня, пораженная и оскорбленная собственным бессилием. Мы встречались с Дашей обычно не чаще раза в неделю, часа на три-четыре, все остальное время принадлежало Анне Михайловне, которая могла целиком посвятить долгую и доверчивую домашнюю близость изгнанию беса, то есть меня. И ведь какой козырь дал я ей минувшим летом, оскоромившись с Герой, но ничто не помогало, Даша оставалась со мной.

Теперь я склоняюсь к мысли, что Даша задумала совместный Новый год как нашу свадебную ночь. Отсюда и сложная ложь, наговоренная матери о подруге, живущей за краем света, отсюда и ее приход с пустыми руками и нежелание, чтобы я сделал какие-то приготовления. Ведь это был не обычный мещанский Новый год с выпивончиком, закусончиком и полупьяной общей постелью. Все должно было произойти в аскетической очищенности, высокой простоте, героической чистоте, как у Зигфрида с Брунгильдой, когда их на ложе разделил меч. Но Зигфрид играл чужую роль, он победил Брунгильду для своего друга и, естественно, не захотел воспользоваться плодами победы. Я же боролся за Дашу для себя, и она сама решила сбросить с ложа этот проклятый разъединяющий меч. Но что-то помешало. Может быть, самое простое: жуткий холод, добавившийся к остуде сердца, предавшего самого родного на свете человека — собственную мать. Красиво, достойно, в былинном величии не получилось. Были ледяные простыни, гусиная кожа, озноб, зубовная дробь, а где-то вдалеке скорбно реял материнский образ. И меч не упал, зазвенев, с ложа...



А ведь наша близость чуть не состоялась за две недели до Нового года. Мы пришли сюда, не зная, увидимся ли еще или это последняя наша встреча. По доносу одного студента-сценариста, человека средних лет, давно отбывшего действительную воинскую службу, нас всех призвали в армию в разгар позорной финской войны. При тех неожиданных и чудовищных потерях, которые несли советские войска от бездарности командования, страшных морозов, финских снайперов-кукушек, нами, необученными, неумелыми, заткнули бы какую-нибудь дыру, а потом пустили бы закоченевшие трупы на сооружение брустверов. Доносчик с обезоруживающей откровенностью говорил, что его испугал слишком высокий уровень подготовленности однокашников и он решил избавиться от мужского состава. Девиц он надеялся победить в открытом творческом бою. Он зацепился за одну двусмысленность в осеннем приказе Ворошилова: призвать в армию всех студентов-первокурсников. Министр обороны имел в виду студентов, практически не приступивших к занятиям. Они и были призваны в сентябре месяце. Когда же наш, чуть замешкавшийся доносчик спохватился, а неторопливая военная канцелярия разобралась, мы уже были в шаге от второго курса. Если б не позорная война с финнами, никто бы и внимания не обратил на донос, ведь государство уже потратило средства на наше обучение. Приказ Ворошилова все равно был зверским, в армию забрали ребят, которые все лето

корпели над вступительными экзаменами, сдали их, испытали радость успеха, явились на занятия с новенькими учебниками и загремели в армию. Возможно, Сталин уже тогда наметил «освобождение» Финляндии.

Конечно, нас можно было без труда отбить, но директор института Якубович-Ясный и его заместитель Смык-Китаев (почему-то эти псевдонимы старых большевиков звучат как воровские клички) наклали в штаны от страха, что их уличат в недостатке патриотизма. Финны не сегодня завтра возьмут Ленинград, оккупируют Советский Союз, хотя у них уже произошла революция и новое коммунистическое правительство возглавил Куусинен, а студенты не хотят идти на фронт. Кстати, были студенческие батальоны добровольцев, но ВГИК проявил полное отсутствие патриотической инициативы, ни один студент не пошел по доброй воле. Некоторый дефицит патриотизма стимулировал моего отчима, писателя Я.С.Рыкачева, прорваться в канцелярию Ворошилова и спасти ВГИК.

Я не верил в успех ходатайства отчима и наше свидание с Дашей у него на квартире считал прощальным. Уже когда мы, отцеловавшись, собрались одеваться, я все же позвонил домой и наткнулся прямо на отчима, только что вернувшегося от Ворошилова. «Все в порядке. Маннергеймовская хунта не узнает силы вгиковского штыка. Так что можешь не торопиться», — добавил он совсем по-хулигански, наверное, от восторга победы, в которую никто не верил, кроме него самого.

Я передал его слова Даше. Она выскочила из постели, совсем нагая, я впервые увидел ее обнаженную в рост, и начала целовать мое лицо, смеяться и плакать, затем вдруг наклонилась и с силой ударила лбом о край стола. Поняла ли она сама, что то была искупительная жертва? Она расскла до крови свой чистый высокий лоб. А я, как-то по-тигриному завав в самого себя, вдруг понял на селезе, что она меня тоже любит. И сразу перестал злиться на студента-доносчика и впоследствии пришел к нему на помощь в трагическую минуту его жизни. Ведь если бы не он, узнал бы я когда-нибудь, насколько дорог Даше?

Мы обнимались так долго, что у нас окоченели ноги на холодном полу. Я поднял Дашу на руки и отнес в постель, и тут меня осенило, что я могу сделать ее до конца своей. Она так обрадовалась, так растрогалась, что утратила все защитные средства, я впервые стал хозяином положения. Она удивительно чутко уловила что-то новое в том ласковом нажиме, каким я распластал ее на кровати, и начала лепетать жалкие, совсем не похожие на обычное рассуждение о «единственном достоянии» слова: «Ну, миленький, не надо... Не сейчас. Мы же не разлучаемся. У нас столько времени впереди... Будь хорошим...» И этого я не мог перешагнуть. Мне кажется, что именно тогда у нее мелькнула мысль о новогоднем празднике. Она хотела оставить за собой хоть такое право — не уступить, а подарить себя. Не вышло...

Все, что в жизни получается и не получается, всегда имеет следствия. Ни одно переживание не исчерпывается в себе самом, оно длится...

Довольно скоро вслед за неудачей нашего Нового года я почувствовал, что отношение Даши ко мне изменилось. Это было заметно не по каким-то тонким нюансам душевного поведения, а по грубой очевидности житейских обстоятельств. Наши встречи стали реже и короче. Она постоянно куда-то торопилась и едва позволяла притронуться к себе. Ой, ты сомнешь мне блузку! Ох, я вся растрепалась!.. Боже мой, я не могу в таком виде вернуться домой!.. Она все время куда-то торопилась, всегда должна была соблюдать форму, но причины столь бережного к себе отношения выдвигались самые прозаические: идем с мамой к скорняку, мы идем к портному, мы идем к сапожнику, к нам придет парикмахер. При этом она все охотнее назначала встречу на бульваре, в кафе, в кино или у меня на улице Фурманова, но к себе не звала. Она хотела быть хозяйкой времени, а ведь гостя не выпрешь. Затащить ее к отчиму стало почти невозможно. Иногда она кидала мне эту кость, но оскорбительно краткая и деловая манера интима нас скорее разводила, нежели сближала.

Естественно, что у меня возникла мысль о новом и более удачливом докторанте, но я не чувствовал рядом с Дашей

никого другого. Зато сильно чувствовал ее мать. Анна Михайловна вдруг очень деятельно занялась внешностью и туалетом дочери. Теперь я знаю, как это называется: Даша под нажимом и надзором матери меняла стиль. Изгонялось все, что ее юнило, и подчеркивалось то, что сообщало ей пышность, солидность, зрелость. Обычно матери дочерей «на выданье» стараются как можно дольше сохранять им нетронутость юности. Анна Михайловна пошла прямо противоположным путем. Даша стала носить длинные волосы, что ей необыкновенно шло, но исчезла та небольшая, изящная, круглая головка, которую я так любил. Она стала краситься. Прежде она едва-едва трогала помадой губы, прикасаясь пуховкой к смугловатой коже щек, теперь она, как говорят женщины, «делала лицо», подрисовывала рот, мазала пушистые ресницы тушью, отчего они чуть склеивались и становились кинематографически громадными. Она запрещала целовать себя в щеки, чтобы не нарушить орехового слоя «штукатурки», как выражался я про себя от злобы. И одеваться она стала иначе: у нее появилась длинная каракулевая шуба, очень высокая, тоже каракулевая папаха, точная копия материнской, туфли на низком каблуке были изъяты из употребления, а на остальных каблуки стали на полтора-два сантиметра выше. Теперь я уже никогда не видел ее в милой домашней простоте: валенки, шерстяной платок, замотанный по-деревенски вокруг головы, грубой вязки рукавички. Даша всегда была одета, будто хоть сейчас на прием. Не скажу, что мне это не нравилось само по себе, со всех сторон только и слышалось: как Даша похорошела, как она расцвела, вот что значит найти свой стиль и т.п., но я стал как-то жалко отставать от нее. Мой единственный на все сезоны синий костюм и мосторговское пальто, которые не особенно снижали прежний облик Даши — все советские мужчины одеваются хуже своих женщин, — сейчас выглядели уж слишком непрезентабельно. Я заказал себе кепку у частного в Столешниковом переулке, но эта форсистая вещь лишь подчеркивала убожество остального наряда. У меня не было денег, чтобы купить что-то в комиссионном, тем паче заказать у Смирнова, Райзмана или Затирки.

Анна Михайловна уводила от меня Дашу не в пространственном, а во временном смысле. Она сделала из дочери даму, я же остался щенком.

Новый год был моей роковой ошибкой. Лучше бы я изнасиловал ее. Был бы ад, но я бы ее не потерял. Лучше любой гнусный поступок, но нельзя, чтобы целая ночь, и какая ночь — с рождественской звездой, перенесенной советской властью с вифлеемского часа на условную ночь Нового года, ночь со всеобщим пиром, музыкой, весельем, шумом, треском, приключениями, — прошла в унылой постельной борьбе, с набившими оскомину уговорами, собачьим холодом и дрожью, а завершилась старичком, потерявшим портки, хитрованцами и спасительной бензиновой вонью милицейских мотоциклеток. Даша была унижена собственной нерешительностью, отступлением от принятого героического решения, моей слюнявой слабостью, победой скудного быта над праздником любви, Зоценки над Лонгом, советским убожеством над прелестью Дафниса и Хлои.

В этот смутный период наших отношений мы стали бывать в ресторанах. До того верхом нашей советской жизни были кафе-мороженое или — днем — «Националь» с яблочным паем, «Красный мак» с трехслойным пломбиром. Рестораны возникли в какой-то мере из желания Даши показать себя — ее появление в зале вызывало заметный переполох, кроме того, она любила танцевать, а главное — избавлялась от квартиры в Подколольном, которую возненавидела. Не надо думать, что мы стали ресторанными завсегдатаями, для этого у нас просто не было денег, но я помню два посещения довольно дорогого «Метрополя» с бассейном, где плавали рыбы, и коктейль-баром и несколько визитов в менее аристократическую и более доступную «Москву». Даша не возражала, если с нами ходил Оська. Одет он был лучше меня, а спокойной развязностью и умением обходиться с официантами превосходил на голову. Танцевал я в ресторанах почему-то хуже, чем на ваммовской площадке, — опять же застенчивость, и мне куда больше удовольствия доставляло смотреть, как танцуют Даша и Оська.

«Москва» нам нравилась еще и потому, что там пел с джазом Аркадий Погодин, обладавший на редкость приятным, душевным тенором. Очевидно, для оперы голоса ему чуть не хватало, но я не понимаю, почему он не сделал ослепительной концертной карьеры. У нас не было и нет такого камерного певца. И по прошествии стольких лет я с ностальгической тоской ставлю его заигранную пластинку с любимыми песнями «Что ж ты опустила глаза», «Быть тебе только другом» и самой трогательной — «Расставанье», которые он исполняет под дивный аккомпанемент моих покойных друзей, великих гитаристов-цыган: Полякова, Ром-Лебедева, Мележко.

Я смотрю на Дашу и Оську, оба элегантно, изящно, Оське не мешало бы чуть больше роста, особенно с такой крупной партнершей, но смотрятся они все равно лучше всех.

*Сегодня мы должны с тобой расстаться,
Но как мне дорога сегодня ты!..*

Мелодия обрывается одновременно с последним словом, ни одного лишнего такта, и этим утверждается непреложность, окончательность решения.

Гремят аплодисменты. И танцующие, и наблюдающие дружно бисируют. Погодин не ломается, он любит петь, что не так часто среди певцов.

*Мой милый друг, к чему все объяснения,
Все понял я, не любишь больше, нет...*

На середине танца Оська уступил мне Дашу. Меня удивила тень, вдруг набежавшая на ее до этого оживленное, безмятежное лицо.

— Ты устала?

— Нет. Ты же знаешь, я могу танцевать до упаду.

Мы танцуем, но не до упаду, ибо вновь звучат последние слова:

*Сегодня мы должны с тобой расстаться,
Но как мне дорога сегодня ты!..*

— Это о нас, — сказала Даша с какой-то скособоченной улыбкой. И если б не странная эта улыбка, я пропустил бы ее слова мимо ушей.

— Ты о чем?

Мы медленно продвигались в толпе к столику.

— Мы больше не увидимся.

— Почему?

— Я устала от постоянной лжи. Я лгу дома, лгу матери. Я зря мучаю тебя.

Все еще не постигая размера бедствия, я сказал с чуть вымученной шутливостью:

— Я не жалуясь.

— Да нет! Жалуешься. И по-своему справедливо.

И тут я понял, что это всерьез. И замолчал. Многое шло у нас не так, как прежде, многое вызывало во мне обиду, удивление, боль, но такого я не ждал. И как странно — у меня не было слов для этого разговора. Да и что мог я сказать ей, кроме одного: я люблю тебя. Это много или мало? Мне всегда казалось, что это самое главное, но вдруг главные слова разом обесценились. Они не стоили и полушки. Но что же тогда стоило?

Мы вернулись за столик, а Оська отошел прикурить. Я разливал водку по рюмкам и вдруг увидел Дашино лицо, оно стало чужим. Я исподволь приглядывался к его чертам, беря их как бы отдельно: нежный выступ скулы, приспущенный уголок губ, слегка вздернутый нос, прядь, знакомо упавшая на крутой лоб, а вот ее слишком густые и слипшиеся от туши ресницы, но я уже привык к ним таким, мне трудно вспомнить их прежнюю свободную пушистость, ее уши теперь скрыты длинными волосами, но я замечаю в мочке одного из них дырочку прокола с ниткой — Даша собирается носить серьги, но ни слова не сказала мне об этом. Это не беда, настоящая беда в том, что я не в силах найти былой привычной цельности знакомых черт. Это лицо мне неведомо, я его никогда не касался ни губами, ни пальцами. Какое-то всеобщее лицо, каждый имеет на него право. Кроме меня.

Вернулся Оська и со смехом рассказал, как он прикуривал. «Молодой человек, а без огня», — укорила его сидящая за соседним столиком полная блондинка. «Я зажигаю трением», — отпарировал Оська. Я выдавил из себя улыбку, она причинила мне физическую боль. С присущей ему чуткостью Оська догадался: что-то неладно.

— Пойду куплю спички, — сказал он.

— Так что же произошло? — спросил я Дашу.

— Ничего нового. Ты сам понимаешь, так дальше продолжаться не может.

— Почему?

— Я старше тебя. Маму беспокоит моя неустроенность. Она совсем извелась.

— Как-то несовременно это...

— Да нет, все так живут. Приходит время вить гнездо.

— Это не твои слова.

— Что вы меня мучаете? — У нее навернулись слезы. — Ну, посмотри со стороны на нашу компанию. Я же смешна рядом с вами. Тетеха привела двух сосунков.

— Опять не твои слова.

— Можешь говорить, что хочешь. И будешь по-своему прав. Но я устала. Моя жизнь превратилась в кошмар. Хорошо хоть мы не сделали последней глупости.

— Как все разумно и как бедно!

— А другого и быть не может. Мы же с тобой иждивенцы.

— Я получаю стипендию.

— Которой едва хватает на проезд. Нам негде жить, нам не на что жить. Ты что, пойдешь в зятя? Или поселишь меня у своей матери, в спичечном коробке? Это все звучит грубо, но возразить нечего.

— Ну, а как же другие студенты? И любят, и сходятся, и даже детей заводят.

— Я не такая студентка... К сожалению.

— Мать уже подыскала тебе кого-то?

Она помолчала.

— Короче! Ты выбрала мать?

— Прости, да. С ней прожита вся жизнь.

— Это окончательное решение?

— Если б ты знал, чего мне это стоило!

— Тогда пойдем?

Она опять чуть помолчала.

— Да, лучше пойдем. Я не знала, что мне будет так тяжело.

Я подозвал официанта. Вместе с ним подошел Оська, слонявшийся где-то поблизости.

— Как, мы уходим? Не допив водку? Дудки! Есть закон: ничего не оставлять врагу!

Он перелил оставшуюся водку в фужер и выпил залпом...

Было странно, как изменился город, когда мы вышли из ресторана. По пути туда он казался мне исполненным красоты, добра, торжественного порядка. А ведь мне чужда до отвращения эта часть Москвы, где предано и уничтожено мое детство. Как я любил живой, вонький Охотный ряд с бесчисленными лавками и лотками, нарядную церковь Параскевы-Пятницы по другую сторону, и чудную Иверскую — воротца Красной площади, муравейник густо населенных кварталов от Манежа до нынешней гостиницы «Москва» и круто идущую навздым Тверскую. То была настоящая, старая, уютная, кучная, неповторимая Москва, а стала Москва сталинская, голая, бессистемно распахнутая во все концы (чтоб не напали врасплох?), асфальтово-холодная и мертвая. Огромнейший пустырь, именно пустырь, а не площадь, простирался от торца гостиницы до Манежа, ни Параскевы — покровительницы торговли, ни Иверской не было в помине, а жиденский Александровский сад, вписавшийся в новое, обобранное пространство, никак не компенсировал потерю. Три часа назад я ничего этого не видел и не чувствовал, вокруг был мой город, пусть изменившийся, но все равно родной и прекрасный, потому что рядом была любимая. Сейчас я поддерживал под локоть крупную чужую женщину с потекшими глазами и будто облупившимся лицом, постороннюю, как этот обкраденный город. Она была ему под стать, и непонятно, почему к отчуждению примешивалась боль.

Когда-то в маленькой повести, посвященной Оське, я сильно романтизировал этот эпизод своей жизни. На самом деле я испытывал к Даше ненависть.

Взяв такси, мы отвезли Дашу домой, после чего Оська поехал ко мне ночевать. Я постелил ему на полу, возле батареи. Чуть не до рассвета Оська курил и болтал, заговаривая мне зубы, нет, по Гейне: зубную боль в сердце. Я тогда понял, зачем устраивают поминки: нельзя оставлять понесшего утрату одного с его мыслями, тоской, горем.

Самое пьяное, глупое и вульгарное поведение за поминальным столом для осиротевшей души лучше одинокого переживания своей потери. Оська, разумеется, не был ни пьян, ни глуп, ни вульгарен и, болтая Бог весть о чем, умудрился ни словом не коснуться моей раны. В конце концов он меня усыпил, а когда я проснулся, Оськи уже не было — гуляка, зажигающий трением, умчался в школу.

Я долго валялся в постели, не испытывая ни малейшего желания ни к какому действию жизни. Об институте я и думать не мог, ни читать, ни писать не хотелось, пить с утра я еще не научился. В последнее время мы встречались с Дашей не чаще раза в неделю, но каждый день хоть минутную другую говорили по телефону. По-прежнему обычно звонила она, так ей было удобней, но случалось, не выдержав, я звонил сам и мучился от ее холодных, односложных ответов. Мы виделись вчера, следовательно, раньше, чем через неделю, мы все равно не встретились бы. В сущности, пока что потерял лишь один телефонный звонок, коротенький, из нескольких фраз, разговор. А день стал непомерно огромен и пуст. Потом придет другой такой же пустой и огромный день, и так — я даже усмехнулся, настолько невероятным это мне показалось, — до конца жизни.

*Мольбы и слезы не помогут,
Возврата нет, пора забыть мечты.
Сегодня мы должны с тобой расстаться,
Но как мне дорога сегодня ты!..*

А ведь это пошлость, думал я. Жизнь идет не под великую музыку и поэзию, а под ширпотреб, и сами мы изъясняемся не высоким слогом языкотворцев, а на мусорном обывательском сленге. Теперь всякое воспоминание о Даше будет сопровождаться сладким тенором Погодина, ну, а стало бы мне легче, если б оно шло под финал Девятой симфонии?

8



Оська пытался мне помочь в меру своих слабых сил. В ту пору он близко сошелся с компанией, группировавшейся вокруг сына знаменитого московского гинеколога, который ни в чем не отказывал своему наследнику, умному, красивому, очень элегантному и до мозга костей циничному парню. Впрочем, его отношение к жизни даже нельзя назвать цинизмом, он так рано и так полно узнал непривлекательную изнанку бытия, что стал совершенно равнодушен ко всем его проявлениям. Он начисто утратил этическую оценку людей и явлений, представление о добре и зле. Ему было все равно, что бы ни творилось вокруг него, лишь бы не портило настроения.

Среди его приятелей были юноши высокой интеллигентности, начитанности и способностей, агенты МУРа и уголовники (они отлично ладили друг с другом), красивые девушки из хороших семей и полупроститутки. «Полу», поскольку они промышляли не на улицах, а по квартирам, без твердой таксы. Он ни от кого ничего не ждал, не требовал, кроме одного: не воровать в отцовском врачебном кабинете, который добрый папа предоставлял ему для бардаков, как сами участники дружеских встреч называли свои пиры. Фаворитам он позволял пользоваться гинекологическим креслом в качестве любовного станка. Кажется, на этом троне Оська сбросил отягощавшие его вериги невинности. Как и положено, кличка у хозяина хазы была Король. Он мудро правил своим обширным и очень пестрым королевством, без всякого деспотизма осуществляя полноту власти. И не деньги, которыми он был набит по затычку, не страх перед кулаками и заточками его клеветов обеспечивали покорность подданных, в него все поголовно были влюблены: и женщины, и

мужчины. Последние не в порочном смысле, таких там не держали, а в чисто дружеском, радостно признавая его неоспоримый приоритет во всем: от умения одеваться до игры на бильярде или в преферанс...

«Есть и в моем страдальческом застое часы и дни ужаснее других», — я мог бы с полным правом применить к себе слова поэта: не было ничего ужаснее попыток развеять свой «страдальческий застой» в Оськиной компании. Их было две. Первая — гала-представление: я увидел во всем размахе неведомый мне шабаш группового юношеского разврата. Король истинно королевским жестом подарил мне свою новую возлюбленную, смешную и трогательную девчонку Тамару. Она была по уши влюблена в Короля и стала моим лучшим другом за то, что я не воспользовался щедрым его даром, послушаться властелина она никогда не решилась бы.

Другой раз мне пытались услужить на интимном суаре Зойкой-чистюлей. Там были две подруги: Зойка-чистюля и Зойка-грязнуля, вторая куда симпатичней, об их гигиенических качествах я судить не могу. Любопытно, что в этой большой компании на меня не клюнула ни одна девушка, их отпугивал трупный запах печали, неудачи и, что хуже всего, равнодушия. Вот когда я заподозрил, что принадлежу к унылому племени однолюбов. И вся моя последующая сумасшедшая жизнь не разубедила меня в этом. Мне нужна была только Даша, все остальные — изделия из кожзамениителя.

Больше меня не звали, да я и сам не пошел бы. В распутных игрищах этой компании было что-то натужное, поддельное и жалкое. Лишь Король умел оставаться на высоте за счет неучастия в общих развлечениях: он не пил и не занимался публично любовью. Интерес этих сборищ состоял для него в том, чтобы наблюдать чужой распад, фанфаронство и ничтожность окружающих. Когда началась война, упомянутая мной Тамарка сказала с удивительной пронизательностью: «Жалко ребят, никто из них не вернется. — Помолчала и добавила: — Кроме Короля». Она ошиблась лишь в одном: Король не был на войне, защищенный от нее какой-то фальшивой справкой.

Меня огорчало и злило, что посреди этого сброда Оська как-то умалаяся, глупел и мельчал. Он был самым младшим, и его давил авторитет ветеранов. Потом там появилась непонятно каким образом хорошая, тихая девушка Аня, она стала Оськиной подругой и вместе с ним покинула гинекологическое королевство. Она же проводила Оську на фронт.

Я все время спрашивал себя: наступит ли день, когда я перестану думать о Даше, а если и буду изредка вспоминать, то спокойно, равнодушно-благожелательно? Мне хотелось скорее дожить до такого дня, и вместе с тем он пугал меня, как смерть, в ту пору, да и много времени спустя, мне очень хотелось жить. Я не мог представить себе, чем может быть наполнен день, если он совсем без Даши, даже без мыслей о ней. Разреженный воздух губителен для моего дыхания даже на малых высотах крымских гор. Таким вот, разреженным, представлялся мне жданно-пугающий день полного освобождения от Даши. Но уже прожита жизнь, а день этот так и не наступил, чему свидетельством эта рукопись.

Я не знаю, жива ли Даша, но в каком-то смысле ее физическое бытие и небытие равнозначны для меня, ибо она навсегда во мне и покинет этот мир только со мной. Но уже очень давно ее постоянное присутствие во мне не мешает моей совсем другой жизни, не имеющей к ней никакого отношения.

Дни шли за днями, складывались в недели, я не пытался узнать, что с Дашей, куда направился ее шаг. Я уже тогда знал, хотя и не сформулированно, бессознательно, что в душевной сфере человек не хозяин своей судьбы, что здесь все происходит спонтанно и ты можешь в лепешку расшибиться, а не выгадаешь у будущего и медного грошика. У меня даже в мыслях не мелькнуло позвонить или написать ей или что-то узнать у общих знакомых. Она была во мне, а то материальное тело, которое отделилось от ее образа, вело особую, не касающуюся меня жизнь.

Я стал много писать. Пишущей машинки у меня не было, и я ходил перепечатывать свои рассказы к отчиму.

Я, испытывая болезненное наслаждение, прыгивал с подножки трамвая почти на самом углу Покровского буль-

вара и широкого в этой части Подколокольного переулка. А вот и наш дом. Он рассекречен: жилой дом крепкой стройки с большим продуктовым магазином и пошивочной на первом этаже и многочисленными хозяйственными учреждениями во дворе, — но все же рассекречен не до конца. Легкая тень моей тайны еще витает над ним, остальные дома в переулке кажутся тусклыми, бездушными, серыми от скуки. Я поднимаюсь по ступенькам широкого каменного крыльца, вхожу в торжественный вестибюль, еще одна короткая лестница, поворот направо, и вот уже ключ в моей руке привычно и быстро находит скважину, мягкий поворот и — здравствуй, недавний приют любви!..

Раньше я всегда приходил первым, но комната не казалась пустой, она уже была населена Дашей, которая явится через пятнадцать—двадцать минут. Сейчас комната пуста, неприютна и уродлива въехавшим в нее углом чужой стены.

Я кладу рукопись на стол, раскрываю машинку, но не сажусь печатать. Мне следует исполнить еще один ритуал: полежать на тахте. Через несколько минут я начинаю чувствовать чуть слышный запах Дашиных волос, хотя отчим уже не раз менял наволочку. Но вообще-то все его наволочки знали прикосновение наших голов.

Ну, ладно, теперь можно и за работу. Я — человек, умеющий сосредоточиваться, но здесь мне это давалось плохо. Меня все отвлекало. Каждое жилище населено своими звуками, которые представляются то чьим-то дыханием, то дробью каблучков, то скрипом открываемой внутренней двери, то стуком во входную дверь. На самом деле природа звуков совсем другая: скрип рассыхающихся половиц, осыпь старой клеевой краски и штукатурки, урчание водопровода, отзвук хамски захлопнутой парадной двери внизу, сложной жизни лифта в другом конце коридора. Первые дни работы здесь я только и делал, что открывал входную дверь. Для себя я объяснял это тем, что отчиму должны принести судебную повестку. Он был крайне небрежен в своих литературных делах, вечно просрочивал договора, надувал редакторов, иногда отвечал по телефону женским голосом, боясь нарваться на очередного обманутого

работодателя. Но до суда пока не доходило. Он сам по выходе из тюрьмы засудил «Литературную газету» за какие-то неоплаченные статьи. Но вся моя беготня от письменного стола к двери лишь раз обернулась жировкой, которую пыталась засунуть в забитый газетами почтовый ящик старуха рассыльная из домоуправления.

Затем я научился сдерживать свои порывы, уговаривая себя, что это стучат в другую дверь, что, будь отчим дома, он никогда бы не открыл дверь судебному исполнителю, следовательно, и мне нечего рыпаться. Нельзя сказать, что это помогало моей работе, тем более что, перестав прислушиваться к двери, я начал пилиться в окно. Мне показалось раз, что во двор вошла Даша в своей старой короткой беличьей шубке и, постояв в растерянности несколько секунд, скрылась за мебельным фургоном. И минуло какое-то время, прежде чем я сообразил, что на дворе май и Даша не может быть в шубе.

Но день за днем я осиливал себя и в тот раз несколько минут не отзывался отчетливому и настойчивому, хотя и несильному стуку в дверь. Наконец я пошел и открыл дверь. Там стояла Даша.

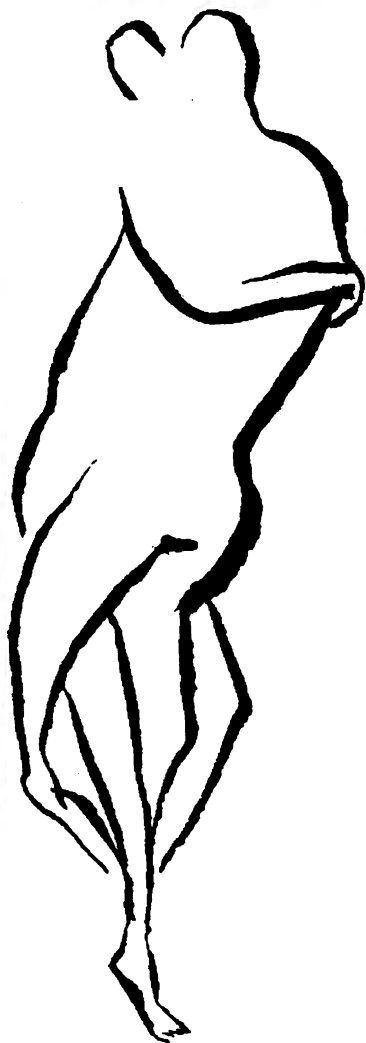
— Ты один? — спросила она.

Я не понял ее вопроса и не ответил. Она сняла плащ и повесила на гвоздь, заменявший отчиму вешалку. Потом вошла в комнату. Медленно огляделась, сбросила туфли и прилегла на тахту.

— Ну, вот я и дома.

И тут я поступил самым неожиданным образом. Я кинулся к пишущей машинке и пулеметно отстучал на ней целую страницу. Затем прилег рядом с Дашей. Мы не целовались, не обнимались, даже не прикасались друг к другу. И не разговаривали. Просто лежали.

Мы перемолчали объяснение. Наверное, оба очень устали за минувшие почти два месяца нашей разлуки.



Я так никогда и не узнал, что произошло у Даши с матерью. А мы вернулись к прежнему, к тому лучшему в наших днях, когда квартирника отчима была для нас в самом деле родным домом. И мы встречались часто, сколько могли, сколько хотели. То была капитуляция Анны Михайловны, за которой, неминуемая, должна была последовать и капитуляция Даши. В какой-то ничем не примечательный день без всякой патетики, как-то сумрачно и тихо Даша открылась мне.

— Надо подложить полотенце? — спросил я.

Она что-то пробормотала, я не понял.

Я не знал, как это бывает с девушками, когда в первый раз, но если я думал с наскака прорваться в «смесительное лоно», то глубоко заблуждался. Я все время встречал препятствия, и ей было больно, она закусывала губы, что-то делала, пытаясь помочь мне. Я проникал куда-то, но моя чувствительность была пригашена предохранительной резинкой, а это довоенное изделие могло быть с успехом использовано в качестве велосипедной шины, для которой не страшны ни гвозди, ни осколки стекла. И все-таки ценой невероятных усилий я высадился на остров любви и удивился отсутствию крови.

— Только со мной так бывает, — сказала Даша со сложной интонацией покорности, грусти и разочарования.

Тогда я не думал об обмане, я был слишком счастлив для этого. Но когда мы вновь встретились на квартире отчима, она сама заговорила о казусе нашего первого соединения.

— Знаешь, я узнавала, так случается с малокровными девушками.

— А ты разве малокровная?

— Не знаю. Но ты же сам видел, крови не было.

Это ее удивило, и она не притворялась. Кроме того, мне тогда что-то мешало. При вторичном объятии все получалось по-другому, но ей опять было больно, хотя она старалась не показывать вида.

Не помню, говорил я о своей способности превращаться в круглого дурака, если это могло избавить меня от страдания или хотя бы просто от душевного дискомфорта? Я принял версию о малокровии как удобную рабочую предпосылку. Даша стала моей, до конца моей, и какое мне дело до разных физиологических отклонений? Я испытывал ничем не омраченное счастье полной и совершенной близости. Но сейчас, чуждый всякого упоения, я трезво взглянул на эту давнюю историю, вполне безразличную мне, как, впрочем, и в те далекие времена.

Даша искренне заблуждалась в отношении своей девственности. Она была влюблена в Резникова, зрелого, опытного, сильного и весьма целеустремленного мужчину, и он что-то сделал с ней, хотя и не до конца. Уверив, что не причинит ей вреда, он нарушил девственную плевру, хотя и не решился на последний, завершающий удар. Он был членом редколлегии «Правды» по отделу литературы и искусства и находился накануне какого-то мощного скачка в своей партийной карьере, боязнь скандала удержала его на самом краю. Интересная тема: партийность и страсть. Даша искренне заблуждалась в отношении своего «достояния», рисовавшегося ей в виде кованого сундука, набитого золотыми дублонами. Пират Резников оставил на дне лишь горсточку монет.

Мое повествование приобретает чрезмерно медицинский характер. Я пишу книгу о любви, а не о гигиене девственности. Но что поделать, если близость с Дашей выводит меня на другую любопытную женскую проблему: фригидность. Вскоре выяснилось, что Даша не испытывает того острого завершающего наслаждения, ради которого творится вся постельная борьба, не получает той премии, которую природа учредила для всех живых существ за труд соития во имя продолжения жизни на земле.

Я начал догадываться об этом до ее прямого признания, которое она сделала совершенно легко, не догадываясь о своей обделенности. Я ведь знал, как это бывает у женщин, и, даже учитывая страстный темперамент Геры, Дашино хладнокровие не могло не озадачивать.

Итак, к малокровию прибавилось и хладнокровие. При этом Даша очень любила целоваться, остро ощущала прикосновения, ее собственные руки обладали мощным электрическим зарядом. Но она не знала любовного экстаза и никогда не приближалась к нему.

Если я никогда не пытал ее насчет девственности, то тут я проявлял вполне объяснимое любопытство. И, надо сказать, подобные разговоры не только не задевали Дашу, она испытывала к ним сдержанный интерес. За свою жизнь я знал близко несколько фригидных женщин, и эта сексуальная обделенность выражалась у них по-разному. Дашу фригидность лишила сексуального любопытства и привела к сдержанности. Ей надо было полюбить человека, чтобы вступить с ним в близкие отношения, и давалось ей это всегда нелегко, она словно брала высокий опасный барьер. Будь ее воля, она предпочла бы вполне целомудренные отношения, несколько скрашенные поцелуями. Две другие, напротив, ни в грош не ставили то, что им было совершенно безразлично, их холодное, мозговое распутство меня всегда поражало. Хотя удивляться тут нечему: зачем трястись над тем, что для тебя гроша ломаного не стоит? Пути этих женщин были диаметрально противоположны. Одна влюбилась, вышла замуж и стала мужу безукоризненно верной женой, хотя знала о его бесчисленных изменах. Другая спокойно шла по рукам, меня мужей и любовников и почти не замечая этого, но испытала страсть к женщине, с которой долго была близкой. После разрыва она вернулась к своей половой неразборчивости, предпочитая софическую любовь. Лишь старость и болезни остановили ее кипучую деятельность.

Дашин темперамент, вернее, отсутствие такового, меня устраивал. Наверное, мне виделась тут гарантия постоянства. О том, что это может иметь прямо противоположную

направленность, я тогда еще не знал. Мне с ней, даже в чисто физическом смысле, было лучше, чем с Герой. Не люблю женщин, что «рвут страсть в клочки», в постели, на мой вкус, это так же плохо, как на сцене. Мне близко пушкинское: «Насколько ты милей, смиренница моя», даже без разделенного поневоле пламени. У Даши было и сексуальное любопытство, и — пусть слово звучит дико — уважение к тому, что так много для меня значило. Она всегда и во всем шла мне навстречу с какой-то умной и хорошей женской добротой. Ей совсем безразлична была наша близость, которую она постепенно научилась разнообразить, ценя ту страсть, которую во мне пробуждала. «Чувствуешь ты хоть что-нибудь, когда мы близки?» — спросил я ее однажды. «Чувствую, как очень крепкий поцелуй». Спустя много лет она сделала мне другое признание: «Ты дал мне преувеличенное представление о мужском энтузиазме».

Вскоре мы стали независимы от гостеприимства Подколокольного переулка. Теперь мы занимались любовью в Дашиной комнате, словно были одни в квартире. За стеной родители ужинали, разговаривали, кто-то приходил, уходил, Гербет играл на рояле Листа и Шумана, грузные шаги Анны Михайловны звучали в коридоре, звонил телефон; Дашу по-прежнему не подзывали. Никто не посягал на наш покой — мало подходит это слово к той кутерьме, которую мы учиняли на ее тахте. Сейчас мне кажется, что малый привкус опасности возбуждал Дашу, в убежище отчима она была куда пассивней, безразличней, порой до какой-то степени у себя дома она не уставала «накалять свой расписной, румяный рай». Конечно, отношения с матерью и домом у нее были сложнее, чем мне казалось. Но эти сумерки мне так и не удалось проглядеть. В наших встречах появился ритуал: семейное чаепитие в десять вечера в комнате Гербетов, после чего мы возвращались в «детскую» для завершающего и самого волнующего обряда, который я совершал коленопреклоненным, а Даша — сидя на краешке тахты. Дивно было тянуться к ее губам за поцелуем, ибо одновременно шло внедрение во влажный жар железного мускула страсти.

За стеной Анна Михайловна, уже отошедшая на ложе, дышала тяжело, как корова в хлеву. Она и в мыслях не допускала, что мы зашли так далеко, но самое мое узаконенное пребывание в доме было для нее страшным поражением.

Последние тихие слова у приоткрытой входной двери, то и дело прикладываемый к милым губам палец хранит тревожный сон уснувших. Наконец мы размыкаемся, разрываемся, я выхожу в остудь ночи, пустой и легкой. Я даже не иду, меня несет по воздуху, сперва над двором, потом вдоль Зубовского и резко бросает за угол на Кропоткинскую.

Улица тиха, пуста и задумчива, как река. И хоть бы раз память о миллионах несчастных толкнулась в мое счастливое фашистское сердце, хотя бы о собственном отце, накрытом ночью заполярных лагерей, вспомнил. Я вскоре поеду к нему, и это станет одним из решающих переживаний моей жизни, но сейчас я не помню о нем. Не помню о Мандельштаме, чьи стихи научился бормотать, а его, кажется, уже нет на свете. Не помню обо всех других... Я живу сейчас лишь своим счастьем, другие спят, третьи пьют водку, кто читает, кто лезет на теплую сонную жену, и таких тьма — посторонних вселенской боли. Наверное, в гигантском замолкшем пространстве найдется кто-то, кто плачет или молится, но слезы их не видны, а молитвы не слышны. Нас научили не отвечать друг за друга, не чувствовать друг друга, нас могут заботить лишь те, чей локоть в нашей руке. Фашизм — прекрасный строй для уцелевших в кровавой бойне, он снимает с души ответственность, освобождает от мук совести и от самой совести, он всю ответственность берет на себя. Любой другой строй оставляет на плечах человека слишком много груза, а человек так немощен. Мы хорошо узнали это за последние годы. Хайль, грядущий Сталин, твои усталые русские дети ждут тебя!..



Однажды Даша подарила мне том только что вышедших избранных переводов Пастернака. Это случилось в пору, когда я научился слышать стихи.

— Тут есть одно стихотворение Верлена. Это мое — о тебе. — И она неумело, с каким-то детским захлебом, но и с чистой интонацией доверия и нежности прочла верленовские строки из «Так как брезжит день»...

*Ибо я хочу в тот час, как гость лучистый
Ночь моей души, спустившись, озарил,
Ввериться любви без умираний чистой
Именем над ней парящих добрых сил.*

*Я доверяюсь вам, очей моих зарницы,
За тобой пойду, вожатого рука,
Я пойду стезей тернистой ли, случится,
Иль дорога будет мшиста и мягка...*

Это было признание в любви.

Вскоре меня ввели в святая святых — домашний круг. То было признание... нет, то была уступка чрезвычайной важности со стороны Анны Михайловны. Фурора я не произвел. Человек, застенчивый от природы, я так умалился в присутствии Пастернака, Нейгауза, Сельвинского, Локса, что мог бы остаться и вовсе незамеченным, если б на помощь не пришел Андрей Платонов. Он оказался другом Пастернака и последним литературным открытием Генриха Нейгауза. При своей тогда блестящей памяти я мог цитировать прозу Платонова, как стихи, чем и пленил Нейгауза. Так началась наша многолетняя дружба, иначе не назовешь те удивительно добрые и доверительные отношения, которые сложились у нас и продолжались до самой кончины Генриха Густавовича, хотя я никогда не забывал о его старшинстве. Как и Павел Григорьевич Антокольский, Нейгауз терпеть не

мог все оттенки почтения, считая его весьма сомнительным преимуществом старости. Но тут уж я ничего не мог поделаться с собой. У нас был пароль — фраза из одного рассказа Платонова: «Ночью нет ничего страшного». Мы всегда обменивались им, хотя оба знали по собственному опыту, что ночь — самое страшное время суток нашей зловещей страны. О том обеде, о дружбе с Нейгаузом у меня есть много раз публиковавшиеся воспоминания, вошли они и в сборник, посвященный памяти великого музыканта, и я не стану повторяться. Скажу лишь, что моя цепкая память на прозу Андрея Платонова лишь поверхностно удивила Бориса Леонидовича, но особого восхищения не вызвала. Я мог бы лучше распорядиться ею. Перед смертью Борис Леонидович грустно признавался в литературном эгоцентризме.

Успех у Нейгауза не мог компенсировать для Анны Михайловны равнодушия Пастернака. При всей любви к Нейгаузу, восхищении его пианизмом, культурой, артистизмом, умом и чудесной душой в доме царил Пастернак.

Н.Н.Вильмонт, автор великой книги о Пастернаке, рассказывал у нас в доме, что в молодые годы Анна Михайловна была влюблена в Бориса Леонидовича и надеялась на ответное чувство. Она же познакомила его с Зинаидой Николаевной, тогда женой Нейгауза. Влюбленные всегда слепы, она одна из всей дружеской компании не догадывалась о тех отношениях, которые довольно скоро связали Бориса Леонидовича с Зинаидой Николаевной. Она узнала это из дарственной надписи Пастернака на новом сборнике стихов, где он с присущими ему искренностью и горячностью благодарил Анну Михайловну «за Зину». Анна Михайловна ответила на посвящение тяжелым истерическим припадком, а Гербет отказал Пастернаку от дома. «В наказание, — наставительно говорил Николай Николаевич, — что тот не пожелал его жены». Зная нрав Анны Михайловны и подкаблучность Гербета, этой истории можно верить. Но с другой стороны, Вильмонт считал бескорыстную ложь формой творчества, столь же законной, как и все остальные. Так что вопрос остается открытым.

Маленькой бестактности Пастернака я обязан тому, что узнал наконец историю изгнания Бориса Резникова из дома Гербетов. Кстати, мне очень понятна допущенная Пастернаком промашка. Он вновь после долгого перерыва увидел за обеденным столом Гербетов молодое лицо, естественно связал его появление с Дашей, что и толкнуло память к другому жениху.

— Вы заметили, — как всегда громко, трубно сказал Борис Леонидович, когда уже сидели за столом и выпили по первой рюмке, — что мы опять в тот же самом составе, что и тогда?

— Когда «тогда»? — раздраженно перебила Зинаида Николаевна.

Она вообще говорила с мужем иным тоном, чем со всеми остальными: злым, отрывистым, с явным намерением задеть, обидеть. У Адика, любимого сына, уже началась та страшная болезнь, которая в скором времени сведет его в могилу, и она, как положено слабым и низким душам, вымещала свое горе на безответном человеке. Адик и другой — нелюбимый сын Стасик — были ее детьми от Нейгауза.

— Ну, когда изгнали Резникова, — громогласно пояснил Борис Леонидович.

— Боренька!.. — предупреждающе сказала Анна Михайловна, метнув косой взгляд на дочь.

Зинаида Николаевна постучала себя костяшками пальцев по лбу, пояснив окружающим, что они имеют дело с идиотом.

Пастернак смутился, скулы его зардели.

— Говорите, — спокойно сказала Даша, — Юре будет интересно. Он не знает этой истории.

Нежданно я оказался в центре общего внимания. Удивительно, что этим большим, самоуглубленным, вдохновенным людям захотелось поделиться с незнакомым мальчишкой тем, что давно уже стало черствым хлебом сплетни. Они делали это всем столом, перебивая, поправляя друг друга, споря, крича, обижаясь. Не участвовал в нестройном хоре один Гербет, даже мрачный, молчаливый Локс позволил себе несколько угрюмых реплик.

Я не стану пытаться реставрировать долгий, сбивчивый разговор, многие слова, интонация выветрились из памяти, передам лишь его суть.

Резников, несомненно, котировался в этом кругу. Видать, он был человеком значительным, с сильным, хотя и примитивным умом. Но примитивность эта принималась за свойство интеллекта, а не за недостаточность. Резников был для них своего рода инопланетянином, с планеты, обладавшей более низким умственным и духовным уровнем, чем старушка Земля. Воплотившийся грядущий хам, новый хозяин жизни, с которым хочешь не хочешь, а надо считаться. Пастернаку льстило, что его стихи западают в косматое сердце. Сельвинский гордился, что он ближе Резникову, нежели Пастернак, которому жгуче завидовал. Нейгауза по-детски радовало, что этот молодой большевик не ест маленьких детей и даже ходит изредка в консерваторию. Ушаков и Локс сочувствовали его попыткам приобщиться цивилизации. И все чуть-чуть боялись его, не признаваясь в том ни друг другу, ни самим себе. Самое же волнующее — этот бывший пария должен войти через родство с Гербетами в их тесный, интимный круг. И вдруг «Правда» разразилась зубодробительной статьей «Сумбур вместо музыки», оплевавшей Шостаковича и его гениальную оперу «Леди Макбет Мценского уезда» (по-моему, она первоначально так называлась). Было больно за великого композитора, было страшно, что начинается курс на разгром остатков искусства и культуры. Кладбищенская печаль царила за очередным воскресным столом у Гербетов. Первым не выдержал импульсивный Нейгауз:

— Но кто все-таки написал эту гадость? Наверное, Заславский.

— Заславскому так не написать, — возразил Сельвинский. — Жидковат. А здесь топор сжимала крепкая рука.

— Топор! Великолепно! — вскричал Нейгауз. — Но в музыке этот негодяй не смыслит ни черта!

— Ну, почему же обязательно «негодяй»? — с улыбкой сказал Резников. — А если ему не нравится эта темная, не мелодичная, чуждая народу музыка?

— Почему у нас любой мерзавец берется судить от лица народа? — мрачно произнес Локс.

— Вы считаете меня мерзавцем? — повернулся к нему Резников.

— А вы тут при чем?

— Я автор статьи. Я писал, что думал.

— Знаете, Боренька, — почти добродушно загремел Пастернак, — страшно не то, что вы это написали, а то, что вы действительно так думаете.

— Боря, — проникновенно сказала Анна Михайловна, — покиньте наш дом. Немедленно.

— Ну, это, по-моему, решать Даше, — с улыбкой сказал Резников, сохраняя полнейшее хладнокровие.

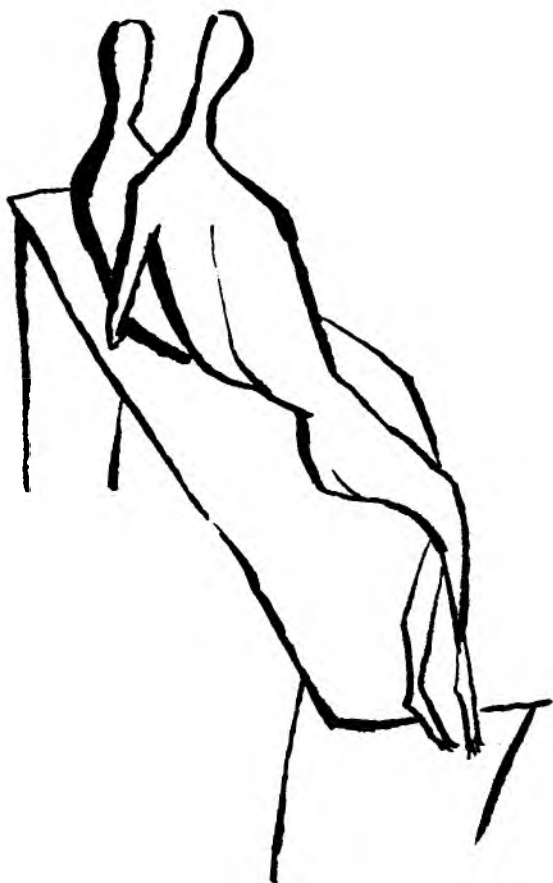
Даша молча поднялась и, чуть закинув голову, чтобы удержать слезы, вышла из комнаты и заперлась у себя.

Резников удалился.

— А что с ним потом было? — спросил я.

— Резонный вопрос, — усмехнулся Сельвинский. — Его вскоре посадили. Он сгинул.

— Но посадили не за статью, — заметил Ушаков и добавил со вздохом: — К сожалению...



Только сейчас я заметил, что давно уже качаюсь на ласковых волнах самой счастливой поры моей долгой жизни. И длилось это счастье не дни, не месяцы, а без малого два года, вплоть до самой войны. Это куда больше, чем смеет требовать смертный от богов. Я не собираюсь угощать читателей описанием солнечных лет своей жизни. Нет ничего более скучного, томительного и раздражающего, чем чужое счастье. Несчастье интересно, его сразу примеряешь к себе, и оно почти всегда оказывается в пору. Счастливых людей почти не бывает, да и кому они нужны, кроме самих себя. В раю литература невозможна. Поэтому постараюсь промахнуть эти два года как можно быстрее, сосредоточиваясь лишь на тех моментах, которые необходимы для моего повествования.

Даша жила крайне замкнуто. Если исключить меня, то у нее не было своей, особой жизни. Семья растворяла ее в себе без остатка. Во время первого, напряженного, хотя и недолгого романа с Резниковым она как-то вырвалась из своих лет, из своей среды, попала в мир взрослых искушенных людей, да и осталась там, что при всей ее развитости и ранней солидности было все же неестественно. Я жил куда свободнее, шире и вольнее Даши, имел настоящих друзей и обширный круг знакомых, куда порой пытался ввести и ее. Она не противилась, но и не стремилась к сближению. Она всем нравилась и сама отличалась благожелательностью к людям, но как-то так получалось, что не вошла ни в одну компанию. Разнообразие ее тяготило, ей хватало моего, весьма активного присутствия. Шум, многолюдство, обилие впечатлений утомляли, не давая радости. Она жила как бы вглубь, внутрь себя, а невширь, не в окружающем. И постепенно это стало оказывать влияние на меня.

У немцев есть выражение «царте дрессур», оно не передается буквальным переводом «нежная дрессировка», тут смысл тоньше, полнее, он включает осторожность, осмотрительность, деликатность, умение незаметно навязать свое требование. В «царте дрессур» меньше всего сентиментальной нежности. Это умение подводить объект дрессировки исподволь к желаемому, так что он не подозревает о творимом над ним насилии. Даша приучила меня не желать больше того, что она сама предлагала, даже в той области, в которой молчаливо признавалось мое превосходство. Она довольно быстро сообразила, что моя физиологическая искушенность является напускной. Гера выпустила меня из своих объятий немногим более опытным, чем был Адам после первого спаривания с Евой. Всю любовную науку мы осваивали с Дашей вместе, порой неумело, неуклюже, но в конце концов неизменно выходили на верную дорогу. И за недолгий срок достигли высокого мастерства, которое, как и во всех групповых гимнастических упражнениях, гарантируется согласованностью, синхронностью действий.

Я не замечал, как меняются мои привычки, весь образ жизни, меняется характер. Павлик отбывал действительную, Оська не расстался еще с гинекологическим раем, с моими вгиковскими коллегами после бурного подъема первых лет установились отношения прохладного товарищества. Я все реже появлялся на людях и все больше проводил время у Гербетов, наши встречи уже никак не лимитировались. Я уподобился Даше, став норным животным. Но для меня не мир ссохся до размеров Дашиной комнаты, а эта комната стала огромна, как мир. Я мог бы повторить следом за Хафизом: «Другого государства мне не надо».

Даша очень дисциплинировала меня. Я и прежде не был шатуном, а теперь все время, свободное от института и встреч с ней, проводил за письменным столом. Вскоре у меня собралась книга рассказов.

В начале июля мы расстались на два месяца. Даша с родителями снова поехала в Коктебель, подобная роскошь оказалась не по плечу отчиму. Он отправил нас с матерью в подмосковную Малеевку, на месяц в дом отдыха, а на месяц

по курсовке в близлежащую деревню Вертошино, где нам сняли избу.

Это было самое невыразительное лето в моей жизни. С утра мы отправлялись за грибами. После обеда начинался сумасшедший и безостановочный теннис: играли навывлет, но я никогда не давал вышибить себя. Тогда казалось, что из меня выйдет классный игрок. Этого не получилось — я неправильно держал ракетку, а с каждой попыткой поставить игру играл все хуже. Вечером я весьма трудолюбиво стучал шарами на бильярде, потом возвращался в свою вертошинскую избу и читал при керосиновой лампе, отбиваясь от комаров.

Я ни с кем не общался, кроме теннисных и бильярдных партнеров, ни за кем не ухаживал и мечтал о возвращении Даши. Мы уговорились не переписываться, почта работала почти в нынешнем режиме, и все лето ушло бы на ожидание письма.

А потом кто-то из вновь приезжих сказал, что Даша возвращается одна, на неделю раньше срока, и с точностью, какую недостоверные сведения обретают по мере их распространения, назвал день ее возвращения.

Я со всех ног кинулся в Москву. Меня встретило кроткое удивление Верони и бурное — Альфарки. Полагая, что Даша сразу приедет ко мне — что ей делать в пустой и запущенной по летнему времени квартире на Зубовской, я заказал Вероне прекрасный обед, купил вина, цветов и принялся судорожно ждать, то и дело набирая Дашин телефон, выбегая на улицу при каждом гудке — казалось, подъехало ее такси. Вероня относилась к моей суматохе с сочувственным доверием, а умный пес — с грустью, он-то знал с безошибочным собачьим чутьем, что Даша не приедет, и жалел мое разочарование.

Милый Альфарка не ошибся в главном — Даша действительно не приехала, но вместо разочарования была такая могучая жизнь души, что даже ее приезд не мог бы одарить меня щедрее.

Я поужинал поздно, один, за накрытым для двоих столом, выпил бутылку вина и улегся на приятно прохладные свежие

простыни. Я просмотрел короткий сон о Даше, похожий на современные клипы, — квинтэссенция наших самых сладостных мгновений, проснулся, попил воды и начал засыпать всерьез, но прежде чем провалиться во тьму, физически отчетливо ощутил ее возле себя; сон мгновенно соскочил, но несколько секунд она истаивала в моих руках. Я принялся снова думать о ней, вспоминал ее голос, смех и как она читала мне Верлена. В сутолоке обычной жизни мне не удавалось так подробно, так обстоятельно думать о ней, припоминать лучшие наши минуты, и снова наплывал сон, и она тут же возникала своим нежным, добрым телом, я снова просыпался и медленно выпускал ее из рук. Это повторялось до самого утра, право же, Альфарка зря жалел меня...

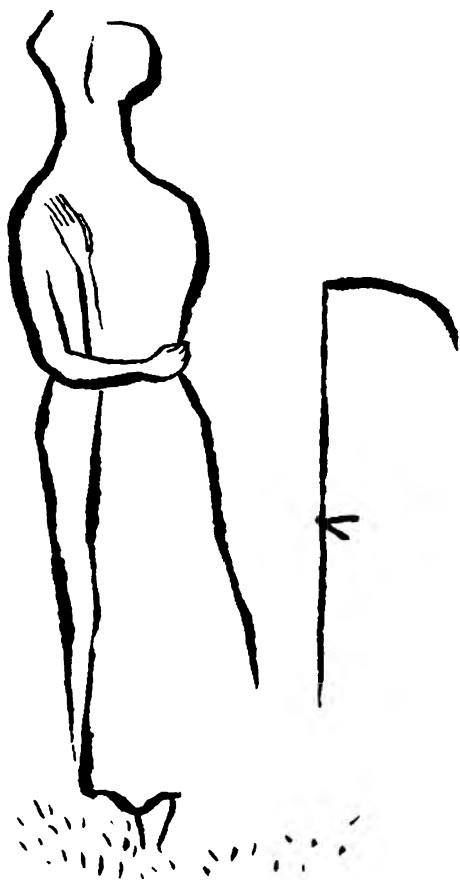
А Даша таки приехала раньше своих родителей, вырвала для нас три чистых дня счастья. Наша встреча была странной, но, наверное, иной и не могла быть. Даша приехала к себе на квартиру и, как только я вошел, сбросила легкий халатик с угольно-загорелого тела и легла навзничь на обеденный стол. Сейчас меня удивляет, почему она выбрала такое непривычное и неудобное ложе, но тогда это казалось естественным. А где же еще нам было обняться, так истосковавшись друг по другу, не на постели же? Это могло произойти или на столе, или на потолке, или на шкапу, но только не на предназначенном для тихих ласк месте. Я до сих пор помню ее раскаленную кожу, словно она привезла на себе все солнце Коктебеля. Когда к вечеру я спустился вниз, у меня кровоточили колени, ободранные о столешницу.

Жизнь продолжалась. У меня вышли первые рассказы, первые статьи, вскоре я стал регулярно печататься и регулярно зарабатывать, помогать семье. Но на первый относительно крупный заработок я оделся с головы до ног: у лучшего тогдашнего портного Смирнова сшил два костюма и пальто, сделал на заказ пару роскошных туфель, приобрел в комиссионном габардиновый плащ. И стал куда лучше смотреться рядом с Дашей. Тогда была мода на высокие подложные плечи, которые придавали носителю массивности и солидности. Даша высоко оценила мою новую элегантность.

Я съездил к отцу в лагерь, по пути открыв для себя Ленинград и навсегда влюбившись в него. Это единственная причина, почему я перестал туда ездить и едва ли когда-нибудь поеду: не хочу видеть в унижении, распаде, грязи физической и моральной то, что видел в пушкинской прелести.

Привез я и другие впечатления, никак не менее значительные для моей жизни и души, чем город на Неве, хотя совсем другого рода. Я увидел Россию, разграфленную, как шахматная доска, на квадраты колючей проволокой, — гигантскую клетку, где томились люди...

Предстоящий жизненный путь казался мне прямым и ясным. Через два года я окончу институт, еще раньше выйдет в «Советском писателе» мой первый сборник рассказов, меня примут в Союз писателей, Анна Михайловна поймет, как тяжело заблуждалась на мой счет, и благословит наш брак с Дашей. Совсем в тумане рисовался мне выход отца из лагеря. Стоило всерьез задуматься о будущем, как наплывал страшный призрак войны. Никто не верил в серьезность альянса Сталина с Гитлером. Дураки, а их подавляющее большинство, потому, что считали несовместимыми идеологии коммунизма и фашизма, умные — их было мало — потому, что видели полное тождество этих идеологий и считали, что не ужиться двум медведям в одной берлоге. Гитлер благоволил советскому вождю, он говорил Муссолини, относившемуся к Сталину с гадливым презрением: «Когда я завоюю Россию, то во главе ее оставлю Сталина, конечно, под присмотром Германии, ведь только он знает, как обращаться с этим гнусным народом».



Для меня война началась со звонка матери Павлика. Он проходил действительную под Москвой, должен был вскоре демобилизоваться, мечтал вернуться в свой ГИТИС. Его часть погнали на фронт в первый же день войны. Затем был проделан обратный путь: от Белоруссии до Подмосквья, где Павлик и погиб. Это случится в октябре, а тогда его мать сказала сквозь слезы: — Молись о Павлике... Помни о Павлике... — и уронила трубку.

Молился, молюсь, помнил и будут помнить до скорой уже встречи...

Даша прибежала ко мне рано утром, почти сразу появился Оська. Он был простужен и, целуя Даше руку, уронил соплю ей на пальцы.

— Раньше я покончил бы с собой, — сказал Оська, доставая платок. — А сейчас мне наплевать.

Купили вина. Примчался отчим из Подколокольного, то и дело кто-то заходил: А. Платонов, Л. Соловьев, А. Бек, О.Колычев. Настроение было нервное, но не подавленное. Андрей Платонов сказал, что мы обязательно победим. «Каким образом?» — спросила мама. «Пузом», — ответил Платонов.

Постепенно стало ясно, что в тайниках души все сознавали неизбежность войны и, как ни дико это звучит, чувствовали известное облегчение, что она началась. Отвалилась хоть одна грандиозная ложь из всех, опутывающих наше меркнувшее сознание: дружба с Гитлером. Тошно было читать в газетах молотовское возмущение союзниками, которые «воюют с идеологией». «Разве можно воевать с идеологией?» — возмущался старый марксист. И это говорилось народу,

который с молодых ногтей воспитывали в ненависти к фашизму. Но ложь-то, как сейчас выяснилось, была в прямо противоположном. Молотов не кривил душой, ибо защищал идеологию, ничуть не отличающуюся от большевистской. Есть такая банальность: на Олимпийских играх нет победителей и побежденных — побеждает дружба. Это вполне применимо к Великой Отечественной войне: победила дружба. Оброненное Гитлером знамя со свастикой подхватила крепкая рука Сталина. Приглядитесь, серп и молот — это стилизованная свастика. Идеология, о которой сокрушался Молотов, не была побеждена: вместе с лагерями уничтожения, расизмом, национализмом, антисемитизмом и агрессией она цветет и пахнет в стране, простершейся меж двух океанов.

Со свойственной ему искренностью и полным отсутствием рисовки Оська сказал:

— А мне наплевать, пусть убьют...

Я до сих пор гадаю, какой горький жизненный опыт подсказал восемнадцатилетнему веселому, солнечному человеку эти отчаянные слова?

Первое, что делает война, — это резко делит страну и все ее население на фронт и тыл. Можно много говорить о неоднородности и того, и другого: иные прекрасно устраивались на фронте (во втором, третьем эшелонах), другие погибали в тылу от голода, холода, болезней. Я же подразумеваю под фронтом передний край, где убивают, а под тылом — где правит девиз лысого парикмахера из Клуба писателей: «В этой войне главное — выжить».

Этот девиз взяла на вооружение и Анна Михайловна Гербет. Ввиду крайней сложности ситуации я был мобилизован на обслуживание семьи в качестве, так сказать, вольнонаемного зятя. Вольнонаемные были в самых разных фронтовых службах, но они не считались военными (за таковых их принимал лишь немецкий свинец), не имели званий, пайков, обмундирования, жалкие люди, изгои войны. Анна Михайловна, чтобы эксплуатировать мой юный труд, условно ввела меня в семью, не подкрепив это ни званием, ни привилегиями. Но каждое утро я обязан был являться на

Зубовскую и получать очередное задание, связанное с отовариванием, иначе говоря, созданием продовольственных запасов.

Наша страна умела разваливаться даже от малых войн (вспомним позорище финской кампании), что же говорить о той грандиозной битве, что прозвана Великой Отечественной! Великой войне положен и великий бардак, начавшийся буквально с первых дней. Продовольствие в Москве стремительно исчезало, равно как и керосин, спички, соль, мыло, при этом в магазинах то и дело появлялись продукты, которые вопреки всякой логике продавали в неограниченном количестве. Впрочем, бывали и ограничения: в одни руки не больше пяти-шести килограммов. Через день-другой эти продукты исчезали, но где-то появлялись новые. Тут я узнал о существовании у Анны Михайловны двух родных сестер и малолетнего племянника. Раньше их не пускали в дом, но война уравнивает всех своей бедой.

Домашняя разведка сообщала: в продуктовом на углу Плющихи будут «давать» муку грубого помола. Все, кроме Гербета, даже маленький племянник, получают по мешку и несутся к Плющихе, откуда, выстояв длиннющую очередь, возвращаются с мукой. На другой день команда мчится на Арбат за вермишелью, потом на Новинский бульвар за ячневой крупой и засахаренным медом, на Кропоткинскую за рыбными консервами, на Метростроевскую за подсолнечным маслом. Не помню ни одного пустого дня, равно не помню, чтобы моя семья хоть раз воспользовалась безумием государственного расточительства — отчасти по отсутствию денег, отчасти по брезгливости.

В Анне Михайловне проснулась крестьянка: жадная, хватистая, расчетливая и неутомимая. Она не давала спуска ни себе, ни нам. Совершив очередной трудовой подвиг, мы получали на кухне чай с омерзительно воняющими лепешками на касторовом масле. Мне приходилось во время войны бывать в разных домах, в том числе совсем бедных, но нигде не готовили на касторке. А ведь дом Анны Михайловны был набит харчами, в том числе «русским» и подсолнечным маслом.

Мы продолжали штурмовать магазины, когда Анну Михайловну осенила идея более кардинально решить продовольственную проблему. Она с удивительной быстротой подыскала дачу на Истре и перевезла туда семью, обеих сестер, племянника, заодно и меня, доказавшего годность к физическому труду.

Небескорыстный характер приглашения выяснился в день приезда в деревню — все дачники обязаны были днем работать в колхозе, причем не для вида, а с полной отдачей и не за палочки в тетрадке, а по твердо гарантированному трудовому договору.

Каждое утро отправлялись мы в поле по росистой траве с граблями на плече ворошить сено. Это считается самым легким видом полевого труда и потому низко оплачивается: за восьмичасовой рабочий день мы зарабатывали лишь четверть трудового дня. С непривычки это нелегко давалось городскому телу, не то что бегать за теннисным мячом по рыжему корту «Динамо». Особенно трудно было ворошить мокрые и тяжеленные рядки клевера, милой, сладковатой кашки, чтоб ей пусто было! Не понимаю, в чем дело, но Даша, чуждая спорта, кроме летнего плавания и танцев, чуждая всех физических усилий, уставала меньше меня. А ее тетки-лошади вовсе не уставали. Что касается Анны Михайловны, то она лишь появлялась в поле и после нескольких ритуальных движений возвращалась домой обслуживать своего ученого мужа. Она приходила будто для того, чтобы благословить наш скорбный труд и дум высокое стремление. Никто не удивлялся и не возмущался, все знали, что по вечерам у нас на кухне председатель колхоза выпивает прямо из горлышка полбутылки водки. А этого грубого ястреболикого старика все смертельно боялись.

Гербета, конечно, не трогали: он выполнял правительственное задание — писал для вузов курс логики. Книгу ему заказали еще до войны и по разгильдяйству забыли отменить заказ. В ученой среде в этом видели мудрый расчет и хладнокровие Сталина. Вождь смотрел вперед. Племянника тоже пока оставили в покое, пообещав привлечь к сбору колосков — любимому занятию сельской малышни.

К вечеру я прямо деревенел от чертовых граблей. Мы ходили окунуться на реку, и случилось, я просто ополаскивался у берега, а Даша плавала, наслаждаясь нагретой к вечеру водой. Нас обоих странно возбуждала ее голизна. На Дашу — она сама говорила — действовало то, что ее видят, издали, конечно, обнаженной в присутствии мужчины. Возвращаясь домой, мы получали довольно скудный обед; Анна Михайловна жадничала так, словно предстояла если не столетняя, то тридцатилетняя война, а потом начиналось самое страшное: Гербет читал вслух очередную главу «Логики». Хотелось поваляться, отдохнуть, а надо было сидеть в плетеном кресле на веранде и внимательно слушать. Анна Михайловна не ленилась проверить, действительно ли я вникал в текст или считал ворон.

Я терпел эту странную и тягостную жизнь (колхозный труд, если исключить косьбу, был изнурителен и невообразимо нуден), потому что Даша с замечательной находчивостью выкраивала минуты для близости. К нашим услугам были недалекий лес, излучина реки, дровяной сарай, даже горница, где мы спали: старики на продавленном диване, Даша на раскладушке, а я на полу, отделенный от остальной семьи большим обеденным столом. Сестры и Сережа ночевали то на террасе под ворохом тряпья, то на русской печи — в зависимости от погоды. Утром Гербет ходил купаться на реку, освежал тело в студеной воде для освежения философской мысли, Анна Михайловна спешила на базар — чем раньше придешь, тем дешевле купишь, ее сопровождала одна из сестер, и Даша ныряла ко мне под одеяло. Тетки были посвящены в наши отношения; завися материально от старшей сестры, они, естественно, ненавидели ее и в силу этого были на нашей стороне. Долгое время мне казалось, что Анна Михайловна тоже догадывается об истине, но тут я глубоко заблуждался.

Одно комическое происшествие открыло мне полноту неведения Анны Михайловны. Отчим подарил мне упаковку презервативов. Это и всегда был дефицитный товар, а во время войны — подавно. Отчим случайно наткнулся на них в аптеке и решил осчастливить меня до конца войны. Как

потом обнаружилось, рассчитаны были эти изделия фашистского коричневого цвета — и размером, и толщиной резины, и увесистостью — на слонов. Предприятие, их выпустившее, исходило из циничного лозунга тех дней: война все спишет. Потребовалось неистовое напряжение моей страсти, чтобы заполнить этот скафандр. Даша закричала от боли, а я изнутри познал, что такое фригидность: все делаешь, как надо, и ничего не чувствуешь. В бешенстве я сорвал гнусную резину и вышвырнул в окно. Там ее через некоторое время подобрал Сережа и по естественному ходу детской мысли попытался надуть, но слабых легких на это не хватило. Сережа принес изделие в дом. Никто не мог понять, что это такое. Высказывались разные предположения: камера от какого-то странного продолговатого футбольного мяча, что-то упавшее с неба; деталь воздушной колбасы, занесенная ветром с московской окраины, кусок обшивки дирижабля; Гербет, увлекавшийся научной фантастикой, считал это частью снаряжения инопланетянина.

Анне Михайловне тоже не удалось надуть загадочную резину, так же тщетно попробовал свои силы Гербет, затем, кривясь от омерзения, ибо знали правду, трудились поочередно сестры, и тут Анну Михайловну осенила блестящая мысль использовать находку в качестве шапочки для купания. Все это время я умирал от страха и завидовал Дашиной выдержке, не озадачившись тем, какая за этим искушенность во лжи.

Колхозная страда была детским лепетом перед той мукой, которая начиналась после ужина, когда Гербет читал очередную главу. При моей врожденной неспособности к отвлеченному мышлению, почти равной бездарности в математике, для меня было вдвойне мучительно это испытание. Потрясло спокойствие Гербета: немцы перли в глубь России, разрушая города, сжигая села и деревни, кровь лилась потоком, а профессор спокойно строчил в теньке свои гладкие, хотя и несколько тяжеловесные фразы во славу той дисциплины мышления, которую отвергало все наше абсурдное бытие.

И все-таки, как ни тер я слюнями глаза, как ни щипал себя за руку, ляжку, как ни дергал за мочку уха, а иногда — в

отчаянии — болезненно ущемлял половые органы, мне не удавалось преодолеть дремоту. Голос Гербета уподоблялся гудению шмеля, я испуганно вздрагивал и возвращался к полуяви. Это опамятование не оставалось незамеченным, и Анна Михайловна всякий раз отпускала в мой адрес две-три колкости. Даша ни разу не поддержала мать. Мне кажется, она приспособилась спать с открытыми глазами, как это умеют собаки и лошади, и мое оскорбительное поведение во время интеллектуальной литургии оставалось ей неизвестным.

Вскоре нас перевели на прополку, которая оплачивалась чуть выше. А затем я перешел на косовицу, за три дня научившись совсем недурно махать литовкой. Это ненужное во всей моей последующей жизни умение сохранилось по сию пору, а вот в теннис играть я разучился. В моей трудовой ведомости появились единицы, порой с десятками — вот сколько я стал зарабатывать!

Даша продолжала полоть, потом занялась поливом — лето было засушливым, мы работали поврозь и соединились вновь лишь на стоговании. Здесь я мастерски управлялся с длинными вилами, заслужив уважение колхозников. Вообще моя ручная неумелость не распространялась на размашистый, чем-то сродни спорту, сельский труд. «Справный колхозник ваш зять», — говорил председатель колхоза, вытягивая из горла полбутылки. Анна Михайловна заливалась людоедским смехом, но опровергать старого ястреба не решалась.

А потом началась бомбежка Москвы. Воздушная тревога — учебная, как потом выяснилось, — была объявлена уже на вторую ночь войны, напугав многих москвичей до потери сознания, которое к ним уже не вернулось полностью. Как ни грустно, в числе таких душевно рухнувших оказалась и наша Вероня. Даже ее безграничная преданность нам не могла устоять перед ужасом, внушаемым ей воющим голосом сирены. Она тут же бросала все и бежала в метро. Однажды мама ее спросила: «Ну, вот вы возвращаетесь, а нас никого нет. И Юры, которого вы вырастили, нет. Как вы будете жить?» Вероня насупилась и ничего не ответила. Тупой, нерассуждающий страх смял ее чудную самоотверженную

душу. Через месяц после начала войны немцы сбросили первые бомбы. Вот тогда и погибли Ирочка Локс и тенор Лабинский, и немало других людей. Затем тревоги, разрывы бомб, треск зениток, пожары вошли в быт. Москвичи в подавляющем своем большинстве к этому скоро привыкли, но спасовавшие в первые дни так и не оправались.

Тревожась за своих, я собрался в Москву. Даша сказала, что поедет со мной. Анна Михайловна дочь не пустила, а с меня взяла слово, что я привезу всех домашних.

В Москве за время моего отсутствия сложился новый быт. Самым удивительным оказалась московская ночь, когда все спускались в метро и бомбоубежища, а дежурные лезли на крышу тушить зажигалки. Отчим уже дважды дежурил, и ему очень понравилось. Он был храбрым человеком. Мать не уступала ему в отваге, но пожилых женщин на крышу не брали, она оставалась дома. Не пошла она в метро и той ночью, когда я полез на крышу вместе с отчимом. Здесь оказалось страшнее, чем я ждал; когда забегали лучи прожекторов, выхватывая из тьмы серебряные крестики самолетов, оглушительно забили зенитки, засвистели и заухали бомбы и твердь под ногами стала зыбкой, я понял, что морально не готов к светопреставлению. Но я же не мог уйти, бросив отчима, приходилось быть храбрым. Побывав впоследствии под фронтовыми бомбежками, я понял, что Москву бомбили слабо. Ни одна зажигалка на крышу нашего дома не упала, но близкий разрыв был — в Староконюшенном разрушило дома, нас чуть не смело воздушной волной.

Словом, впечатлений я набрался, но все это оказалось детским лепетом по сравнению с тем душевным дискомфортом, который я испытал, спустившись на следующую ночь в метро вместе с мамой, Вероней и отчимом. У меня обнаружилась клаустрофобия, о чем я не подозревал, хотя в детские годы дважды испытал нечеловеческий ужас от замкнутого пространства. Но красивое слово «клаустрофобия» прозвучало в моих ушах много времени спустя, когда после второй контузии я попал в госпиталь. Тогда же в метро я метался по штольне от Дворца Советов до Парка культуры, не понимая охватившей меня мучительной и липко-потной

тревоги. Здесь не было ни тесно, ни душно, а метрах в ста от станции и вовсе пустынно, но мне нестерпимо хотелось наружу. Вчерашняя крыша со всеми ее шумами, световыми эффектами и зыбкостью представлялась мне раем. Отступя от станции, на путях стояли переносные уборные. В них на виду, с бесстыдством, в котором были неповинны, сидя на корточках, по-коровьи изобильно и шумно мочились женщины. Они хулигански окликали меня, когда, гонимый клаустрофобией, я проносился мимо.

Наконец дали отбой. Я сказал матери, что лучше буду каждый день дежурить на крыше, чем еще раз спустусь под землю.

А институт мой опустел: студенты, преподаватели, деканы и даже директорат ушли на фронт с народным ополчением. Пока я копнил и трахался на истринской пойме, мои товарищи проливали кровь на полях сражения. Как потом выяснилось, не было ни сражений, ни крови, лишь одного сценариста случайно ранило в задницу пулей задремавшего часового. Но тогда я этого не знал и решил, что должен разделить их ратный труд. На двери института висело объявление о наборе в школу лейтенантов. Призывной пункт находился неподалеку, в Останкине. Я поспешил туда и был принят с распростертыми объятиями. В два счета прошел медицинскую комиссию, нашедшую меня в отличной форме, заполнил анкету, пожал левую руку комиссару, правую он успел потерять в боях, и отправился домой до вызова.

В результате этого моего поступка мы решили с Дашей расписаться, чтобы не потерять друг друга в сумятице войны. Сделано это было, разумеется, в тайне от ее семьи.

Дальше события развивались так. Мама приняла приглашение Анны Михайловны, но выдержала на даче лишь неделю. Вероня не захотела отрываться от метро, отчима не отпустил Радиокомитет, где он в ту пору работал. Зато приехал Оська, но его хватило всего на три дня. Он сбежал, обучив колхозников играть в буру в рабочее время и сказав, что замучен идиотизмом деревенской жизни. Но, конечно, причина была в другом. Анна Михайловна в самом деле

хотела приютить и спасти как можно больше людей, но дурной характер приходил в непримиримое противоречие с гуманными намерениями.

В результате мы остались в том же составе, я трудился в поле, а по вечерам дремал под унылый текст гербетовской «Логики».

Гремел грозами август, уже началась уборка, и Сережешили мешочек для сбора колосков, а школа лейтенантов все молчала. Что ни день звонил я из колхозной конторы или со станции домой — вызова не было.

А немцы подходили все ближе, и с фронта доносились страшные вести вопреки лаконично успокоительным сводкам Информбюро: «Нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике, наши войска отошли на заранее подготовленные позиции». В подтексте читалось: и те позиции, на которых мы долбанули врага, были неплохие, а новые еще лучше. Гербет, который не был чужд ехидства, подсчитал по сводкам, что с начала войны немцы потеряли всю авиацию и непонятно, чьи самолеты бросают бомбы на Москву. В эту черную пору газеты и радио старательно потчевали нас сообщениями о вопиюще низком духовном уровне противника. Их рядовые, ефрейторы, унтер-офицеры и фельдфебели не знали наизусть ни строчки Гете и Шиллера, а некоторые даже не слышали имен Гердера и Ленау. Ясно было, что люди такого уровня, осмелившиеся вторгнуться в страну зачитанных до дыр Пушкина и Лебедева-Кумача, обречены на разгром.

И меня все сильнее мучило, что вгиковские ребята громят безграмотного врага на огневых рубежах, а я торчу в поле, как Микула Селянинович, забывший о своей воинской ипостаси. Ведь когда Змей Горыныч, злой Тугарин или иной поганый супостат вторгался в страну, Микула бросал сошку, опоясывался мечом и кидался в сечу.

В таком юмористическом ключе я сообщил Даше о своем намерении не дожидаться больше вызова, а самому явиться в школу лейтенантов. Это было на террасе, довольно поздно, когда все ушли спать. Я понял вдруг, что Даша уже догадалась о моем решении и сегодня попрощалась со мной.

Когда кончился трудовой день, она взяла меня за руку и повела в лес. Обычно мы шли на реку, я, естественно, не противился, но был удивлен. Отойдя совсем недалеко от опушки, Даша молча сняла через голову сарафан, потом лифчик, трусы, скинула тапочки и осталась совсем нагой. Я так же молча последовал ее примеру. Мы легли на мягкую подстилку из старых, совсем не колющихся игл. Когда я наконец освободил ее, мимо нас, потупив ошалелые глаза, прошел мужик. Даша не обратила на него внимания, словно была не живым человеком, а обнаженной с картины Эдуара Мане «Завтрак на траве». Теперь я все понял, то был ее прощальный дар, и в горести последнего объятия она просто не заметила шляющегося по лесу мужика.

И хотя мои слова, сказанные на террасе, не явились для нее новостью, она расплакалась.

Что так разозлило Анну Михайловну, которая не спала и все слышала? Потеря рабочей силы, Дашины слезы или то, что она приняла за советский патриотизм? Но что бы там ни было, к этому времени все знали: продолжительность жизни комвзвода на фронте — четыре дня. Ведь она же была женщиной, матерью.

— Что из-за него все плачут? — очень горласто донеслось из горницы. — И Гера Ростовцева плакала... — С чего она взяла? — И эта дурища плачет. Подумаешь, какое сокровище!..

— Мама! — сказала Даша, сразу перестав плакать.

— Ты мне не указывай! Я знаю, что говорю. Его пустили в дом, а он приволок этого мерзкого мальчишку.

— Вы сами его пригласили, — вставил я.

— Надо же дойти до такой наглости! В семейный дом привезти этого подонка, этого скомороха!

— Постеснялись бы!.. Вы же мать. Ему, может, жить-то осталось...

— А мне что? — взвизгнула она. — Хороших людей убивают...

— Заткнитесь! — гаркнул я.

— Вы с кем говорите? Кто вы такой? Вы сами-то недалеко от него ушли... А ты дура, дура, дура!.. — Это относилось к дочери.

На какое-то мгновение мне показалось, что я брежу. Я обращался к стене и ответ получал от стены. Сейчас я опомнюсь, и все будет по-прежнему. Увы, нет, стена говорила голосом Анны Михайловны, и мерзкие слова ее стали такой же реальностью жизни, как дом, терраса, ночь и все мы, загнанные в этот отсек ночи. Дашу я теперь видел лишь в отблеске зарниц, которые принимал вначале за световые сигналы московской бомбежки. У нее было бессмысленное, отключенное от происходящего лицо. Рухнуло здание, которое она с таким трудом возводила. Если б Анна Михайловна оскорбляла только меня, я сумел бы переломить себя ради Даши, но Оська был моей болью.

— Вот не думал, что вы можете быть так вульгарны, — сказал я. — Мадам Рекамье с душой кухарки.

В ответ яростный вопль, стенания, слезы:

— Он оскорбил меня, Дявуся! Он оскорбил ме

— Хочешь, я вышвырну его вон? — раздался в голос Гербета.

Он был всего-навсего отчимом Даши, я не обязан был спускать ему.

— Попробуйте, — сказал я и встал. — Винув кре

— Дявуся, не ходи! — фальшивы закричала Анна Михайловна. — Этот негодяй убьет тебя!

Послышались слоновьи шаги, щелкнул замок — Анна Михайловна спасла жизнь мух

— Он спал, когда я читал «Логику», — увеличил список моих преступлений Гербет.

— Он страшный, жестокий, некультурный человек! — вновь завелась Анна Михайловна. — Мы не знали таких. Цинизм, разврат, бездушие, за что нам такое наказание, Дявуся?

— Это выше моего понимания. Когда я увидел, как он клюет носом... Но я щадил ваши чувства. Мне же все было ясно. Чужак в доме. Опасный чужак.

— Новый Резников, — подсказал я.

— Да он в тысячу раз лучше! — взвилась Анна Михайловна. — Он личность! Умный, большой, несчастный, сбитый с толку человек!..

— Анечка, — успокаивающе сказал Гербет. — Не убивайся так. Мы можем от него избавиться.

— Как? — заинтересовалась Анна Михайловна.

— Вспомни, что он говорил вчера утром.

Я крепко выразился насчет полководческого гения товарища Сталина. На десятку, не меньше. И опять мне показалось, что я сплю и сейчас проснусь, и вокруг будет нормальный мир. Ведь этот идеалист, друг Аристотеля и Платона, имеет в виду донос.

Анна Михайловна не отозвалась, возможно, она обдумывала предложение.

— Поеду в Москву, — сказал я Даше.

— Сейчас нет поездов, — неуверенно произнесла она.

— Подожду на станции.

Мой чемоданчик стоял на террасе. Даша не двинулась, а я уже собирался, и я не подошел к ней.

Вечерняя суматоха, ведущая на станцию, начиналась сразу за калиткой. Она шла сквозь заросли высоких репейников, потом лугом. Ночь уже не казалась такой темной, было звездно, то и дело вспыхивали зарницы, над Москвой простиралось розовое облако. Казалось, город горит.

Я сидел на пустынном полустанке. Световое пятно над Москвой пульсировало от разрывов бомб. Там находились последние, кого я любил. Отца, да простит мне Бог, я уже не числил в живых и знал вопреки всем самоубоговорам, что Павлик не вернется. Вскоре уйдет на фронт Оська. Дашу я потерял. Она слова не сказала в мою защиту. Грязь злой вульгарности и предательства запятнала мою любимую. И тут меня как обухом по голове: я забыл про школу лейтенантов, мне и самому осталось недолго гулять.

Незаметно рассвело, и так же незаметно пришло утро с далекими петухами, мычанием коров, бляением овец, щелком пастушьего кнута, скрипом колодезного ворота; небо в стороне Москвы было облачным, но спокойным. Пахло теплым ветром, его гнала перед собой электричка.

В Москве я сошел не то в Тушине, не то на следующей станции. Железная дорога шла через город к Рижскому

вокзалу, эта сторона Москвы была мне не с руки. Проще добраться автобусом до Сокола, а оттуда на метро. Эта окраина Москвы была в ту пору совсем сельской: за штакетником, соснами и пыльными сиренями проглядывали эркеры и шпили ропетовских дачек. На фонарном столбе торчали радиорупоры. Металлический голос диктора преподносил очередную ложь: крепко потрепав гитлеровцев, мы отошли на новые, заранее подготовленные позиции. Похоже, эти позиции были подготовлены неподалеку от Смоленска. По-прежнему немецкие солдаты и младший командный состав не читали ни Шиллера, ни Гете, не слушали «Пассакальи» Баха. А у нас были большие успехи в производственной жизни и на колхозных полях.

На один из рупоров села ворона. Она вертела головой, будто удивляясь льющейся в мир из-под нее глупости. И непонятно с чего на какое-то мгновение к сердцу прихлынуло чувство счастья. Оно никак не было связано с окружающим, для него не было пищи в настоящем: меня вышвырнули из дома любимой, впереди светили школа лейтенантов, фронт и неумолимая статистика. Счастье не возникло из воспоминаний, это было таинственное прозрение судьбы, той долгой жизни, что меня ждала. И пусть сейчас, на исходе дней, эта жизнь не кажется мне счастливой, в ней было много радости.

Я заехал домой, бросил чемоданчик и сразу отправился в Останкино.

— А вы разве не знаете, что студентов вернули из ополчения? — спросил меня однорукий капитан. — Первого сентября, как всегда, начнутся занятия. Так что доучивайтесь.

Что-то в его повадке показалось мне подозрительным. Пропала сердечность, он не смотрел в глаза, как человек, не привыкший врать, но вынужденный это делать. И не для искушения судьбы, а ради правды я сказал:

— Мое заявление остается в силе. Я не вернусь в институт.

— Мы не можем вас взять. — Голос уже звучал резко, неприязненно. — Приказ о студентах подписан Верховным Главнокомандующим.

Дома в два счета разгадали нехитрую загадку, да я и сам уже догадался.

— Тебя не взяли как сына репрессированного, — сказал отчим. — Разве можно доверить взвод исчадию врага народа?

Жизнь лейтенанта на фронте длится четыре дня, даже на такой короткий срок мне нельзя оказать доверия.

— Трогательная забота о детях политических преступников, — сказала мать с сухой усмешкой. — Мы живем в сумасшедшей и больной стране.

А через два дня ранним утром я открыл дверь Даше. Я находился один в квартире. Вероня, переночевав в метро, отправилась в магазин, а мама с отчимом заигрались в покер у знакомых и остались там.

— Я не могла раньше приехать, — сказала Даша. — Мне не давали взять вещи.

Оказывается, все, что произошло при мне, было жиденькой прелюдией. С моим уходом Анна Михайловна разбушевалась еще пуще, и Гербет вкрадчивым тоном повторил свое предложение в более конкретной форме: сообщить «куда следует» о моих настроениях. Я-то думал, что он хотел припугнуть меня, что тоже было отвратительно, но звездочет-идеалист имел в виду прямой донос. И этого я не простил его памяти, как не простил и несчастного Шалахова, у которого он волей случая дважды пытался отбить жилплощадь для своей тещи. С какой гадливостью, удивлением и болью говорит об этом Шалахов в посмертно опубликованных записках! Гербет наверняка был задуман как порядочный человек, но слабость характера не позволила ему выдерживать двойной гнет: власти и супружниц.

— Имейте в виду, что я его жена, — сказала Даша. — Меня тоже посадят.

Анна Михайловна не сразу охватила размеры бедствия. Она решила, что дочь призналась в близости со мной, в растрате семейного достояния, и впала в истерику со слезами, криками, проклятиями, перебудившую весь дом. Пришли очумелые со сна, растрепанные сестры, похожие на шекспировских парок, и заплаканный племянник. Его слегка отшлепали и отослали спать, Анне Михайловне дали воды,

валерьянки. Гербет снова пробормотал, что на меня найдется управа. Тогда Даша показала им паспорт со штемпелем зарегистрированного брака. Казалось бы, это должно было хоть немного успокоить Анну Михайловну, все-таки нет позора прелюбодеяния, но истерика пошла крещендо. Она пыталась разорвать Дашин паспорт, лишь полная потеря сил помешала ей осуществить это намерение. Сестры старались ее успокоить: это не церковный брак, развестись так же просто, как расписаться. Ничто не помогало, Анна Михайловна заходила все сильнее.

Даша рассказывала скупо, неохотно, пыталась привнести в свой рассказ немного иронии, но я чувствовал, что сцена была тяжелая, безобразная и при всей абсурдности вовсе не смешная. Дашу мучило, что она причинила страдание матери, но к этому примешивалась оскорбленность и за себя, и за меня. Даша была скрытной, она сообщала о себе и своих переживаниях ровно столько, сколько считала нужным, и я не пытался расспрашивать ее о подробностях скандала, но догадывался, что матери она простит, уже простила, а Гербету нет. Это соответствовало и моему отношению к случившемуся. Анна Михайловна была ужасна, но вместе — смешна и даже жалка в своем бесчинстве, она не дошла до подлости Гербета. В конце концов она довела себя до настоящего обморока, когда же ее привели в сознание, стала нищенским голосом просить дочь порвать «с этим чудовищем», то есть со мной. Было что-то жутковатое в такой ненависти. Как будто она проглянула скрытое от всех близких, друзей, ее собственной дочери и меня самого черное и ужасное нутро внешне безобидного человека. Еще немного, и я начал бы гордиться той дьявольской силой, которая таилась во мне.

Анна Михайловна привыкла брать жизнь упорством, давлением сильного, негибкого и неуклонного характера, но забыла, что дочь унаследовала от нее эти качества, усугубив их выдержкой и умением не растрчивать себя впустую. Весь следующий день прошел в уговорах, прерываемых новыми проклятиями и слезами; к вечеру, истратив много сил, она все чаще била на сантименты, вспоминала Дашино детство и как

счастливы были они друг с другом, даже попыталась раз стать на колени, чему помешали сестры. При этом она заперла шкаф с Дашиными вещами и спрятала ключ. Никто не вышел в поле, кроме Сережи, которому не терпелось обновить свою рабочую сумочку.

К ночи Анну Михайловну все-таки сморило. Даша вскрыла столовым ножом шкаф, забрала нужные вещи и рано утром ушла на станцию, оставив прощальную записку.

Какие страсти, какая ненависть, и к кому — к мальчишке, которого ждет война!.. И, вспомнив о войне, я сообщил Даше, что меня не взяли в школу лейтенантов.

— Слава Богу! — Она перекрестилась. — Слава Богу!..

Оказывается, Даша была уверена, что меня заберут, и приехала, чтобы жить вместе с моей матерью.

Послышался мерзкий звук воздушной тревоги. Я сказал Даше:

— Раздевайся. Иди сюда.

Постель стала нашим бомбоубежищем, самым надежным в мире.

Даша жила у меня до октябрьской паники. Мы ходили в институт — каждый в свой; у меня началась сессия — закончился второй курс. В середине октября немцы подошли к Москве, плановая эвакуация промышленности и разных важных учреждений на восток перешла в драп. Мы проводили отчима, уехавшего в Куйбышев с Радиокomiteетом. Мать ехать отказалась. «Пускаться вдогонку за сталинским социализмом — это чересчур, — сказала она. — Я лучше посмотрю другой вариант земного рая. Наверное, он столь же омерзителен, но для этого хоть не надо трогаться с места». Мой институт эвакуировался в Алма-Ату. Тогда, не сказав своим ни слова, я сделал вторую, но не последнюю попытку отправиться на фронт, избрав простейший путь — через райвоенкомат. И хотя в панике брали всех без разбора: косых, кривых, хромых, кособоких, сердечников и астматиков, — я снова не подошел. Дорогой родине было нужно, чтобы я доучивался в киноинституте. Можно подумать, что самым важным в эту трагическую пору была подготовка

новых кадров сценаристов для отечественной кинематографии, даже в лучшие времена выпускавшей на экраны не более десятка фильмов в год. Словом, повторилась история со школой лейтенантов, с одной поправкой. Когда я заупрямился, меня отправили на врачебную комиссию, откуда я вышел белобилетником. А ведь я только что проходил медицинское обследование, признавшее меня годным в любой род войск. А сейчас мне впаляли психушную статью. Вот как давно додумались выбраковывать неугодных людей, объявляя их психами. Хорошо хоть обошлось без принудления, хотя районный психдиспансер взял меня на учет. И я остался в Москве. А через короткое время вместе с Дашей переехал на Зубовскую. Этому предшествовал телефонный звонок Анны Михайловны. Она долго говорила с мамой, потом с Дашей, и семейный совет предписал мне помириться с Гербетами. У Анны Михайловны не хватило высоты извиниться передо мной за истринскую сцену.

Даше было тяжело в нашей крошечной квартирке, она в ней не помещалась. В ванную был ход через мамину комнату. Даша не могла ни вымыться утром толком, ни принять душ — мама и ложилась и вставала поздно. На кухню, если там находилась Вероня, было не войти, а в уборную Даша не вписывалась (это не каламбур) из-за своих габаритов. Это помещение годилось для таких астеников, как наша семья (некогда полная Вероня иссохла к старости в дубовый листик), Даша принадлежала к пикническому, или атлетическому, типу.

Дашу угнетало и то, что она сидит у нас на шее. Я зарабатывал журналистикой сущие гроши, Вероня получала пенсию — двадцать три рубля, весь наш доход. А Гербеты процветали. Мало того, что колхозные трудодни обеспечили их, как говорят в деревне, до новины, Август Теодорович в связи с бегством философской профессуры стал нарасхват: в двух институтах он заведовал кафедрой, в трех — преподавал, и самое невероятное — его «Логика» пошла в печать. Почти весь философский корпус состоял из марксистов-ленинистов и, естественно, членов партии, Гербет был беспартийным, идеалистом и занимался греками. В философ-

ском смысле Москва уподобилась Элладе, в лице Гербета здесь господствовала афинская школа.

Мне думается, что переезд к Гербетам был началом конца нашего с Дашей брака. Я каждый день навещал маму и Веронию, работал в своем кабинете, но ночевать отправлялся на Зубовскую не в силу уважения к домостроевским правилам, а из неиссякаемого влечения к Даше. А ей, как я понял много времени спустя, наше уже не запретное, а санкционированное свыше, не романтическое, а официальное, почти механическое еженощное соединение стало докучно. Физиологически она в нем не нуждалась, близость была апофеозом риска, домашней борьбы за самостоятельность, бунта, утверждения себя, великой тайной. А сейчас за стеной крихтели, словно пародируя нас, старики (им, кстати, не было пятидесяти), звенел на редкость голосистый металл советской ночной посуды, рушилась вода в уборной.

Правда, поначалу Даша испытывала некоторый подъем. Она впервые взяла верх над семьей, поступила по-своему, стала женой человека, которого сама выбрала, покончила с униженно затянувшейся детскостью. Теперь она для всех взрослая, замужняя женщина. Конечно, это была нешуточная победа. Даже пойти ночью в ванную по женской надобности, вспугнув чуткий от несмирности сон матери, доставляло некоторое удовольствие. Подчинение пусть самому любимому человеку все равно надоедает, и мы начинаем мечтать о реванше. Сейчас она брала реванш за покорность, необходимость обманывать, врать, молчать в ответ на злой и обидный вздор. Признаюсь, и моей мстительности блазило многократно подтверждать перед Анной Михайловной права мужа и повелителя, раз за разом посылая Дашу на ликвидацию наследника.

Из мести Анна Михайловна не давала нам выспаться, в семь утра ее фальшивый голос напоминал, что начался новый день, исполненный забот. Кстати, у нее самой забот почти не было: всех посадили на карточки, писателям дали абонементы или лимиты, какие-либо продовольственные операции стали невозможны, да и не нужны — гербетовские закрома и так ломались.

Но вскоре победное чувство Даши притупилось. Она любила мать и не хотела слишком долго тащить ее за своей

колесницей. Она готова была вновь стать покорной дочерью, но уже на новой платформе.

То недолгое время, что Даша жила у меня, характер наших интимных отношений не менялся, они сохраняли свои изначальные особенности: поиск, борьба, преодоление, взятие крепости, а порой неожиданный и потому особенно волнующий подарок. Мы были в море, нас качала и била крутая волна, порой захлестывала, срывая дыхание, обдавала колючими брызгами, мы теряли направление, забывая, где берег, сейчас ничего этого не стало — наш человек застыл посреди плоского, недвижимого, затянутого ряской пруда. Я заметил это далеко не сразу: сам раскачивая лодку, я воображал, что нас колышут волны. Их не было. Не требовалось ничего преодолеть, Даша спокойно, с милой обязательностью готова была выполнить свои супружеские обязанности, совершенно ей не нужные, если им не сопутствовали психологические сложности, оживлявшие спящее царство ее плоти. Даше нужна была измена, она изменяла со мной своей матери. Сейчас они были если не в разводе, то в сепарации, как говорят на Западе, и акт любви исчерпывался в себе самом, что было достаточно для меня, но не для Даши.

Куда лучше было во время дневных бомбежек, благо немцы стали заниматься этим весьма усердно. Что ни день — налет, с пальбой зениток, свистом и уханьем бомб; иной раз — только дадут отбой, и снова вой сирены, опять прилетели голубчики. Эти бомбежки породили у нас особый ритуал. Мы с Гербетом страдали прямо противоположными психическими сдвигами: я — клаустрофобией, он — агрофобией. При переходе площади его начинало всего трясти, он делал руками какие-то атавистические движения, словно перебирал лианы, — жест, унаследованный от наших косматых предков, когда они спасались на деревьях. Обезьяньи движения перемежались с чисто профессорскими — он нервно, дергая носом, поправлял очки. Бомбежки Гербет смертельно боялся, а подвал, служивший бомбоубежищем, любил, в нем не было пространства. Я же боялся подвала куда больше налетов.

Вот завывала сирена, и тут же слышится фальшиво-испуганный голос Анны Михайловны:

— Ах, какая ужасная бомбежка!.. Они разрушат город. Мы погибнем под обломками. Скорее вниз, это последняя возможность спастись.

Она, как и ее дочь, начисто лишена была страха, но скучно торчать в котельной вдвоем с отключившимся от действительности мужем, поэтому ей хотелось и нас загнать туда.

От зловещих причитаний жены Гербет совсем терял голову и начинал тыкаться в стены, как слепой щенок.

— Держись за меня, Дявуся! — кричала Анна Михайловна, спокойно и зорко оглядывая квартиру, чтобы не оставить включенными электрические приборы, газ. — Дашенька, бери Дявусю под правую руку, Юра, толкайте его сзади.

В первый раз этот прием сработал. Мы спустились в котельную. Там было тесно, влажно и жарко. Только молодость и еще не развившаяся во всю мощь болезнь мешали мне поменяться местами с Гербетом в смысле паники. Но чувствовал я себя препогано, что не помешало заметить суетливо-кокетливую молодую дворничиху с крашенными перекисью волосами. Она вела себя, будто хозяйка салона, все время приговаривая: «Располагайтесь!.. Чувствуйте себя, как дома... Я пригласила бы вас к себе, но у меня так тесно!..» Зеленые кошачьи глаза сверкали.

Запомним эту молодую дворничиху, она еще появится в нашем повествовании.

Гербет на какое-то время оклемался, но тут близко забили зенитные пулеметы, и он опять выпал из сознания.

После этого визита в котельную Анне Михайловне при всей ее настырности ни разу не удалось загнать нас туда. Мы помогали спустить Дявусю под пол и возвращались в блаженно пустую квартиру, содрогавшуюся от разрывов, звенящую стеклами окон, и кидались друг другу в объятия. Анне Михайловне тоже хотелось остаться наверху и спокойно попить чайку на кухне, кроме того, она догадывалась, что мы получаем от бомбежки какую-то выгоду, она дико злилась, но ничего поделать не могла — домостроевский

указ предписывал жене быть возле мужа, а меня в котельную не заманить.

Возвращался Подколокольный переулок, возвращалась Даша тех дней, а не нынешняя: в длинной спальной рубахе, с лицом, намазанным жирным кремом.

Ах, как это было хорошо! На улице что-то ревело, грохотало, порой зенитные пулеметы словно расстреливали нашу комнату, а то случались провалы странного беззвучия — после особенно мощного разрыва, и вновь пальба и гром, и черные хлопья сажи, как галки, мечутся по двору — где-то поблизости горит. Но мы были неуязвимы, подтверждая справедливость горьковских слов из его наивной поэмы, высмеянной пьяным Сталиным: «Любовь сильнее смерти».

Происходящее между нами обострялось еще и тем, что отбой могли дать в любую минуту, а из котельной до квартиры путь недолгий. Бомбежка управляла ритмом нашей любви по принципу — наоборот. Когда она усиливалась, мы сбавляли темп, когда стихала, мы кидались в погоню за временем...

Но все имеет конец: разгромленные под Москвой, немцы почти прекратили налеты. Кончился и наш с Дашей «героический» период, потекла спокойная, размеренная супружеская жизнь с длинной спальной рубахой и жирным кремом на лице. Но мне это вскоре перестало мешать. Я твердо знал, что возле меня единственно нужная мне женщина на свете, с которой проживу всю жизнь. Иногда верилось, что хорошо проживу, с честью и славой, в достатке и радости. Но пускай нам выпадет и не такая прекрасная жизнь, без успеха и славы, все равно это будет жизнь с ней. Меня до слез трогала фраза Александра Грина, которой он заканчивает несколько своих рассказов: «Они жили долго и умерли в один день». Я готов был умереть раньше Даши, но как прекрасно уйти вместе на склоне долгой и всегда горячей жизни.

В эти дни я распрощался с Оськой, чей отъезд почему-то задержался. Наше расставание так и осталось одним из самых пронзительных и болезненных переживаний всей моей жизни.

Странное расставание!.. Он затащил меня к себе и стал навязывать все, что оставалось в порядке опустошенном

доме. Родители его были в давнем разводе, но уезжали в эвакуацию вместе. Отец-художник забрал собственные картины, Оськины рисунки и фотографии (потом он подарит их мне), мать «реализовала» все, что представляло хоть какую-то ценность. Оставались предметы домашнего обихода, и Оська совал мне рефлектор, электрический утюг, кофемолку, рожок для надевания туфель, пилу-ножовку и две банки горчицы; от испорченной швейной машинки я отказался — не донести было всю эту тяжесть; еще Оська навязывал мне лыжные ботинки и траченную молью шапку-финку, суконную, с барашковым верхом.

Может показаться странной и недостойной эта барахольная возня перед разлукой, скорее всего навечной, ничтожное копание в шмотье посреди такой войны. Неужели не было о чем поговорить, неужели не было друг для друга серьезных и высоких слов? Все было, да не выговаривалось вслух. Нас растили на жестком ветру и приучили не размазывать по столу масляную кашу слов. А говорить можно и простыми, грубыми предметами, которые «пригодятся». «Держи!..» — а за этим: меня не будет, а ты носи мою шапку и ботинки и обогревайся рефлектором, когда холодно. «Бери кофемолку, не ломайся!» — это значит: а хорошая у нас была дружба. «Давай, черт с тобой!» — а внутри: друг мой милый, друг золотой, неужели это правда, и ничего больше не будет?.. «На дуршлаг» — но ведь было, было, и этого у нас не отнимешь. Это навсегда с нами. Значит, есть в мире и останется в нем...

А потом я шел вечерней затемненной Москвой и думал, что обязан быть там, где Павлик и Оська, иначе не смогу жить.

И неожиданно это случилось. В исходе сорок первого года были созданы новые фронты со всеми полагающимися службами. ГлавПУР испытывал нехватку в людях, владеющих немецким языком, для служб контрпропаганды фронтов, армий, дивизий, а также для немецких газет. Наш друг Николай Николаевич Вильмонт порекомендовал меня отделу кадров ПУРа. Меня вызвали, устроили экзамен по языку и, не поинтересовавшись ни моими документами, ни анкетой,

зачислили на должность инструктора-литератора газеты для войск противника при ПУ Волховского фронта. Мне выдали обмундирование: полукомандирское-полусолдатское, в петлицы офицерской гимнастерки и куцей солдатской шинели навесили по два кубаря, я с ходу стал лейтенантом, без останкинского научения. Кирзовые сапоги, дерматиновая сумка и дерматиновая пустая кобура на офицерском ремне дополнили мою амуницию, да еще я получил шапку из поддельной цигейки пожарного лисьего цвета. И так, беспартийный — даже в комсомоле не состоял, — я был произведен в политработники.

До сих пор не понимаю, почему мой, вполне естественный для молодого человека поступок был воспринят Гербетами как семейное дезертирство, почти как предательство. Самому Гербету было наплевать с высокой горы, уеду я или нет, но Анна Михайловна и Даша стали мрачнее тучи, и Гербет, подчиняясь их настроению, осуждающе покачивал мудрой головой. Впервые Даша объединилась с матерью против меня. А в чем моя вина? После разгрома немцев под Москвой ни столице, ни Гербетам лично ничто не грозило (меньше всего они боялись немцев), от меня им не было ни морального, ни материального прибитка, теперь же Даша получила половину моего денежного аттестата, равного жалованью командира полка. А это, что ни говори, шаг к мужской ответственности за семью. «Бросить Дашу!.. — вздыхала Анна Михайловна. — Как волка ни корми, он все в лес смотрит». У меня ум за разум заходил. В конце концов я не выдержал: «Можно подумать, что я иду не на фронт, а в публичный дом».

Анна Михайловна ответила на эту дерзость легкой истерикой. В сумбуре отрывочных фраз, прерываемых сухими всхлипами — ей никак не удавалось выжать из себя слезу, прозвучало кое-что заслуживающее внимания: «Ломать едва начавшуюся жизнь!.. Решил и даже не посоветовался!.. А если с вами что случится?..» Я ухватился за последнее: «Мне предстоит легкая война. Это не передний край. А случиться может и в Москве. Бедная Ирочка Локс погибла на Волхонке. Но, что бы ни случилось, я вас собой

не затрудню». — «Он не считает нас своей семьей!» — взвилась Анна Михайловна, как будто на этот счет были хоть какие-то сомнения. Я мог бы заткнуться, слова мои падали в пустоту. А ведь она назвала причину своего гнева. Я нарушил устав семьи, мужчины здесь не принимают решений, это дело женщин. Из меня хотели вылепить второго Гербета. А мне взбрело в голову, что их раздражает мой поступок как показатель жест советского патриотизма, в чем я неповинен. «Мне необходим жизненный опыт. Ведь я действительно хочу стать писателем». — «Да, вас, конечно, примут в Союз писателей как фронтовика», — съехидничала Анна Михайловна. «Спасибо на добром слове. Война скоро кончится. И если не к посевной, то к сеноуборочной я наверняка успею». Моя ирония пропала даром, Анна Михайловна считала вполне естественным пользоваться рабским трудом. Перед моим уходом она милостиво и величественно разрешила поцеловать ей руку. Что я и сделал без особого восторга...

На фронт меня отправляли машиной, входившей в колонну легковушек, предназначенных высшему политсоставу Волховского фронта. Мне предстояло переночевать в помещении бывшей школы возле Донского монастыря, а на рассвете — в путь. Провожала меня одна Даша. Она была не то что печальна, а как-то сумрачна. Взволнованный предстоящей мне самостоятельной мужской жизнью на войне, я не испытывал сильной тоски, к тому же мне почему-то казалось, что мы вскоре свидимся. И Дашей владела не тоска разлуки, а что-то другое. Теперь я знаю, она боялась за будущее, которое представляла себе куда лучше меня, и отнюдь не в тонах утренней Авроры. Не во мне она сомневалась, а в себе самой. Что-то с ней было не в порядке. Она не верила своей способности отстаивать в одиночку нашу еще не сложившуюся жизнь, принесшую покамест если не разочарование, то некоторую утрату былого возвышающего волнения.

Мы сошли на остановке. Было темно, морозно, угрюмо. За высокой оградой торчала башня крематория. Над дверью школы, где мне предстояло провести ночь, горела синяя маскировочная лампочка. Из глубины незнакомой Москвы надвигался тоже синими огнями Дашин трамвай.

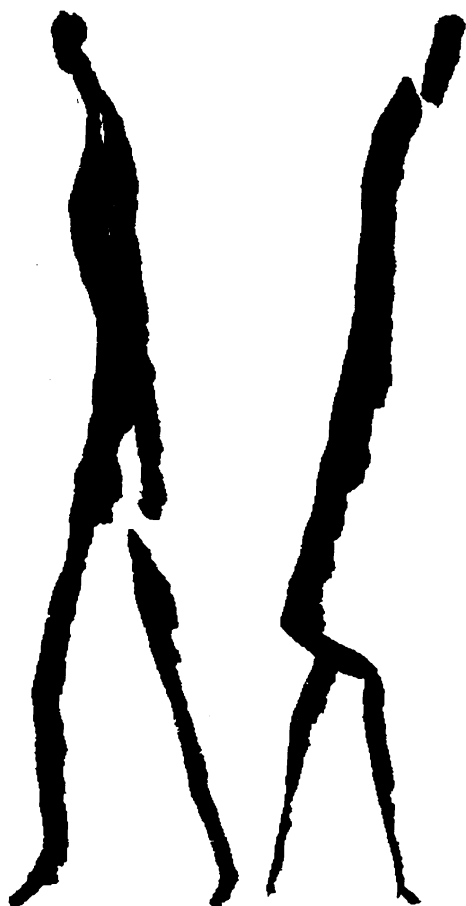
— Я поеду, — сказала Даша.

Мы коснулись друг друга морозными лицами.

Я видел, как она послала себя на ступеньку трамвая рывком грузной женщины.

Ни на миг не мелькнуло мне, что это конец той Даши, которая началась безмятежным коктейбельским днем три с половиной года назад.

Даша не исчезнет из моей жизни, но то будет совсем другая Даша, а со своей Дашей я расстался навсегда морозной ночью возле крематория...



Омоей не героической, но все равно тяжелой войне я писал много, не стоит повторяться. Журнал «Дружба народов» опубликовал мой «Волховский дневник». Он весьма скуп, я выбросил из него описания боевых действий, полетов на бомбежку (я сбрасывал не бомбы, а газеты и листовки), выхода из окружения под Мясным бором, поскольку обо всем этом у меня есть повести и рассказы, но сдержанность дневника объясняется не только этим. И в том виде, в каком он есть, дневничок тянул на десять лет лагерей без права переписки, а второй эшелон фронта кишел стукачами. Впрочем, их хватало и в первом эшелоне, чего-чего, а этого добра у нас всегда навалом. Вообще фронт очень похож на тыл: здесь так же все проточено доносительством, подсиживаниями, жаждой сделать карьеру, схватить награду или другую жизненную сласть, такой же спрос на водку и баб. Сходство кончается там, где стреляют.

Здесь все присущие человеку чувства сводятся к тоске и страху, но зато кончается советская власть. Она напоминает о себе одиноким вскриком политрука: «За Родину! За Сталина!», когда поднимаются в атаку. Бойцы таких глупостей не кричат, они идут навстречу смерти с бледными, перекошенными лицами и пустыми глазами, изредка можно услышать «Ура!», похожее на предсмертный хрип. Советская власть доберется до переднего края после летнего приказа Сталина в виде заградотрядов, стреляющих в спину отступающим.

Меня часто посылали во фронтовые командировки, где я попадал не только под бомбежку, артиллерийский и минометный обстрел, но и под пули снайперов, и мне было страшно. Однажды я участвовал в бою, уцелел воистину чудом, и мне было очень страшно. Когда я летал на бомбежку и вокруг рвались зенитные снаряды, тоже было страшно. Когда я вел рупорную передачу из ничьей земли и немцы ударили из счетверенных минометов (моя первая контузия — уже на Воронежском фронте), тоже было страшно, но все это — здоровый, естественный страх, преодолеваемый ради порученного дела. А в седьмом отделе и в газете я испытывал подчас тот нерассуждающий, отвратительный страх, каким были омрачены мое детство и юность, когда ночь напролет я ожидал «воронка». На меня неустойчиво капал (обхожусь этим мягким словом вместо положенного «стучал», поскольку то было наушничество, а не письменные доносы, — впрочем, откуда мне знать?) мой коллега по газете, литературовед Верцман. Он не мог мне простить, что на одном и том же секретариате СП (проклятое совпадение) меня приняли, а его не приняли в Союз писателей. Предсказание Анны Михайловны сбылось раньше, чем можно было ждать, еще до выхода моей первой книги. В отместку Верцман восстановил против меня все начальство. Особенно донимал меня главный редактор газеты Полтавский. Такие экземпляры создаются специально для поддержания юдофобства, ибо гнусность Полтавского была окрашена в яркие семитские черты: каракулевая голова, певучие гласные, мучительные усилия сдержать местечковую жестикуляцию, чувство иронического превосходства от мнимого ума — был глуп, как пробка, играл в полководца.

Полтавский по каждому поводу и без всякого повода цеплялся ко мне: внушения сменялись разносами, разносы — публичным унижением. И каждый раз он давал мне понять, что это не главная моя провинность, что ему известно про меня такое!.. Вполне возможно. Местные особистские бездельники наверняка докопались до тех подробностей моей биографии, которыми не поинтересовался ГлавПУР. Но меня не трогали. Сразу по приезде нас по одному, совершен-

но в открытую, приглашал на собеседование прибывший в редакцию особист. После короткого, совсем не въедливого разговора он каждому предлагал стать информатором, без нажима, словно для порядка, и убыл. Но опять же — откуда я знаю, чем кончились его беседы с другими сотрудниками? Не мог же он вернуться с пустыми руками. Больше я его не видел.

Меня все чаще посылали то на фронт, то в небо, и я полюбил эти поездки за чистоту физического страха. Отделы политуправления соревновались в количестве убитых и раненых сотрудников, это доказывало тесную связь с фронтом политслужб. Отдел агитации обставил нас на одного убитого, по раненым счет был ничейный — 2:2. Начальник седьмого отдела, напутствуя меня в командировку, всякий раз советовал мне с застенчивой улыбкой «не избегать». И приводил в пример батальонного комиссара Роженкова, которому за ранение дали орден Красной Звезды.

Но я возвращался невредимым, счет не менялся, на меня злились. Роженков был новичок отдела, а остальные инструктора — народ тертый, такие не попадутся. Видимо, решили, что и я приспособился, и тогда послали... Верцмана. Уезжая, он забыл о нашей вражде и вручил мне письмо, которым извещал жену о своей гибели. Я должен был добавить несколько прочувствованных строк от себя. Ценил мое перо в глубине своей гадской души! Письмо осталось неотосланным, Верцман вернулся. На войне всегда идет вторая война — более существенная, напряженная и более изнурительная, чем с противником, и куда более бесчестная — война со своими. Я был плохим воином на этой войне, куда худшим, чем на той, побочной — с фашистами, где не уронил себя. Здесь же я знал только поражения.

Но война, как говорил Швейк, занятие для маленьких детей, я же пишу о серьезном, о жизни человеческого сердца.

Мы никогда прежде не переписывались с Дашей, а в письмах человек всегда оказывается иным, чем в живом общении. Потом, когда ты привыкаешь к новому ракурсу, как к почерку, он почти сливается со своим привычным образом.

Женщины почти всегда хорошо пишут письма и почти всегда в них — другие. Быть может, причина лежит в лживости женской природы. Врать письменно, притворяться, имитировать чувство гораздо легче на расстоянии, когда не видно лица, глаз и можно спокойно моделировать воображаемую действительность. Лишь очень прямые природы, как у моей матери, мгновенно узнаваемы в письмах, но не талантливы.

В Дашиных умело выстроенных посланиях я плохо чувствовал ее. Меня удивило, что она умеет так литературно писать, и когда она сообщила неожиданную новость, что бросила на последнем курсе ненавистный текстильный институт и поступила в Литературный имени Горького, я принял это как должное. Конечно, ей помог Гербет, преподававший там философию, потому что домашних работ, свидетельствующих о творческих возможностях, она представить не могла — сроду не притрагивалась к перу. Эпистолярный жанр, у нас отсутствующий, — совершенно особый род литературы, женщина, пишущая прекрасные письма, может оказаться не в состоянии наколоть газетную заметку. Я никогда не слышал от Даши таких гладких, круглых и пространных фраз, из которых состояли ее письма. Живая речь моей жены была крайне проста, скупа, малословна и точна. Мне нравилось, как она разговаривает, потому что за каждым словом отчетливо возникал предмет, явление, чувство. Слово было адекватно тому, что оно призвано выразить. А в этой новой мадам де Севиньи я тщетно пытался разглядеть милые черты, она ускользала от меня в своей изящной, чуть жеманной эпистолярной прозе. Но вместе с тем я гордился ее письмами, ценя то усилие, которое она в них вкладывала. Не писала впопыхах, тят-ляп, лишь бы отделаться, а отдавалась этому как благостному труду. Брала тугой хороший лист бумаги, свежее перо и на час, а то и более уходила в общение со мной.

Я послал Даше свою маленькую фотографию, сделанную для командирского удостоверения. Я был пострижен под бокс, что выглядело довольно вульгарно, но художник Шишловский, наш сотрудник, ловко пририсовал меховой

треух, придавший мне весьма лихой вид. Даша написала: «Спасибо Шишловскому за красивого мужа». Я снова ощутил ужимку, но горделиво показал письмо Шишловскому. Постепенно я стал как-то привыкать к этой эпистолярной Даше, но слияния контуров — прежнего и нынешнего — не произошло.

Даша словно помолодела. Она и так была далеко не старуха — двадцать три года, но она жила не в советском, а в дореволюционном возрасте; у нас в двадцать три — комсомолка, а в старину — молодая дама либо грустный перестарок. Даша никогда не выглядела студенткой, а сейчас за ее письмами мне виделось румяное лицо литвузовки, общественницы и чуть ли не комсомолки.

Когда же в этих солнечных письмах возникала нота тоски: она писала, что в обморочной яви видит меня коленапреклоненным возле ее тахты, — я испытывал не волнение, а стыд, как от разглашения интимной тайны. И чем дальше, тем отчетливей ощущал я фальшь литературного приема. Порой я спрашивал себя: а было ли ей хоть немного грустно, когда я уехал? Конечно, вариант с Литературным институтом был просчитан семьей еще до моего отъезда на фронт.

Тоска по Даше как-то раздвигалась. Я тосковал и душой и телом по Даше коктебельской, Даше Подколокольного переулка, Даше на столешнице пустой летней квартиры Гербетов, Даше на краешке низкой тахты, Даше лесной, Даше в грохоте воздушного налета, Даше, тепло и дружески улыбающейся Павлику, когда она впервые увидела его бритую маленькую солдатскую голову, Даше, танцующей с Оськой под ресторанное танго, и по многим другим Дашам, но не по той Даше, что всплывала со страниц длинных, старательных писем: увлеченной студентке и общественнице, посещающей раненых в госпиталях, хлестко судящей о скудной военной литературе, своей в доску среди однокашников.

Даша словно наверстывала ту глуповатую студенческую молодость, которой была лишена в положенное время, потраченное на врага сумбурной антинародной музыки, отчасти — на борьбу за меня.

Случалось ли вам видеть, как выпускают коров после долгого зимнего стойлового содержания на волю, на весеннюю травку? Огромные, неуклюжие, рогатые, с тяжелым выменем и печальными глазами, животные прыгают, скачут, задирают морды к небу, мычат, валяются на траве, чуть ли не кувыркаются. Зрелище нелепое и до слез трогательное. Об этом напомнила мне Дашина метаморфоза, но трогательного чувства я не испытывал.

Напротив. Тут пахло воровством. У меня украли мою Дашу с полного ее согласия. Конечно, я далеко не сразу понял, а поняв, признал свою потерю, прошли месяцы, прежде чем я отважился найти для случившегося прямое слово. Каждое новое письмо Даши — она строго дозировала переписку — уводило ее все дальше от меня.

Меж тем вокруг творилась весна с шипящим таянием толстых снегов, бурлили ручьи, грачи кружились над разрушенной колокольней, пахло землей и набухающими почками, и высокий тонус прифронтной половой жизни достиг размаха стихийного бедствия. Мужчины совсем осатанели от доступности юных существ в шинелях и голубых мужских кальсонах, плотно обтягивающих крепкие икры. Не знаю, как на других фронтах, на Волховском все дамы и девицы: связистки, почтарши, телефонистки, медсестры, сандружинницы, официантки офицерских столовых, кладовщицы, машинистки и секретарши военных канцелярий — щеголяли в люминисцирующих кальсонах цвета неба венецианца Тьеполо. Ночью над Малой Вишерой, где в ту пору располагалось ПУ и другие учреждения фронтового значения, воздух наполнился любовным стоном. И в этом половом раю я вел себя, как старый евнух. Надо мной смеялись, хоть придумывай себе роман, чтобы не быть притчей во языцех. Но я не мог быть с другой женщиной, я был отравлен Дашей.

Особенно остро я ощутил это, когда мы перебрались в деревню Акуловку под Неболчами. Немцы, проведавшие, что Малая Вишера — мозговой центр фронта, яростно бомбили нас с пикирующих «юнкерсов». Мне кажется, им следовало бы оберегать мозг, помогавший 2-й Ударной попасть в приготовленный под Мясным бором котел. Впро-

чем, главным поваром тут был Сталин, упорно не внимавший предупреждениям Власова и Мерецкова. Другим объектом бомбежки была железнодорожная станция. А там на запасных путях стоял поезд-типография, где печатались «Фронтная правда» и наша «Зольдатен фронт Цейтунг» — для войск противника. И поезд решили хорошенько упрятать в лесу. Такой лес нашелся в одиннадцати километрах от Неболчей, откуда начинался пока что бесславный путь Волховского фронта.

Работники русской газеты жили в поезде, а нас поселили неподалеку, в деревне Акуловке; и там я встретил Марусю, самую красивую сельскую девушку в мире, из которой, живи она в городе, вышла бы, как поется в старой песне, «хоть куда мадам». А может, и вышла, я ведь не знаю ее судьбы.

О ней я придумал повесть «Перекур», ставшую фильмом «Пристань на том берегу». Тут много выдуманного, а правда — в прелести Маруси и в том, что наш роман остался незавершенным. Не Маруся, а я тому причиной, мы остановились на пороге, не перешагнув его. Увлеченность Марусей обернулась во мне ощущением не своей, а Дашиной неверности. Я не мог бы ни обнимать, ни целовать Марусю, если б не смутное и вместе неотвязное чувство, что Даша уже не принадлежит мне.

Эта муть давно копилась в душе, но обрела четкие очертания после недавнего письма Даши. Я попросил маму отдать гонорар за рассказ, опубликованный в «Вечерней Москве», моей бывшей няньке Кате, которая очень нуждалась. Наверное, Даша узнала от мамы об этом весьма скромном жесте человеколюбия и отозвалась на него самым неожиданным образом. Сухо, жестко она сообщила мне, что откажется от аттестата, если я намерен продолжать свою благотворительную деятельность. У нас никогда не было материальных счетов. По правде говоря, меня удивило, что Даша вообще не отказалась от своей половины аттестата. При заработках и пайках Гербета эти гроши были им, что слону дробина, а моя семья жила очень трудно. Отчим болел тромбофлебитом, лежал, почти ничего не зарабатывал. Но матери не пришло в голову укорять меня маленькой помощью несчастной старухе. Напротив, она была

рада. За Дашиным поступком угадывалась направляющая рука Анны Михайловны, она опять овладела дочерью, иначе не подвигнешь благородного человека на низкий поступок. Но при всей жадности и алчности Анны Михайловны дело было не в тех грошах, которые пошли бывшей няньке, а во всей системе отношений. Я становился реальностью, во что Анна Михайловна никогда не верила. Писатель-фронтовик, член СП, мое имя мелькало на страницах газет, журналов, звучало по радио. На выходе была первая книжка и уже принята вторая. Словом, я представлял собой материал, из которого можно вылепить мужа. А муж нужен только такой: «муж — мальчик, муж — слуга, из жениных пажей». Для этого прежде всего надо оторвать меня от матери и семьи, я должен быть весь, со всеми потрохами, на службе Гербетов. Этого не добьешься, если не расшатать Дашиного чувства ко мне, чем Анна Михайловна, несомненно, с радостно-мстительным чувством и занялась. Вообще принято обвинять в своих бедах кого угодно, только не любимых. Конечно, Анна Михайловна ничего не добилась бы, если б Даша не пошла ей навстречу. Возможно, оставайся я рядом, Анна Михайловна потерпела бы очередное поражение, но меня не было, а пьянящий воздух запоздалой студенческой весны кружил Даше голову, дома же подводилась теоретическая база под ту внутреннюю свободу, которой должна обладать женщина в браке.

Сейчас, вспоминая то далекое время, я острее переживаю свою обиду, чем это было на самом деле. Наверное, в молодой черствости, захваченности всем объемом бытия и ощущением бесконечности отпущенного времени многое воспринималось легче, чем кажется из потемков старости. Помогла мне и упомянутая выше способность к идиотической слепоте, надежной форме самозащиты. Так будет и впредь. Пока женщина не теряла для меня своей привлекательности, я ничего не видел. Потом иссыхал родник, я рвал — сразу и без сожаления, — и тут оказывалось, что и раньше знал все, но по доброй воле носил шоры.

Даша была мне нужна. И остановившись с Марусей на самом краю, я как бы остановил и Дашу. Это не значило, что я всерьез верил в мистическую взаимосвязь нашего душев-

ного поведения. У меня не было и до конца отчетливой оценки происходящего. Единственно, в чем я был уверен, так это в дурном влиянии Анны Михайловны на дочь и в том, что она вновь взялась за меня, хотя совсем с другой стороны. Остальное принадлежало к тайнознанию, которое куда совершенней дневного разума, но далеко не всегда торопится сообщить о своих открытиях...

Дальнейшие события развивались энергично. Немецкие газеты приказом свыше закрыли, толку от них, как от козла молока. Работников газет стали распределять по другим службам контрпропаганды. Я же получил приглашение в газету воздушной армии Волховского фронта, но отпустить меня не могли без санкции ГлавПУРа. И тут вспомнили о старом вызове из «Советского писателя» для ознакомления с версткой. Так было принято, но Полтавский обвинил меня публично в дезертирстве и не отпустил. Сейчас работники отдела кадров ПУ вспомнили об устаревшей бумажке и предложили оформить недельную командировку в Москву, если я привезу три литра водки. Я пообещал и через два дня, не успев предупредить домашних о своем приезде, вошел в квартиренок на улице Фурманова.

Все мое короткое пребывание в Москве шло под песню «Как на темный ерик», невероятно популярную в те дни. Ею приветствовали приезжающих в отпуск или в командировку фронтовиков. Там были такие волнующие слова:

*Любо, братцы, любо.
Любо, братцы, жить.
С нашим атаманом не велено тужить.
Не велено тужить.*

Тут взгляды обращались к герою и все рюмки тянулись к нему. Я едва перешагнул родной порог, как появилась водка, и новая мама подруга, соседка по подъезду, вдова пародиста Архангельского Кира, зубастая, очкастая, с сильным ловким телом, завела разухабисто:

*Как на темный ерик, как на темный ерик
Грянули казаки — сорок тысяч лошадей...*

Бедная мама не справилась с потрясением, сразу напилась и отключилась от происходящего. Дождавшись десяти ча-

сов — раньше я не решился тревожить Гербетов, — я позвонил Даше. Она сама сняла трубку.

— Приезжай, — сказал я.

— Как ты очутился тут? — В голосе — растерянность и настороженность.

Я объяснил.

— Мне надо в институт. У нас начинается сессия. Я заеду по пути, только ненадолго.

— На сколько можешь.

Как это было не похоже на безумие моих домашних. Мама восторженно-отчаянно напилась, у Верони не просыхали глаза, отчим, который никогда не пел по причине полного отсутствия слуха и голоса, так горланил с Кирой дуэтом про ерик, что наверняка распугал все сорок тысяч лошадей. Это была радость так радость! А Даша разговаривала со мной так, будто я вернулся раньше срока из подмосковного дома отдыха. Но ее холодная сдержанность не насторожила меня и не огорчила, я думал лишь о том, что сейчас увижу ее.

Она приехала не слишком скоро.

— У вас тут гулянье? — спросила она, закатив глаз.

— Да, выпили немного. Пойдем.

— Куда ты меня тянешь?

— А ты не понимаешь?

Я с какой-то грубой нежностью втокнул ее в свою комнату. Она показалась мне немного опухшей, похудевшей, что ей не шло, и вообще какой-то не такой. Я успел это увидеть сквозь обьавший меня отнюдь не тусклый огонь желания.

Диван стоял как раз напротив двери. Я толкнул Дашу на него, она упала навзничь. Я неуклюже, бестолково и не думая о предосторожностях, овладел ею. Это было словно не с любимой и не с женой, а со случайной девкой в подъезде или у водосточной трубы. Причиной тому избыток желания, и она могла бы это понять, но не захотела. Она поднялась с хмурым, оскорбленным видом, одернула юбку.

— Моя миссия выполнена?

— Я слишком соскучился, — пробормотал я.

Опять она закатила глаз, то ли у нее усилилась косина, то ли все, что шло от меня, вызывало недовольство.

— Мне пора в институт, — сказала она. — Увидимся вечером.

— Приходи сюда. Мама и отчим уйдут к Кире и там останутся. Мы будем одни.

Она чуть подумала и согласилась.

— А когда ты у нас появишься?

— Завтра.

— Завтра день рождения Сережи. Тетка что-то устраивает. Будет мама и мои новые друзья.

— Кто такие?

— Одного ты знаешь, Резунов, молодой прозаик. О другом я тебе писала — Стась, раненый летчик, мы познакомились в госпитале.

Я вспомнил Резунова — Илья Муромец с носом-кнопкой. Если б не нос, он был бы хоть куда: высоченный, плечистый, с серыми внимательными глазами, застенчивой улыбкой. Он всячески подчеркивал и свою простонародность, и свою былинность: носил косоворотку, кожух; проза его чуть отдавала Клюевым. Правда, я знал всего один рассказ. Меня позвали на литинститутский семинар, где он читал. Мне запомнилась фраза: «Задрала ногу чудо-девка, стон по лесу пошел!» Ногу она задрала вполне целомудренно, залезая на телегу. Его одноклассник, красивый юноша с пятнистым румянцем, сказал на слезе: «Старик, ты и сам не знаешь, насколько ты талантлив!» Остальные участники семинара были тоже потрясены. Герой молчал, только вздыхал и разводил руками, то был жест Островского, но слова великого драматурга, произнесенные после премьеры «Бедность не порок», остались в подтексте: «Простите, братцы, не я, Господь Бог писал моей рукой». Впоследствии, когда отпала былинная шелуха, он стал писать талантливые, крепкие рассказы. Я помог этому человеку, отнявшему у меня жену, издать книгу, написал похвальную рецензию и дал рекомендацию в Союз писателей. Насчет того, что он отнял у меня жену, это так, для красного словца. Отнять жену нельзя, женщина или хочет этого или не хочет. Если не хочет, то можно красавца Алена Делона помножить на миллиардера Теддера и еще на Нильса Бора, и все равно

ничего не выйдет, если женщина хочет, достаточно одного Резунова.

Он давно исчез, и я не знаю, жив он или умер. У него оказалось серьезное психическое расстройство, поэтому такого здоровяка не взяли в армию. Прежде я думал, что он такой же псих, каким я сам значился до контузий, но у него никто не сидел, он действительно был болен.

О летчике Даша мне писала. Он был поляком из Риги, они познакомились в госпитале, над которым шефствовал литвуз. Госпитальное знакомство продолжалось. Именно Стась, так его звали, перетерпев Резунова и мои пиратские набеги, станет Дашиным мужем, отцом ее ребенка. Он тоже умер несколько лет назад, я узнал о его кончине из газетного некролога. Был слух, что они с Дашей разошлись. Я пишу кладбищенский роман, почти все герои покинули свет. А давно ли все начиналось? Бог мой, как скоро ночь минула!

Но Стась был покамест в глубоком запасе, а на мое поле ворвался Илья Муромец, о чем я тогда не подозревал.

Вечером Даша явилась совсем другой, нежели утром: подмазанная, принаряженная, оживленная и ненастоящая, что я ощутил с присущей мне чувствительностью, тут же растворив в серной кислоте своего спасительного идиотизма. Она изо всех сил маскировала отчуждение, которое испытывала ко мне. Я одного так и не понял, было ли ее поведение результатом домашней разработки или она вела собственную игру, в которой присутствовал остаток прежнего чувства ко мне. Она решала ряд задач, одной из них — наименее важной — было проверить, сохранилось ли хоть что-то от былого чувства. Но даже если так, дух Анны Михайловны незримо витал над нами.

Ведь при всех обстоятельствах семья не ставила себе целью отделаться от меня любым способом. Цель была прямо противоположная: сохранить наш брак, но на совершенно иной основе. Резунов хорош был для былины, но не для дома Гербетов и вообще не для брачной жизни. Это о нем поется: «Ни кола, ни двора, зипун — весь пожиток». За минувшее время Анна Михайловна не превратилась в сентиментальную идеалистку. Покровительствуя роману дочери, она хотела

проучить меня, а главное, лишить той опоры, которую я всегда находил в Даше...

В тот вечер мы как будто связали прошлое с настоящим, все было, как встарь: ужин вдвоем, вино, разговоры, постель, вечность. Все на двоих, вечность — только мне. Вернувшись на землю, я закурил. Это было ново для Даши. Курить я начал в голодные дни — нас в наказание за разгром под Мясным бором превратили в часть Ленинградского фронта и сняли с довольствия. Ведь находившиеся в кольце блокады войска снабжались зимой по льду, летом по воде и воздуху. К нам вели три железные дороги, но военные чиновники о них словно забыли и перестали нас кормить. Я заметил, что курящие люди легче переносят голод, и закурил, благо запас курева у меня был.

— Дай мне попробовать, — попросила Даша.

Я дал ей беломорину, после двух затяжек она закашлялась, закатила глаз и сказала, что ей дурно. Шатаясь, прошла в ванную, там долго и тщетно давилась, а вернувшись, сообщила нечто ошеломляющее: «Я попалась». — «Как попалась?» — «Ты утром не пожалел меня, я забеременела». В нашей практике уже было бескровное лишение девства, сейчас к этому прибавилась молниеносная беременность. Даша была женщиной с парадоксальной физиологией. Как поступил бы на моем месте нормальный мужчина? Рассмеялся бы или, что более вероятно, набил морду. Как поступил я? Поверил.

Но, поверив, повел себя нелогично. Коль зачатие свершилось, в предостережениях не стало нужды, я же удвоил осмотрительность. Не хотел, видимо, углублять беременность. Что творилось в моей бедной голове? Что творилось в моей бедной душе? То же, что и всегда: растерянность и бессилие перед любимым человеком. Все, кого я по-настоящему любил, делали со мной, что хотели. Хорошо еще, что таких было не слишком много.

Во все мое оставшееся пребывание в Москве о беременности больше не упоминалось, а я деликатно не расспрашивал. Первую ложь вообще легко проглотить. Впоследствии она может сойти за шутку, розыгрыш, слуховую галлюцина-

цию, недоразумение, но если дать ей обрасти деталями и аргументами, гниль лжи невыносимо засмердит. Даша знала, что может заставить меня поверить во что угодно, но ведь я жил не в вакууме и вполне мог сказать маме, что ей предстоит стать бабушкой. И Даша села бы в лужу. Нет, в лужу сел бы я. Даша закатит глаз и скажет со вздохом: «Боже, как ты отупел на фронте, шуток не понимаешь».

Если же она действительно была беременна, то зачем было сейчас об этом говорить? Можно сказать через месяц, все выглядело бы вполне достоверно. Единственно разумное объяснение, которое пришло мне в голову только сейчас: своим заявлением она обеспечивала Илье Муромцу полную половую свободу. Богатырская натура не умела себя сдерживать, а на резинки у него не было денег. Аборт Даша таки сделала, по ее словам, о чем я узнал, уже порвав с ней.

Вся тьма, путаница, нелепость, в которую оказались вовлечены участники этой любовной истории, шли от того, что нашим маленьким оркестром дирижировала Анна Михайловна. Она была очень плохим дирижером, ибо думала не о музыке, а том, что стоит за пультом и палочка у нее в руке. Предоставленные самим себе, мы, наверное, как-то разобрались бы в своих отношениях, тут было много любви: и новой, и старой, а где любовь, там есть надежда на свет. Она же нас чудовищно запутала. Наверное, Даше следовало сказать мне все начистоту, я дал бы ей свободу, и тут открылось бы, что мы не можем друг без друга, ведь так оно и случилось, но по-дурному, по-низкому. Анне Михайловне очень захотелось, чтобы адюльтер происходил под прикрытием брака, ей нужны были мое унижение и абсолютная подчиненность дочери. Добилась же она прямо противоположного.

На следующий день я отправился к Дашиной тетке на день рождения Сережи, мальчика, который собирал колоски в истринском колхозе. Наверное, он был хорошим мальчиком, но я как-то проглядел его. У меня не было ощущения непрерывности его существования, мне казалось, что Анна Михайловна всякий раз создает его наново, как гомункулуса, для каких-то своих нужд. То он понадобился, чтобы стоять

в очередях, то для трудодня, а сейчас, чтобы ткнуть меня носом в моих могучих соперников.

У него нашлась еще побочная задача: помочь мне разыграть роль ветерана, испытанного мечом и огнем усталого воина, которому неуютно среди тыловых крыс, за крытым скатертью столом, бивуачному человеку, разучившемуся пользоваться вилкой. Мне бы выхватывать печенную в золе картошку струганой палочкой, обрезать кусок мяса у губ ножевым немецким штыком... Завороженный огромной штатской фигурой Резунова, я совсем забыл, что тут сидит настоящий, тяжело раненный воин Стась.

Сереза заинтересовался висящим у меня на ремнях наганом. Я был экипирован несколько причудливо. Кира достала мне в обмен на мою куцую шинелку длиннющую кавалерийскую шинель времен гражданской войны с длиннущим разрезом сзади и стрелами на обшлагах рукавов, поверх много мужественных ремней и наган в громадной кобуре. Я походил на стилизованного кавалериста из кинофильма «Щорс». Стась поглядывал на мою экипировку с добродушным удивлением, но Резунов был ошеломлен двойным величием воина и члена Союза писателей. Сереза, конечно, тянулся к оружию. Этот ужасный, никогда не чищенный наган-несамовзвод мне подарил Сева Багрицкий накануне своей гибели. Я стрелял из него дважды. В первый раз по немецкому подбитому бомбардировщику, ползшему над крышами Малой Вишеры и рухнувшему на окраине, естественно, не от моих выстрелов; второй раз в бою — по немецким танкам (!). Я закрывал лицо сгибом руки, боясь, что он разорвется и вышибет мне глаза. Сейчас я с серьезным видом высыпал из него пули и, обезопасив тем самым, дал поиграть Серезе. Все это было глупо, смешно, но как-то помогало терпеть двусмысленную и напряженную обстановку.

Никто не пил, хотя, как выяснилось впоследствии, оба жениха были выдающимися выпивохами: Стась — в прибалтийском туповато-выдержанном пошибе, а Резунов — в духе русского алкоголизма. Я лихо, «по-фронтовому» хватил две рюмки, но дальше заклинило, пить одному в компании невозможно. Сквозь густой туман, окутывающий мое созна-

ние в близости Даши, я начал что-то различать, и то, что я различал, мне не нравилось. Я, как Чацкий с корабля на бал, явился на этот тусклый праздник после десятилетнего отсутствия. Неужели так уж необходимо было это сборище? Сережин день рождения можно было отметить, пригласив его сверстников и накормив их касторовыми лепешками, омлетом из яичного порошка и тертой редькой — такова была спартанская закуска в этом бедном доме, да и откуда взяться другой, если Анна Михайловна не посчитала нужным расцветить стол дефицитами из своих закромов? Но смысл тут был — информативный. Меня не словесно, что слова — дым! — а визуально поставили в известность, как обстоят дела. Обычно сдержанная до суховатости на людях, Даша была раскованна, мила и даже весела, чего я за ней почти не наблюдал. Она купалась в мутных водах нашего обожания. Женихи сидели прямые, «как выстрел из ружья», и, не переставая, смолили самокрутки. Захлебный и торжествующий смех Анны Михайловны, не соответствующий унылой атмосфере, бил по нервам. Я не выдержал и под каким-то малоубедительным предлогом покинул компанию. Меня не удерживали...

Как странно, что эти важнейшие для меня дни, когда я терял Дашу, совсем не остались в памяти. А ведь был среди них и тот день, когда мы виделись в последний раз перед разрывом, происшедшим очень скоро, в мой непредвиденный приезд-проезд, но без свидания, по телефону. Столько мусора хранится в памяти, а слом жизни не сохранился.

Я «отметился» у Гербетов, провел там скучный, ничем не примечательный, какой-то мертвый вечер, переночевал, утром попил чая, Даша торопилась в институт — не было литвузе за всю его историю более старательной студентки, — я в ГлавПУР за своим ближайшим будущим. А затем уже полная тьма. Не может быть, чтобы мы больше не виделись, иначе я не позвонил бы ей, вернувшись через несколько дней в Москву. Знаю, что никакого объяснения между нами не было, даже намек на попытку разобраться в случившемся, но что-то такое было, если она не пошла меня провожать. То, что она пренебрегла традиционным жестом доброты, в котором, может, ничего и нет, кроме толики

почему-то нужного суеверия, говорит о многом. Значит, внутренний разрыв произошел? Наверное, хотя мы оба ни словом не обмолвились о своем отчуждении. Каждый делал вид, будто ничего не произошло: дела, дела, дела... У нее экзамены на носу, у меня свои заботы. В близком подтексте была лишь одна фальшь: двери нашего дома для тебя открыты, но ты предпочитаешь свою старую семью. Конечно, я хотел быть с ними, но и с Дашей, чему не было никаких препятствий, и Даша прекрасно понимала это, ведь Гербетты не изводились сердцем во время моего долгого отсутствия, как мама и Вероня. Но ей душевно удобнее было играть в обиду за свой дом. Впрочем, обида эта лишь подразумевалась, не выражаясь в словах.

Я вернулся в Неболчи — ПУ опять перебралось сюда, отдал обещанную водку отделу кадров и услышал неожиданное известие: меня отзывает ГлавПУР для нового назначения. Надежды работать в нормальной русской газете погорели, контрпропаганда цепко держалась за свои худосочные кадры. Быстрота, с какой пришел вызов, говорила о срочной нужде в таком незаменимом работнике, как я. Это и льстило, и огорчало. Значит, я едва успею заглянуть домой — и сразу в путь, в неизвестность. Признаться, военное будущее волновало меня куда меньше возможности хоть день провести со своими. Видать, надо прямо с вокзала ехать в ГлавПУР, но ведь я живу совсем рядом — была не была, пусть день, да мой! Обниму маму, Вероню, увижу Дашу, а там хоть на Страшный суд.

Эти бедные расчеты едва не рухнули на разбомбленной станции Неболчи: я чуть было не опоздал на поезд, идущий раз в три дня. Врач из санпропускника обнаружил на поясе моих воинских шаровар вошь и послал меня на обработку. Пришлось мчаться с двумя тяжеленными чемоданами — соратники нагрузили меня консервами для своих родных — через все пути в поезд-баню, а там раздеваться, сдавать одежду в вошебойню, имитировать мытье, невозможное по причине отсутствия холодной воды, вытираться, получать прокаленные, сухо-горячие вещи, одеваться, бежать назад к врачу, получать штемпель на литер, удостоверяющий мою стерильность. Я штурмовал поезд уже на ходу, швырнул

чемоданы в тамбур, ухватился за поручень и поймал ускользающую ступеньку.

О пути в памяти — мучительное, бессонное нетерпение, желание подтолкнуть поезд, натужно одолевающий медленно кружащийся однообразный пустынный пейзаж и вдруг застывающий на месте, словно в раздумье, стоит ли продолжать тяжелую и бесплодную борьбу с расстоянием. В исходе второго дня мы добрались до Дмитрова. Поезд шел не по расписанию, значит, я могу наврать в ПУРе, что ехал четыре дня, никто проверять не станет. И тут меня до смерти напугал подсевший в Дмитрове старлей. Он стал травить про зверства московской военной комендатуры. Вышел на днях секретный приказ забирать всех военных с просроченными командировочными предписаниями, а так же не носящих противогазы и через комендатуру отправлять на передний край. Бессмысленная и неудобная штука — противогаз у меня имелся. А вот командировочное предписание было составлено без учета реального движения поездов — я мог бы поспеть вовремя разве на довоенной «Красной стреле». Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест, день свой никому не отдам...

У Сивцева Вражка стоял патруль, я доехал до следующей остановки трамвая, у Кропоткинских ворот. И там был патруль, но на другой стороне. Я схватил свои чемоданы и на рысках помчался в спасительное устье Гагаринского переулка.

Не стану описывать слез Верони, с трудом пресеченных попыток мамы немедленно вызвать Киру и начать пир с «Темным ериком», мною владело одно желание: скорее увидеть Дашу. Что-то случилось со мной, отпало все дурное, я вновь исполнился веры в нашу бессмертную любовь. Я позвонил, долго никто не подходил, затем раздался сонный Дашин голос: «Слушаю».

— Это я! — закричал я с восторгом человека, принесшего счастливую весть. — У меня всего один день, и то незаконный. Отсылают на другой фронт. Я тебя жду.

Долгое молчание, затем:

— Лучше ты приходи... когда освободишься.

— Да я не занят. Просто боюсь засыпаться, на всех углах патрули, а у меня просроченное предписание.

— Так рано... — Даша зевнула. — Я плохо соображаю. Ты можешь перезвонить?

— Когда? — Убыль ничем не оправданного оптимизма я почувствую много позже.

— Ну, днем... Мне надо в институт. Ты забыл, что у меня сессия?

— По правде говоря — да! — сообщил я жизнерадостно.

— Ты всегда думаешь только о себе.

— Ладно. Я позвоню в два. Ты вернешься?

Ответа я не услышал, нас разъединили, а может, она положила трубку, считая, что мы договорились.

— Я пока свободен, — сказал я матери. — Зови Киру...

Водка хорошо скрадывает время, особенно под «Темный ерик». Примчался из своего Подколокольного отчим и сразу включился в хор. Вероня изжарила замечательную, большую, пышную, совсем довоенную лепешку, шипела и пузырилась яичница из настоящих яиц, и не из рузельтовских. В бедном доме не пахло касторовым маслом, здесь готовили на сливочном.

В начале третьего я позвонил Даше. Трубку взяла Анна Михайловна и сообщила, что Даша не сможет сегодня встретиться со мной, она пошла к подруге, чтобы вместе готовиться к ответственному экзамену. Я только сейчас обратил внимание на тайный яд этого сообщения: мне преподносилась та же ложь, что прежде Анне Михайловне, когда Даша встречалась со мной, — на свет появилась мифическая институтская подруга.

— Ей так важен этот экзамен?

— Она обещала Дявусе сдать его на пятерку.

— Анна Михайловна, вы понимаете, что говорите? Меня могут завтра отправить на фронт. У нас не будет другой возможности увидеться.

— Что вы на меня кричите? (Я говорил взволнованным, но тихим голосом — не хотел, чтобы унижительный разговор слышали.) Я-то тут при чем? Вы спросили, я вам ответила.

— Мне трудно поверить, что вы говорите всерьез. Даша всегда плохо училась, но ни вас, ни Дявусю это ничуть не волновало. С чего вдруг вам приспичило делать из нее отличницу?

— Вы что, выпили?

— Не ваше дело. Я больше не позвоню, и передайте Даше, чтобы она не смела звонить мне.

Вот так я расстался с Дашей — по телефону да еще через посредницу.

Конечно, я не уехал ни на следующий день, ни через день, ни через неделю, игра в оперативность кончилась, в дело вступил обычный серьезный бардак, который в военных структурах еще крепче узаконен, нежели в гражданских.

— А что вам?.. Отдыхайте, — потягиваясь, сказал мой пуровский шеф, полковой комиссар Беляев, человек редкой симпатичности и внутреннего покоя. — Мы вас вызовем. И давайте я вам сделаю пометку на бланке, чтобы вас не замели.

Почти две недели провел я в Москве, спел полсотни раз про «Темный ерик», получил в «Советском писателе» верстку своей книги и отдельно обложку, завел очень приятное знакомство с новыми мамиными друзьями — большой, сказочно обаятельной семьей, жившей поблизости от нас в Сивцевом Вражке.

Накануне отъезда вдруг раздался Дашин звонок. Наверное, я попался на глаза кому-то из общих знакомых.

— Ты еще здесь? — спросила она чуть иронически. — Значит, все было не так страшно.

— Да, отъезд задержался.

— И не счел нужным сообщить мне об этом?

— Нет. Это ни к чему. Все кончилось.

— Что кончилось?

— Все. Я ведь сказал твоей матери, чтобы ты не звонила.

И положил трубку. Ничто во мне не дрогнуло, мной владела спокойная и непоколебимая злость. Голос Даши был нейтрален, в нем не слышалось теплых нот, она не искала примирения, просто хотела определиться. Насколько серьезно приняла она мои слова, не знаю, но свободу на ближайшее будущее обрела. Она не сомневалась, что в случае необходимости может вернуть меня. Так ли она ошибалась в этом, покажет дальнейший рассказ.



На другой день я уехал на Воронежский фронт, откуда вернулся ровно через месяц в весьма неважном виде. Этот месяц прошел в темпе замедленной съемки, когда на экране действие обретает невероятную дергающуюся быстроту. Я оказался в плохой компании, хотя точнее — в очень хорошей компании связанных тесной дружбой людей, которым я был не только не нужен, но и опасен. Меня прислали на должность инструктора-литератора, которую занял без санкции ГлавПУРа один из этой компании, сразу скажу, работник высокого класса. Меня же, опять самовольно, определили на его должность переводчика, что было на ступеньку ниже. Поскольку фронт готовился к освобождению Воронежа и активных боевых действий не вел, пленных не было, и в отсутствии собеседников меня использовали в качестве радиодиктора, а иногда — в качестве машинистки; штатная машинистка, мордастенъкая, с теплым, добрым телом, была полезна отделу не за машинкой, которой почти не владела, другим своим, несомненным, умением. Случалось, меня посылали за водкой в райцентр, и там меня засыпало землей от разорвавшегося поблизости небольшого фугаса. А потом, во время рупорной передачи из ничьей земли, контузило серьезно — и на всю жизнь. Меня отправили во фронтовую госпиталь, после обследования — в Москву на комиссию, где я получил — уже без дураков — плохую психушную статью и направление в больницу имени Кащенко, откуда сбежал в тот же день, ибо ничего страшнее этого богоугодного заведения нет на свете (я говорю о том времени, возможно, сейчас это рай для сумасшедших). Два знаменитых профессора, психиатр и невропатолог, стали восстанавливать мне

душу в домашних условиях. Через два месяца я был в отличной форме, примерно в той, в какой находится петух, суматошно бегая по двору с отрубленной головой. Мне полагалась инвалидная статья. Я не устаю благодарить маму за то, что она удержала меня от горестной судьбы инвалида Отечественной войны. Она сказала: «Дело даже не в том, что замучают комиссиями-перекомиссиями, они тягают на проверку даже безногих, ты будешь придавлен своей неполноценностью. А ты забудь о статье, живи, как здоровый человек». Я так и сделал. Конечно, болезнь не заговоришь словами, она напоминала о себе, порой довольно жестоко, но с годами все реже и мягче. Я привык к ней, она — ко мне, мы зажили душа в душу. Для меня не в новинку было одолевать жизнь с черного хода, проще говоря, по блату, ведь и на фронт я попал не через парадные двери. Пришло время, и я по блату получил шоферские права, по блату доставал медицинские справки для зарубежных поездок, да и налоги теперь с меня дерут, как со здорового. От районного психдиспансера, где я числился на учете, никакой докуки не было, а с наступлением старческого маразма меня сняли с учета.

Вернемся в то время, о котором шла речь. Немного оклемавшись, я съездил от «Комсомольской правды» в Сталинград, который начали расчищать, в том числе от прятавшихся в подвалах обезумевших немецких солдат, а затем, переболев страшным сталинградским колитом от зараженной трупным ядом воды, стал одним из трех военных корреспондентов в штатском газеты «Труд» и, таким образом, снова зацепился за войну.

Нездоровье скрадывает время, избавляя от ненужных мыслей, еще надежнее, чем водка. А потом меня захлестнула суета устройства, поездок, срочной работы, внутренняя остановка произошла где-то в начале холодного, сырого, черного апреля, похожего не на весенний месяц, а на раннюю февральскую ростепель. И наступило то чувство, которое сродни ностальгии, только не по родине, а по человеку, по всему, что он внес с собой в твою жизнь. Наверное, это имел в виду Пастернак, когда писал о своем умершем родствен-

нике-музыканте: «Черты в две орлиных дуги несли на буксире квартиру, обрывки афиш и цветы и приторный запах эфира». У эстонцев есть хорошее, короткое, гриновское слово для обозначения такой вот тоски, от которой выть хочется, но я его забыл.

«...к дому на Зубовском у него были другие вопросы...

Это очень большой по тем временам, П-образный семиэтажный кирпичный дом, построенный в середине тридцатых годов. Внутреннюю часть буквы «П» составлял обширный двор, посреди находился сквер с тощими липами, лавочками, деревянными грибами, беседкой и площадкой для детских игр, обнесенный низенькой оградой. Старые московские дворы поэтичны, этот двор, предтеча бесконечных безликих, скучных дворов новой московской застройки, был начисто лишен поэзии, хоть какой-то зацепки для лирического чувства. Дашина семья жила на первом этаже в левом крыле дома. Окна располагались довольно близко к земле, и, став на цыпочки, можно было заглянуть в комнаты, поэтому окна всегда оставались зашторенными. Все равно можно было исхитриться и ухватить глазом какие-то предметы обстановки в Дашиной комнате: люстру с матово-молочным колпаком, ее семнадцатилетнюю фотографию на стене — возраст первой любви, угол платяного шкафа; иногда, если шторы задергивали небрежно, приоткрывалась другая часть комнаты с книжной полкой и кокетельской акварелью Волошина. Но, как он ни тщился, ему ни разу не удалось увидеть краешек дивана, перед которым он стоял на коленях. Кроме дивана, его ничто не волновало в Дашиной комнате, ибо тут все было нейтрально к ее личности. Пейзаж Волошина ее не трогал, в нем не было кокетельского солнца, покрывавшего ее каждое лето плотным шоколадным загаром. Фотографию свою она не любила, как напоминание о том, что хочется забыть. Карточку нашел и повесил на стену он. Даша вначале недовольно кривилась, потом перестала ее замечать. Она была интимно связана не с обстановкой, которой распоряжалась ее мать, а с одеждой, любя дома теплое, мягкое и уютное: платки, чесанки, стеганые халаты, высокие войлочные туфли, а на выход — вещи яркие, броские, придававшие

ей уверенность. На людях она была довольно молчалива и, пожалуй, застенчива, одежда как бы возмещала недостаток апломба. Поэтому он не часто заглядывал в Дашину комнату.

Его привлекал самый дом тем волнением, которое он испытывал в счастливые времена, приближаясь к нему. Он жил неподалеку, у Кропоткинской площади, но почему-то всегда ехал сюда на трамвае. До войны москвичи не любили ходить пешком, даже одну остановку стремились проехать на трамвае, пусть висят на подножке.

Он отправлялся на свидание с таким чувством, будто оно обязательно не состоится. Сумеет ли он доехать, ведь от Кропоткинской до Зубовской площади дальше, чем до самой далекой звезды. Трамвай сойдет с рельс, он попадет под машину, случится землетрясение, и на месте Дашиного дома останутся развалины. Фашисты без объявления войны разбомбят Москву, хулиганы с Усачевки всадят ему в спину нож, его не впустят в дом за неведомую страшную провинность. Даша заболела, умерла, вышла замуж. И странное дело, последние, более возможные причины его провала волновали меньше, чем глобальные катаклизмы, главное, чтобы дом уцелел. Если дом на месте, то не все пропало.

Трамвай трясся по длинной Кропоткинской улице, обстроенной старыми особняками. Одни здания несли в себе надежду, другие вещали о беде. Дом ученых, вечером хорошо освещенный, закручивающий вокруг себя малый людской водоворот, был добрым знаком, каланча же пожарной части своей угрюмостью и настороженностью обрывала сердце дурным предчувствием, но если успеть поймать вторым зрением Музей западной живописи по другую сторону улицы, то угроза смягчалась, чтобы начать новое стремительное нарастание в обставе высоких безобразных домов близ Зубовской площади.

Он соскакивал на остановке, темное ущелье Кропоткинской оставалось позади, впереди открывался широкий просвет от площади к Хамовникам, возвращая надежду. Он перебежал улицу. Здесь на углу находилось становище седоусого айсора в кубанке с вытертым овечьим мехом. За его спиной змеились черные и коричневые шнуры, посвер-

кивали баночки с гуталином, свисали аппетитные гроздья стелек, жесткие щетки на ящике с подставкой для ноги обещали навести глянец на весь мир. Вкусный запах сапожной мази оборачивался гарантией успеха, весь последующий путь страхи отпадали, как увядшие листья с капустного кочана. Он уже знал: дом на месте, и сейчас ему откроет дверь Даша в шерстяном или шелковом платке на плечах, аккуратных валеночках или войлочных туфлях, такая уютная, милая, родная, враждебная лишь косиной правого глаза, которая пройдет, как только она убедится, что он не стал чужим. Он любил эту некрасивую косину, потому что то была примета ее заинтересованности в нем...

...И вот сейчас, повторяя ритуальный свой, теперь уже бесцельный маршрут (по-прежнему — только на трамвае), он испытывал все те же чувства: волнение, ожидание беды, нежность к Дому ученых, страх перед пожарной каланчой, подавленность от высоких безобразных домов с приближением к Зубовской площади, подъем духа в виду просвета Хамовников и все усиливающуюся веру в удачу от становища айсора (война не сдвинула его с места) до подъезда, но, не дойдя двух-трех метров, он расшибался о пустоту, как птица о стекло витрины, с ощущением не воображаемого, а физического удара.

Зачем он ходит сюда? Он не знал. Вот ведь дичь — ему притягателен этот бездарный, безликий дом с жидким сквериком и детской площадкой, отбивающей охоту вернуться в детство. Если бы он мог понять то темное и не желающее самоопределиться чувство, которое гнало его сюда, возможно, он избавился бы от недоумения, в которое повергло его предательство Даши. Много слов для нее не было. Ведь оба они считали, что это на всю жизнь, что им невозможно и ненужно врозь. Они были так полны друг другом, что в эту цельность не могло проникнуть ни постороннее чувство, ни посторонний человек. Все, что не их спай, — так нище, холодно, ненужно! Порой ему казалось, что она тоже мучается бессмыслицей, разорвавшей единое и неделимое. Но ему ни разу не пришло на ум встретиться с ней, объясниться, не было так силы, которая могла бы вернуть

к ней. Так чего же он добивался своим паломничеством к ее дому? Может, просто воскрешал прошлое, еще не обесцененное настоящим? Но почему такое простое и естественное объяснение не приходило ему на ум? Скорее уж, он ждал какого-то чуда. Но не чуда возвращения к ней, а чуда освобождения от нее. Ему хотелось увидеть дом не воплощением тайны, а чем он был на самом деле: огромной, унылой коробкой, где продолжала жить ставшая ненужной женщиной...»

Так я писал когда-то об этой поре моей жизни, писал с ощущением полной жизненной правды. И все же проговорился сомнением в ней словечком «он». Почему я прибегнул к третьему лицу, если писал о себе? Потому что нет во мне довлатовской свободы в обращении с материалом собственной жизни. Кажется, что Довлатов насквозь, до мельчайших подробностей, автобиографичен, что каждая его повесть — фрагмент жизни автора. Но попробуйте сложить эти фрагменты в единую картину — ничего не получится. Об одном и том же — ключевом — событии: встреча с будущей женой, отъезд на «историческую родину» в США и прочее — он всякий раз рассказывает по-другому. Иногда кажется, что у него было несколько тихих, равнодушно очаровательных жен, несколько отъездов в эмиграцию. А как все это выглядело на самом деле, он, похоже, и сам не знает, ибо что такое «на самом деле»? Ведь спроси его жену о тех же событиях, и окажется, что она помнит их на свой лад, ее «на самом деле» не совпадет с довлатовскими вариантами. И дело не в том, что память человеческая несовершенна, а в том, что воспоминание у любого человека, тем паче писателя, — это творческий акт. Воспитанный в школьных правилах социалистического реализма, я против воли стремлюсь к сомнительной цельности, единообразию, когда рассказываю о себе, и беспомощно хватаюсь за «он», если пережитое возникает в новом ракурсе и освещении.

Я знаю точно, что проделал описанный выше маршрут, но, кажется, всего лишь однажды, правда, в другой раз я подошел к заветному дому со стороны метро «Парк культуры», нарочно проехав свою остановку. Но сколько раз я

повторял мысленно тот короткий и бесконечный путь, что был некогда путем к счастью! Значит, не нужно никакого «он», это я раз за разом садился в трамвай у Кропоткинской площади и ехал в недостижимую страну своего прошлого...

А потом позвонила Даша и попала прямо на меня. Я не ждал звонка, не был готов к разговору, а главное, не мог понять, нужен мне ее звонок или нет. Ведь тосковал я по той Даше, что осталась в прошлом, а не по той, чей знакомый и чужой голос доносился из трубки, не волнуя, не радуя, не умиляя, но все-таки тревожа. После каких-то незначущих фраз она сообщила, что сделала аборт. Я промычал что-то нечленораздельное. Но ей удалось поймать доверительный, чуть печальный, дружеский тон, а я уподобился актеру, не выучившему роли. В этом было что-то унижительное.

— Ты не хочешь меня увидеть? — спросила Даша.

— Зачем?

— Разве мы не можем остаться друзьями?

— Можем, наверное.

— Ты пишешь для себя?

— Да. Вот о тебе написал.

— Ты дашь мне прочесть?

Я подумал и ответил утвердительно.

— А где нам увидаться? — спросила Даша.

— Приходи ко мне.

— Нет. Сейчас не время. И у меня не надо. Давай — на ничьей земле.

— Можно у Киры Архангельской. Она даст мне ключ.

— Хорошо.

И мы встретились. Едва она вошла, я сразу, чисто рефлекторно, хотел ее обнять. Она не резко, но холодно и как-то обидно пресекала мою попытку. Даша очень изменилась: похудела и при этом обабилась. Слишком напудренное, поглубевшее лицо утратило прежний смугловатый оттенок. В Даше появилось что-то простонародное. Она не нравилась мне, но все равно вызывала желание. Вспомнилось погодинское: «Быть тебе только другом я не могу, о, нет». Даша затеяла со мной жестокую игру. Желание возбуждали ее бедра, колени, ноги, надо смотреть не вниз, а вверх, на ее

мучнистое лицо. Простонародное появилось в Даше не случайно, женщина произвольно принимает тот образ, который желанен близкому ей мужчине. Эту Дашу сформировал чернососный Резунов. Раздражение помогло мне собраться.

Я прочел Даше небольшое, страниц на шесть, произведение, посвященное моей любви к ней и нашему разрыву. Так, как написан этот кусок, я тогда не умел писать. Отчим без моего разрешения дал прочитать Андрею Платонову. «Он и все другое так пишет?» — озабоченно спросил Андрей Платонов. «Нет, — честно ответил отчим, — другое — хуже». — «То-то!» — со странным удовлетворением сказал Платонов. Сохранись фрагмент, я дал бы его в эту книгу, но он пропал так же загадочно, как и многое другое, принадлежащее мне, после смерти матери. Сила владевшего мною чувства нашла в нем необходимые, быть может, единственные слова. И все же удивительно, как я отважился прочесть Даше свое проклятие сквозь слезы. Особенно жестоко обошелся я с ее матерью. Даша выслушала все с завидным хладнокровием, думается, она не столько слушала, сколько пропускала мимо слуха, как нечто мешающее ее намерениям. Она уловила главное: из равнодушия не может родиться такая ярость.

Наше свидание напомнило мне давнишнюю и ужасную встречу Нового года в Подколокольном переулке. Тогда Даша изменила первоначальному намерению, сломала ею же задуманное и обрекла нас на взаимное мучительство из любви к матери — сохранила ей верность. Сейчас она замыслила нечто вроде разведки боем — с прямым выходом на противника. С какой целью? Понять — осталось ли хоть что-то от ее власти надо мной? Быть может, она сознавала, что осыпался ее вешний цвет, и хотела проверить, чего теперь стоит? Нет, это чушь. Укутанная в овчины резуновского обожания, она не могла так думать. Пройдет несколько лет, и к Даше вернется та «прелесть утреннего часа», что оведала ее голову в Коктебеле. Климат Резунова почему-то действовал на ее внешность, но сама она о том не догадывалась.

Я никак не мог понять, зачем понадобилась ей сухая, натянутая, полулитературная встреча. Кирину квартиру можно было освоить с гораздо большей пользой, но Даша сразу, ясно и жестко показала, что на это нечего рассчитывать. Теряясь в темных закоулках ее души, я по обыкновению стал искать разгадку в Анне Михайловне, в ее сложных жизненных расчетах. Возможно, Даше ничуть не нужна эта встреча, но, как и в прежние времена, она подчинилась нажиму матери. Даша вообще охотно уступала ей по неглавной линии, легко сдавая ненужные позиции, а в том, что действительно важно, уступала при сближенности желаний.

У Анны Михайловны было прочное жизненное правило: не терять друзей. Несмотря на возникавшие время от времени сложности — изгнание Пастернака за нелюбовь, а Вильмонта за сплетни, — она сохранила весь киевско-ирпеньский круг, не потеряв никого. Шло ли это от жизненной практичности: старый друг в самом деле лучше новых двух, или от лирического чувства, вовсе не чуждого ее большой и сложной душе, не столь важно. Анна Михайловна не разбрасывалась людьми, если они приживались к ткани гербетовского быта. Я вполне допускаю, что, обозрев уже долгую историю наших отношений, она решила не вышвыривать меня на помойку: испытанный человек всегда может пригодиться. У меня мелькнула мысль, что к этому примешивалось некоторое разочарование в былинном Резунове, но тут я глубоко ошибался (как и во всем прочем) — семья переживала пору наивысшего восхищения богатырем.

Даша, к моему облегчению, вскоре заспешила домой. Мы попрощались, тщетно пытаясь выдавить из себя хоть какие-то знаки взаимного расположения. Она выглядела лучше в этой томительной психологической борьбе, ей достаточно было опустить веки с большими ресницами, и лицо обретало глубокое и печальное выражение, говорящее о тайне, я же оставался весь на виду с пустой, бессодержательной ряской и неловким, скованным телом.

Даша ушла, а я прилег на тахту, как-то вяло пытаясь понять, во что меня опять вовлекают. Я курил папиросу за папиросой, но никакого озарения не приходило. Спуститься

вниз, где играли в преферанс либо пели про темный ерик, не хотелось.

Я обманывал себя надеждой, что за истекшие с нашего разрыва месяцы сделал большой шаг на пути освобождения от Даши: научился быть с другими женщинами. И первой оказалась та самая Оськина знакомая, которая так откровенно пыталась соблазнить меня. Я ей сам позвонил, и она восприняла мой звонок настолько естественно, без следа удивления, будто после нашей единственной и весьма неудачной встречи прошла неделя, а не годы со страшной, все еще длящейся войной. «Да, милый, куда вы запропастились?..» Хорошо, что в мире существуют нетребовательные и необязательные женщины, не предъявляющие никаких требований ни к себе, ни к другим, кроме требований плоти, которым они подчиняются безоговорочно. Эта милая женщина сразу избавила меня от неуверенности, сопутствующей слишком долгой привязанности к одному объекту. Кавалер де Грие не только от заикленности на Манон и чистоты души не мог принять утешения от ее подруг, он думал, у него ничего не получится. Профессионалка страсти уверенно вывела меня на путь греха, с которого я не сходил в ближайшие четверть века. Точнее сказать, она навсегда освободила меня от ощущения греха своим поведением, а главное, правдивыми рассказами о наших общих знакомых, поголовно погрязших в свинстве. И оказалось, что это свинство прекрасно уживается с супружеской любовью, преданностью, взаимным уважением, дружбой и другими прекрасными человеческими качествами.

А сейчас, так и не разобравшись в затеянной Дашей новой игре, я лишний раз убедился, что ни славная моя наставница, ни другие милые — каждая на свой лад — женщины не могут при всем своем искреннем старании заменить мне одну подурневшую Дашу с мучнистым лицом. С той ее прелестью, что продолжала жить во мне, ничего не могли поделать все дурные ухищрения грубой реальности. Живая Даша скорее мешала моей любви...

Жизнь продолжалась, смерть продолжалась. Я ездил на фронт и на освобожденные земли, возвращался, писал, встре-

чался с людьми, довольно много пил, но во мне ничего не менялось. Я мог вовсе не думать о Даше и все равно страдал. Это стало моим обычным состоянием, я сжился с ним, как человек сживается с раком, если тот не слишком спешит, с килой, горбом, тяжесть этих чуждых изначальной природе надбавок всегда с тобой, но ты дышишь, передвигаешься, делаешь предназначенное тебе дело, гуляешь по праздникам.

И опять прошло время. Даша позвонила и сказала, что надо оформить развод. «Ты выходишь замуж?» — спросил я. «Нет, но глупо ходить в соломенных вдовах». Я не знал, что такое «соломенная вдова», не знаю до сих пор, но аргумент показался мне убедительным. Мы встретились около загса в Чертольском переулке и начали прохаживаться взад-вперед, болтая о всякой чепухе, вместо того чтобы сразу покончить с делом.

Даша похорошела, стала приветлива, оживлена, она надела свой старый синий габардиновый плащ, который я увидел на ней в нашу первую весну и очень любил. Он был на Даше, когда мы ходили сниматься к знаменитому фотографу Наппельбауму на Петровку. У дверей учреждения, которое прекратит наш брачный союз, мы испытывали прилив доверия друг к другу, прежнюю легкость, даже родность. Ведь нас столько связывало: воспоминания, общие дружбы и общая боль о погибших. Без усталости мерили мы шагами тротуар от Кропоткинской до Гагаринского, но знали, что все равно не отговориться, не заполнить словами то долгое молчание, которое воцарилось между нами с последней, тягостной встречи у Киры. Когда мы опомнились, загс закрылся.

— Ну что ж, — с комическим разочарованием сказала Даша, — придется нам прийти сюда опять. Завтра я занята, послезавтра ты можешь?.. Давай в три часа, сразу после перерыва, когда меньше разбитых сердец.

Точное наблюдение: люди охотно разводятся с утра, а расписываются во второй половине дня. В пору нашей молодости загсы одновременно работали в оба конца: на соединение и разъединение, впоследствии эти функции разделили. Очевидно, людям душевно удобнее развестись

пораньше и в дневной суете утопить тягостное ощущение, равно удобнее расписаться попозже — и сразу за свадебный стол. Тогда не было увитых лентами машин и блядских целлулоидных кукол на передке, поездок к могиле Неизвестного солдата и на Воробьевы горы, жили проще: расписался — и сразу пьянка.

Когда-то мой отчим Як. Рыкачев в повести «Похороны» произвел социально-психологический анализ обряда советских похорон. Загс не менее интересная тема. Я не обладаю качествами аналитика, поэтому ограничусь некоторыми соображениями. Почему-то в отдел регистрации браков набирали самых безобразных и злых баб того сумрачного возраста, когда окончательно убита надежда, но тлеет тусклый огонь вожделения. Грубостью и приказательностью тона служительницы Гименя могли поспорить со всесильными продавщицами продовольственных магазинов. В отделе расторжения уз действовали юные, хотя и не слишком любезные девицы, которым ежедневно давался урок бренности бедных человеческих надежд. Тут не могло быть случайности. Негласный обычай входил в систему государственного подавления личности. Институт брака, вопреки всем однообразным и тупым предсказаниям антиутопистов, осталась при социализме и сохранила свой независимый от власти характер. Государство — за редким исключением — не могло ни предписать вступить в брак, ни повелеть развестись. Более того, и в обозримом будущем не светила выдача мужей и жен по талонам. И коль государство вынуждено было мириться с чудовищным своеволием, тлетворным, враждебным светлому будущему духом индивидуализма, оно старалось сделать максимально невыносимыми, отвратительными акции, потворствующие мятежному духу граждан. Пусть помнят и в минуты мнимой свободы, что они ничто, плевков, всхарк, который растопчет державная нога. Этим же объясняется, почему к разводящимся относились чуть милостивей: те испытали на собственной шкуре и показали другим, к чему приводит самоуправство.

Мы получили свою порцию хамства, но весьма умеренную: не так подошли, не так встали, застим свет, переговариваем-

ся, — мы извинялись и спешили исправить оплошность. Но когда маленькая, пухленькая, со щечками, похожая на лютую морскую свинку девица, глядя в брачное свидетельство, спросила, кто из нас Гербет, я не выдержал: «Я — Гербет Дарья Владимировна, а она — Нагибин Юрий Маркович». Девица раскричалась, брызгая слюной, что не будет нас «оформлять», выскочила из-за стола и убежала. Те из окружающих, что были свидетелями этой сцены, тут же приняли ее сторону — холуйство советских граждан перед властью равно их презрению друг к другу. Наконец девица вернулась, что-то дожевывая, и разорвала «два стальных кольца».

Мы вышли из загса и побрели в сторону Дашиного дома. Мы шли, то и дело останавливаясь, чтобы попрощаться, но всякий раз, не сговариваясь, шли дальше. Миновали Дом ученых, пожарную часть с каланчой, увидели просвет Зубовской площади и решили, что я провожу Дашу до дверей.

Почему-то разговор повернул на Резунова. Полагаю, инициатива принадлежала Даше, меня литературный богатый не больно занимал, ибо я недооценивал его значения в Дашиной, а следовательно, и в моей жизни.

Даша говорила о нем с придыханием, как говорят о чем-то не вполне постижимом человеческим рассудком. Он был воплощением подвига. Когда наступили крещенские морозы и кончились дрова для печурок на тощих московских рынках, Гербетов лишь по отсутствию среди них дровосека чуть не разрубили на топливо кухонный табурет. «Ты мужчина или нет?» — кричала Анна Михайловна на Августа Теодоровича, неумело и опасно жалеющего ножку табурета тупым лезвием колуна. И в эту минуту в дверь что-то толкнулось. Гербетов молча переглянулись — время приближалось к комендантскому часу, когда не ходят в гости. Слабо охнув, Гербет скрылся в уборной, Анна Михайловна закрыла лицо ладонями, собирая себя для новой борьбы с судьбой. Наиболее хладнокровная, Даша пошла и открыла дверь. Там стоял заснеженный смеющийся Пастернак, а над ним высилась гора из снега, створки ворот и человека. То был

Резунов с топливом на плечах. Он сорвал створку на Усачевке, где было много деревянных строений, и притащил на спине сквозь стужу, метель и воинские дозоры, защищающие город от лихих людей, столкнувшись у гербетовских дверей с жившим у них тогда Пастернаком.

Конечно, все были потрясены таким доказательством любви, силы и бесстрашия. Особенно шумно восхищался Пастернак и даже сделал попытку поднять ворота, но это оказалось непосильным его крепкому, мускульному телу.

Оказывается, Пастернака угощали и творчеством Резунова, которое, как я понял, ценилось у Гербетов неизмеримо выше моего. В Резунове зрилось могучее, земляное, исконно русское начало, его прозаические былины смешно сравнивать с худосочными поделками маменькиного сынка, вскормленного на тощей ниве интеллигентского бумагомарания. Конечно, Даша не произносила никаких обидных слов в мой адрес, она даже не восхваляла Резунова, только, говоря о нем, распахивала свои чудесные светло-карие глаза, будто пыталась охватить огромность этого человека, могучего и щедрого, как сама природа.

Сопrotивляясь тому впечатлению, которое произвел на меня Резунов в Дашином изображении, я подумал о его странном сходстве с врагом музыкального сумбура Резниковым. Они были совершенно разные, но чем-то схожи: неинтеллигентностью, чужеродностью миру Гербетов. И отсюда их пленяющая сила. Гербеты, несмотря на свои русские паспорта, были иностранцами и боялись народа, в котором им приходилось жить. Даже сравнительно цивилизованный Твардовский их пугал, что же говорить о таких стихийных натурах, как Резников и Резунов. Гербетам хотелось народного покровительства, а в русских интеллигентах они видели такую же тварь дрожащую, как они сами и все их привычное окружение. Это относится прежде всего к старшему поколению и духу семьи, несомненно, влиявшим на Дашу и укреплявшим ее в очарованности витязем Резуновым.

— Ты что, живешь с ним? — несколько неожиданно для самого себя спросил я.

Она как-то странно сложилась, будто я ударил ее в грудь.

— Да, конечно... сейчас...

Она посмотрела на меня и разрыдалась. Какое же у меня было лицо? Убейте меня, я не сомневался в отрицательном ответе. Если б не было китайской оперы «Исповедь идиота», я так назвал бы эту книгу. Чем объяснить мою противоестественную слепоту? С одной стороны — памятью о том, как мучительно трудно было мне взять эту крепость. С другой — свежей памятью о том, как непросто было мне переступить черту, а я считал себя куда испорченней и ниже ее. Я не допускал, что Даша при ее гордости, даже высокомерии, холодности, выдержке и брезгливости пойдет на близость с человеком, который всегда будет для нее чужой кровью.

Почему завела Даша похвальную песнь Резунову? И как случился ее последний ответ? Ведь она умеет врать, когда надо. Как ни странно, ею двигали честность и порядочность. Она открыла мне все карты. Я потерял ее не по капризу, ее поведение не было данью военной распущенности, за ним стояло сильное чувство, которое расширяет человека, как гром, и ничего тут не поделает. Но она не поддалась сразу, она берегла наше, столь трудно нажитое; ворвавшийся в ее существование человек заплатил по всем счетам любовью, преданностью, терпением, подвигами, он — не знак настырной мировой суеты, а большой, самобытный талант, яркая личность, признанная самим Пастернаком. Я не могу чувствовать себя униженным случившимся, была сыграна высокая человеческая игра достойными партнерами. Игра не кончена. Даше хотелось, чтобы я взял на себя роль благородного друга.

Первоначально ей рисовалось классическое трио, которое так дивно и убийственно изобразил Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях». Даша не читала этого произведения и не знала, что Достоевский уже все придумал за нее. Он писал о французах. Треугольник состоял из жены — очаровательной Мабиш, мужа Бри-Бри, доброго и снисходительного увальня, и любовника Гюстава, основное качество которого — благородство. Гюстав так благороден, хотя не понять, чем именно, что вызывает у окружающих слезы умиления. Бри-Бри вовсе не дурак, не водевильный околпаченный муж, он все понимает и потому прощает, у него

огромное сердце, и он так любит Мабиш, что переносит часть любви на Гюстава. Вот чего хотелось Даше, вот для чего она звонила, спровоцировала встречу у Киры, заговорила меня, чтобы оттянуть развод, она надеялась, что во мне проснется Бри-Бри. Но мы все-таки развелись, и Даша быстро пересмотрела схему: Бри-Бри становится преданным другом. И бац — мой неожиданный глупый вопрос. Она не сомневалась, что я все знаю, их отношения с Резуновым ни для кого не были тайной. Она сказала правду от растерянности, в какую поверг ее мой идиотизм. И зарыдала не только от жалости ко мне, увидев мое опрокинувшееся лицо, но и от досады на себя, что так глупо проговорилась. У нее была возможность для долгой и тонкой лжи ради превращения меня в модификацию Бри-Бри, и она все погубила нечаянным проговором правды. Тут не было ничего плохого, напротив: Даша не хотела, чтобы я выпал из кузовка, как лишний гриб, я был душевно нужен, она не зачеркивала прошлого, которое мощно жило в ней, навсегда войдя в состав меняющегося настоящего. Это было почти как любовь, я мог бы гордиться такой привязанностью, если бы смотрел на жизнь ясным, трезвым взглядом, а не сквозь белесый налет идиотического доверия.

Даша не ошибалась, полагая, что я продолжаю любить ее, она ошибалась лишь в окраске этой любви. Ей казалось, что, пройдя все испытания и бури, моя любовь стала тем тихим, но прочным чувством — в чем-то и требовательным: нужны встречи, разговоры, поверение тайн, вздохи о минувшем и высокое смирение перед настоящим, — которое она испытывала ко мне. Она не понимала, что я люблю ее по-другому — страстью. Моя любовь к ней могла стать — и стала в свой час — помойкой, но не могла стать «вежливым гавотом» или «соловьиным скитом», на это я не был способен. А Даше хватало темперамента, чтобы понять мою обреченность только на такую любовь к ней...



Напрасно думал я, что между нами все кончено. Я настолько уверился в окончательном разрыве, что даже женился. Даша откуда-то прослышала об этом неярком событии и позвонила поздравить меня. Голос был исполнен тепла и какого-то милого, чисто женского любопытства. Я сказал, что, к сожалению, ничего интересного о случившемся событии рассказать не могу, после чего Даша пригласила меня в гости. «Знаешь, мама обижается: почему Юра никогда к нам не зайдет? Все-таки не чужой». Я так изумился, что чуть не на другой день примчался к Гербетам. То был необычайно тусклый визит с неожиданно ярким финалом. Настроившись на родственность, которую обещало Дашино приглашение, я не расшибся, для этого недостаточен был разбег, но уперся в равнодушные людей, поленившихся проявить хоть искусственную душевность. От Гербета я ничего не ждал, но с Анной Михайловной нас все-таки крепко связала долгая взаимная неприязнь. Поскольку сейчас повод для нее отпал, это сильное чувство приняло во мне оттенок расположения, близости. Но ответного тока я не почувствовал и пребывал в неловком положении воюющей страны, односторонне прекратившей огонь. Но что-то все-таки тут произошло. Возможно, потускнел жемчуг отношений Даши с Резуновым, и деятельная, вечно ищущая мысль Анны Михайловны

принялась обшаривать далекие горизонты, — дом Гербетов показался мне не монолитом, как я ждал, а студнем, хотя и хорошо застывшим.

Не понимаю, почему у нас не оказалось темы для разговора. Я со своими поездками, с той незнакомой Гербетам околоправительственной средой, куда меня занесло женитьбой, являлся источником довольно интересной информации, но вопросов ко мне не было. Об их житье-бытье я знал от Даши. Мы сидели, пили чай с теми же касторовыми коржами, что и в начале войны, возможно, они сохранились с тех далеких дней, и вели какие-то ватные речи. Самый воздух казался мне ватным, горло, грудь, бронхи забило ватой, было трудно дышать. Мне в голову не могло прийти, что Анна Михайловна получала от меня необходимые ей сведения. «У вас все здоровы?.. Как настроение у Ксении Алексеевны?.. Вера Ивановна еще скрипит?.. Вы часто бываете с ними?.. Семья по-прежнему дружна?..» Я-то слышал в этих изредка роняемых вопросах вялые усилия вежливости, а тут таились смысл и весьма далекий расчет. Истина открылась мне много позже.

Вдруг эта вата разом вспыхнула и сгорела дотла, оставив по себе бодрящий горьковатый запах и несколько лепестков гари — явился почему-то вновь живущий у Гербетов Борис Леонидович Пастернак. Он вошел, с порога рокоча, гудя, рассыпая улыбки вместе с огромными желтыми зубами, не державшимися в деснах, мощный, бодрый, свежий, заряженный жизнью. По его сердечному — впервые — рукопожатию я понял, что ему разонравился Резунов, если вообще когда-то нравился.

— Вы были на лобном месте? — спросил он с ходу.

Я не понял. Оказывается, он имел в виду состоявшуюся накануне проработку Зоценко за повесть «Перед восходом солнца» в Союзе писателей. То была генеральная репетиция последовавшего вскоре уничтожения великого писателя. Уже тогда я не посещал гнусных писательских сходок, но мой отчет был там и подробно все рассказал. Больше всего удивляло и огорчало предательство Виктора Шкловского, друга и соратника Зоценко по «Серапионовым братьям»,

которого я привык чтить за ранние книги: «Гамбургский счет», «Зоо», «Третья фабрика». «Витя, — потрясенно сказал после его хлесткого выступления Михаил Михайлович, — но ты же совсем другое говорил мне в Ташкенте». — «Я не попугай», — осклабился большой карлик, как прозвал его Катаев, и обласкал пухлой рукой голый блестящий череп. «Боже, как вы злы, беспощадны и несправедливы!» — были последние слова Зоценко в литературном застенке.

Я передал Пастернаку в подробностях рассказ отчима. Борис Леонидович пришел в сильное возбуждение, сообщившееся Гербетам, которые слушали меня со скучными лицами. Но Боренька взволнован, Боренька возмущен — все обязаны разделять его чувства.

— Еголин, скотина, звонил мне вчера утром и уговаривал прийти на обсуждение. «Это очень важно», — говорил значительным голосом. Вот наглец.

Руки Пастернака обшаривали карманы пиджака, брюк, наконец нашли какую-то бумажку, и он кинулся к телефону.

— Как вы осмелились приглашать меня на это позорище? — громово разнеслось по квартире. — Это гадость, слышите, гадость! Так обращаться с писателем. И не смейте мне больше звонить! — Трубка шмякнулась на рычажок.

Борис Леонидович вернулся в комнату, плотоядно улыбаясь.

— Боренька, вы погубите себя и всех нас, — сказала Анна Михайловна, испуганная ничуть не больше, чем во время бомбежек.

Еголин в ту пору ведал литературой в ЦК.

Гербет нервно поправлял очки, готовый броситься под спасительные своды дворницкой-котельной.

Отстрелявшись, Борис Леонидович пришел в отменное расположение духа и стал шумно восторгаться погодой — стояли солнечные, сухие дни. Удивительно, почему погода так много значила для его мироощущения и поэзии?..

Я жил у своей новой жены, а работать приходил к матери, где у меня была комната, удобный письменный стол, книги и взятая напрокат пишущая машинка «Оливетти». Приходил точно, как на службу, к десяти утра, а уходил в разное время, случалось, и нередко, оставался ночевать. Мне здесь было

интереснее. Как-то раз я пришел, и мать огорошила меня сообщением:

— Звонила Анна Михайловна Гербет и пригласила себя со всей семьей к нам в гости. Вероня пошла на рынок за телятиной.

— И Даша будет? — спросил я растерянно.

— Само собой. Что это наехало на твою бывшую тещу?

— Понятия не имею. Я заходил к ним на прошлой неделе, об этом не было речи.

— Разливалась соловьем, сказала, что безумно соскучилась. Так мало осталось в мире близких душ. Война всех раскидала, и люди никак не вернут себе навык общения. Просила, чтобы чужих не звали.

— Значит, Киру мы не увидим?

— Да. Обойдемся разок без «Темного ерика».

— А как же же Бровин?

У нас ютился мой товарищ по киноискусству, режиссер, переключившийся на драматургию. Он недавно демобилизовался и еще не подыскал жилья. Сам был из Моздока.

— Я сказала, что это твой лучший друг, Дашин знакомый еще с довоенной поры, ему разрешено присутствовать.

— Дивны дела твои, Господи!

— А что такого! — пожала плечами мама. — Они люди нашего круга, не то что твоя новая родня. Министры, маршалы, генералы, а чуть потри — шофера.

— Я должен позвать Гаю. Не могу ее так обманывать.

— А то я не знаю, что ты обманываешь ее почему зря.

— По-другому. Это слишком громоздкая ложь, со многими участниками. Некрасиво, если она узнает со стороны. Я хочу выглядеть чисто перед ней. Неужели я и тут должен плясать под дудку Анны Михайловны?

Я набрал Галин телефон.

— Не жди меня к обеду, — сказал я. — А вечером давай сюда. Придут Гербеты, Август Теодорович будет читать новые главы из своей «Эстетики».

Галя не испытала даже секундного колебания.

— Ой, мне надо на дачу! Звонила нянька. Бубульку гошнит.

Бубулька — Галина дочь от первого брака, хорошая, но чудовищно забалованная девочка.

— Ее каждый день тошнит.

— Она отрыгнула весь завтрак: яички, рисовую кашку, апельсин, какао. — Меня всегда восхищала легкость, с какой моя жена лгала. — Ты извинись за меня. Так хочется послушать!..

— Жаль. Гербет будет читать об основах эстетики Платона. Значит, до завтра.

— Ты называешь это «чисто выглядеть»? — поинтересовалась мама.

На миг мне стало жарко: а что, если Галю также восхищает мое умение лгать? Тогда наша жизнь идет более сложными, извилистыми путями, чем мне представляется.

Наш скромный дом не ударил в грязь лицом перед Гербетами. Отчим отнес в ломбард мамину кротовую шубу, благо уже наступила весна, и закупил всяких разносолов. Он подделал талоны на «Тархун» и «Салхино», которые отоваривали в магазине рядом с «Националем». Вероня великолепно зажарила телячью ногу, испекла пирог с капустой.

Гости явились минута в минуту, с чисто немецкой пунктуальностью. Даша опиралась на палочку — поскользнулась и расшибла колено, которое ей забинтовали в поликлинике. Это небольшое увечье сделало ее беспомощно трогательной. Милой улыбкой она извинялась, что причиняет окружающим беспокойство. А вот с Анной Михайловной произошло что-то тревожное. Я это заметил, когда заходил к ним в последний раз, но ведь в привычной домашней обстановке человека не видишь так отчетливо, как в резком, неподкупном свете той рампы, какой является чужой мир. Казалось бы, нарядная одежда, умело наложенный грим молодят и украшают женщину, а в Анне Михайловне появилось что-то трагическое. Она сильно обхудала, у нее образовалась талия и высоко поднялись схваченные тугим лифчиком груди, густые волосы чуть поредели на висках, открыв беззащитные плоскости с пульсирующими голубыми жилками. Она стала красива, но жутковатой, обреченной красотой. Такой была Медея, принявшая свое роковое

решение. Один Гербет предстал в обычном, будто застывшем образе, но я заметил в ходе долгого ужина, что он стал чаще обычного выпадать из разговора, уносясь в какие-то свои дали. Но водку пил исправно и, как всегда, ничуть не хмелея.

Мой друг Бровин, человек умный, с точным душевным слухом, хорошо поддеоживал компанию.

Вечер шел гладко, дружелюбно, даже растроганно, самый странный вечер в моей жизни, за которым последовала еще более странная ночь. Тон задавала Анна Михайловна, она, конечно, была очень сильным человеком, если подавляла даже мою мятежную мать. Она пила только вино, но безотказно, бокал за бокалом, и как бы подавала нам пример — сбросьте оковы, среди своих они ни к чему. И, ощущая ее поддержку, мы все хорошо пили, особенно Гербет, чья красивая мужская рука все тверже и уверенней тянулась к графинчику. Наша семья тоже не передергивала, но какое-то не отпускающее внутреннее напряжение мешало алкоголю оказать положенное воздействие. Правда, отчим, утомленный беседой с Гербетом о Кьеркегоре — Рыкачев являл собой главную культурную силу семьи и потому был приставлен к философу, — захотел было расслабиться «Темным ериком», но заткнулся, сраженный выблиском маминого взгляда. А вот Даша непривычно быстро захмелела, наверное, ей хотелось поскорее отделить себя от происходящего завесой хмеля. Но и опьянение ее было красиво, как костыль и неуклюжесть хромоты. «В красивом существе все красиво», — говорил Жан Жироду, а он знал в этом толк. Я перепадал из рая в ад, и снова в рай, и снова в ад, в зависимости от того, что брало во мне верх: гипнотическое воздействие живой прелести Даши или память об измене. И меня бесило дружное несчитание Гербетов с моим новым жизненным статусом. Они в грош не ставили ни мою женитьбу, ни мою жену. Я был оскорблен за Галю, раздражен на Анну Михайловну, уверенную, что я, как собачонка, прибегу по первому зову, но мои дурные чувства не выплескивались наружу, что нередко случается со мной в подпитии, ибо я твердо знал: Анна Михайловна снова, как

и всегда со мной, промахнется. Я могу очень далеко пойти с Дашей, но только туда, куда мне самому хочется.

За всю мою жизнь никто так не злил и не раздражал меня, как Анна Михайловна. Этот вечер не явил собой исключения, хотя сама она ничуть к тому не стремилась. И все же я подпал под ее обаяние. Никогда не думал, что она может быть настолько дружелюбна, сердечна, трогательна и улыбочиво изящна в своем поведении. Теперь я понял, чем она была для своего кружка в молодые ирпеньские годы и откуда верность, почтительная привязанность к ней всех мужчин этого кружка. Советская жизнь с вечными страхами, неуверенностью в завтрашнем дне, хамством и низостью затоптала в ней царицу. Другая немка, сумевшая сесть на русский престол, тоже была не мед и не сахар, а двоедушна, и лицемерна, и жестока, лицедейка перед всем миром, но недаром ее называли Великой.

Она вносила в наш застольный тон серьезную, душевную, с горестным отзвоном ноту, у нее было прекрасное, бездонное, трагическое лицо, в котором все — правда, последняя, неподкупная правда, ведь она знала то, чего не знали мы и о чем только начинали догадываться ее дочь и муж, что она неизлечимо больна и жить ей осталось считанные месяцы.

Но как она уйдет, покинув Дашу, которую любила какой-то свирепой любовью, рыхлую, неприспособленную, непрактичную, на дуботолу-полупсиха, грозившего навсегда остаться литературным подростком? Нищий поэт — освящено традицией и — в отдалении — красиво, нищий прозаик — черт знает что. И нет за ним ни семьи, ни защиты, ни опоры. Она угадала вещим сердцем, что Гербет уйдет из дома, когда ее не станет, к другой женщине, которая ждет не дожидается ее кончины, и эта молодая женщина родит ему дитя, и он забудет о существовании Даши. Наверное, сейчас она понимала, сколь неумно, нерасчетливо вела Дашу, дав ей так рано изведать взрослую страсть, а затем лишив всякой самостоятельности. Она помешала Даше получить профессию, отдав ее в литсад имени Горького, как в старину отдавали девушек в институт благородных девиц. Тут сказалась глубокая литературность Анны Михайловны.

Прожив жизнь в световом круге Пастернака, она, сама не отдавая себе отчета, считала литературу единственным занятием, достойным человека. Но у Даши не было критического таланта, она вообще была нетворческой личностью. Дашин талант был в облике, взмахе ресниц, очаровании женственности, ее предназначение быть возлюбленной — неважно, в браке или без формальных уз. Но это можно, пока рядом есть мама. А когда мамы не станет?.. И тут блуждающий взор Анны Михайловны обратился к нашей семье, небогатой, не взысканной советским успехом и привилегиями, но крепкой, надежной, выдержавшей немало бурь и уцелевшей. Самым притягательным в этой семье был не я, хотя она уже поняла, что я крепкий орешек, не умный, интересный ей Рыкачев, а негибемый характер моей матери. Вот кому она могла доверить Дашу.

Когда люди говорят друг другу хорошие слова и в словах этих есть хоть крупица живого чувства, создается столь редкая на земле атмосфера благорастворения. Мы все страшно одиноки, в каменных домах с центральным отоплением мы такие же продрогшие существа, как наши косматые предки в насквозь продуваемых хижинах. Наша дрожь не с холода пространств, она рождается изнутри, из застуженного сердца. И если кому вдруг удастся растопить ледяную корочку, мы становимся от радости добрыми, доверчивыми, немного глупыми. Такую вот атмосферу чуть глуповатой доброты удалось создать к концу вечера Анне Михайловне. Но я и тогда знал, что являюсь наименее растроганным из всех присутствующих. Впрочем, о какой растроганности Гербета может идти речь? Ему было хорошо от выпивки и что его не шпыняют, но душа его витала в иных пределах. Мог ли он вообразить, что в этих пределах нальется для него всклень чаша унижений и стыда? В отличие от Гербета, я хотел бы раствориться в добре и ласковости, даже тени недоброжелательности к Анне Михайловне не осталось во мне, но Даша была слишком сильным и сложным раздражителем, чтобы я мог благодушествовать возле нее.

Когда вставали из-за стола, несколько тяжеловато, ибо все порядком нагрузились, Даша покачнулась на своей повреж-

денной ноге и сказала удивленно-беспомощным голосом: кажется, мне не дойти.

— Зачем ногу трудить? — беспечно отозвалась Анна Михайловна. — Гденибудь прикорнешь, а утром Юра тебя привезет.

Что это — простодушие или цинизм? — подумал я, мне в голову не пришло, что это отчаяние.

Но что-то забрезжило, и довольно отчетливо, когда мы стали прощаться. Анна Михайловна затеяла в нашем узком коридоре какой-то поцелуйный обряд. Она расцеловалась щека в щеку с мамой и, уже отпустив ее голову, поцеловала еще раз, вверяя ей Дашу этим поцелуем, о чем мама, разумеется, не догадывалась. Потом она целовалась с отчимом, тоже очень истово, после чего попала в мои объятия. Я никогда не целовал Анну Михайловну, что несколько странно для близких людей, знавших столько расставаний и встреч, и с непривычки чуточку перестарался. Мы поцеловались по-родственному крепко в уста несколько раз, затем я поцеловал ее глаза и в шею. Она покорно, мягко-женственно стерпела эти излишества. Когда я поцеловал ее в шею, у меня возникло пронзительное ощущение, что мои губы внедряются в болезную плоть. Под челюстной костью с двух сторон явственно ощущались вздутия, крупные желваки. И когда я вскоре узнал, что у Анны Михайловны рак лимфатической системы, то не удивился, ибо неназванно заподозрил у нее эту болезнь.

Я вполне допускаю, что несу бред. Возможно, дело было просто в худобе. У нее начала образовываться «лошадиная голова», как бывает при некоторых раковых заболеваниях, вызывающих резкое похудение. Человек худеет неравномерно: сразу утончается шея, западает за ушами, а какие-то мягкие ткани, не столь податливые, оборачиваются припухлостями. Если это так, то из ложных предпосылок я сделал правильный вывод, о котором никому не сказал.

Это открытие, пусть еще туманное, не смягчило меня к Даше, которая снова шла на материнских помочах. И хоть на этот раз ее вели ко мне, я не хотел получать такой подарок из чужих рук. Только сейчас, за машинкой, я понял, что и

Даша, и Гербет знали о состоянии Анны Михайловны куда больше, чем мне тогда казалось. И бедная Анна Михайловна напрасно думала, что обманула проницательность близких людей, особенно такого любящего человека, как Даша. Анна Михайловна всегда шла, как танк, к своей цели, но дочь далеко не всегда так покорно следовала за ней. Сейчас Анна Михайловна была подбитым танком, с заклиненным орудием, порванной гусеницей, развороченной башней и все ломила вперед к своей недостижимой цели. Было истинным героизмом для человека с такой болезнью затеять эту встречу, подготовиться к ней, притащить сюда свое страдающее тело и вливать в него вредоносное вино, держать в руках компанию, улыбаться, говорить добрые слова и отправляться сквозь ночь домой. Из смертной жалости к любимому человеку Даша выполняла все ее желания. Она и не на такое была способна ради матери. Даша боялась за себя куда меньше, чем мать, и с Резуновым она не порывала — его просто отставили на время, все личное отошло для нее на второй план. Она служила матери. Я не думаю, что в данном случае это давалось ей с мучительным трудом, у нее ко мне осталось много хорошего (как покажет время, неизмеримо больше, чем я мог предполагать).

Мы прошли в мою комнату, я прилег на тахту, Даша села рядом, а напротив — довольно неожиданно — расположился в кресле мой друг с институтских времен Бровин. Я вдруг почувствовал грусть и усталость, пережитый вечер не укладывался в уже ставшую привычной, но проходящую словно в стороне от предназначенного мне пути жизнь. Свидание двух кланов было по-своему высокохудожественно и абсурдно, трагично и жалко, оно загадало много новых загадок, ничего не распутав в настоящем, разбередило душу сумбуром противоречивых чувств, а главное, еще не кончилось.

Я закрыл глаза, как бы выключил свет, чтобы в темноте и внутренней тишине хоть как-то собрать себя воедино, но присутствующие в комнате решили, что я уснул. И тут произошло нечто, похожее на цирк, когда после опасного подкупольного полета на арене кочевряжится коверный. Мой

верный друг принялся кадрить Дашу. Тогда еще не было этого слова, но обозначаемое им действие существовало: это неизящный, нахрапистый современный способ ухаживания.

Мой друг был человеком умным и одаренным, но с неизжитым провинциализмом, что сказывалось не только в жестах, манере шутить, промахах поведения, но и в какой-то ограниченности: из Моздока жизнь выглядела грубее, примитивней, проще, чем она есть на самом деле.

Ничего не стоило пресечь эти вульгарные поползновения, но мне вдруг показалось интересным увидеть Дашу в такой ситуации. Ведь я никогда не видел, да и видеть не мог, какой она делается, когда к ней пристают. Это было не в духе присущего мне прямодушия, я был себе противен, что не мешало кисло-сладкому наслаждению от затейного обмана. Была разыграна классическая сцена советского оболъщения, включающая непременно предательство. Мой друг начал с того, что уничтожил меня как писателя. Он сообщил Даше, что написал три пьесы (не реализованные, но это уже другой разговор), иначе — три повести, нет, три романа, не то что жалкие рассказы. Втоптав меня в грязь вместе с жанром, которому я служил, драматург перешел к прямой и энергичной осаде крепости. Поначалу только словесной. Удивляла безответность Даши, не сказавшей и слова в мою защиту, а как-то согласно, инфантильно внимавшей напористым речам.

Я действительно не знал такой Даши: доверчивой, расслабленной, лопоушной и не по годам наивной. Неужели так повернута она той жизни, в которой мы стали врозь? Она даже в коктебельские далекие дни была взрослей, строже, достойней, неизменно держа расстояние между собой и окружающими. Она не терялась и в присутствии великих, являя собой равнозначную ценность. Я незаметно, из-под руки, закинутой на лицо, выглянул и увидел ее лицо. Оно не было ни наивным, ни доверчивым, ни расслабленным, оно было отсутствующим. Возникновение страстного Бровина оказалось для нее неожиданностью, она не знала, что ей делать с новой гримасой жизни, и скрылась в себе самой, оставив снаружи личину дурочки с переулочка. Ей ничего не стоило подняться до Пастернака, но было не по силам

опуститься до Бровина. Надо было выручать ее. Я шумно вздохнул, проснулся и отправил Бровина на его место в Верониной комнате, возле батареи.

Я погасил свет, на улице занималось утро.

— Не надо стелить, — сказала Даша, — все равно скоро вставать.

Я все-таки достал из короба под тахтой подушку и одеяло, постелив тонкий, верблюжьей шерсти плед. В комнате было жарко, центральное отопление словно хотело возместить жильцам все, что недодало за войну.

Даша до боли знакомыми неторопливыми движениями сняла через голову шерстяное платье, завела руку за спину, расстегнула лифчик и вытащила его через вырез рубашки. Чулки и пояс она снимать не стала. Я увидел сквозь шелк чулка толсто перебинтованное колено и помог ей лечь.

Лифчик, брошенный на ручку кресла, упал на пол, я поднял его, ощутив живое тепло тела, и на несколько мгновений стал фетишистом, мне почудилось, что лифчик может заменить все.

— Что с тобой? — спросила Даша.

— Ничего.

Я вместился между ее телом и холодной стеной, с которой когда-то сшиб двух клопов — вестников любви. Вот ее голова, ее шея, плечи, грудь. Всеми напрягшимися, готовыми лопнуть нервами я жду одергивающего окрика, но его нет, а рука гладит мои волосы. И тут я понимаю — защита в больной ноге, не могу же я причинить ей боль. С моей стороны она была здоровой, и я осторожно, но сильно прижался к ее бедру.

— Ляжь на меня, — сказала она, — не бойся.

У нее была прекрасная речь, но самым прекрасным было слово «ляжь» вместо «ляг», оно напрягало меня, как звук охотничьего рога узкое тело борзой.

— Больше на эту сторону, — корректировала она мое восхождение. — Не волнуйся. У нас все выйдет. Вот так. Тебе удобно?

Мне было удобно. У нас все вышло. Я никогда не захожусь до самозабвения, вернее, и в забвении сохраняю самоконтроль. Лишь раз на ее лице мелькнула гримаска боли,

а потом оно окончательно разгладилось в полном доверии ко мне, и тут единственный раз связалось прошлое с настоящим, и я забыл о разрыве последних лет. У нас все вышло во второй, в третий, в четвертый раз и продолжало выходить до обвала воды в уборной — кто-то начал утро.

Вскоре раздался скрежещущий звук: четырехлетний сын дворника Кольки-цыгана занялся ежеутренним наскальным творчеством. Вот уже второй год он пытается нацарапать на крыле моего «Москвича», стоящего под окнами, то сакраментальное слово, которое заменяет русскому народу половину языка.

— Мне пора, — сказала Даша.

— Я отвезу тебя.

— Нет, я пойду сама. Не провожай меня.

— Но мне надо спасти машину от этого гаденыша. — Я кивнул на окно.

— Нет, — сказала она твердо. — Мне хочется пойти одной.

— Ты боишься, что нас увидят вместе?

Она удивленно вскинула глаза.

— Господь с тобой! Мне хочется медленно, тихо пойти домой. Я даже на трамвай не сяду.

— А нога?

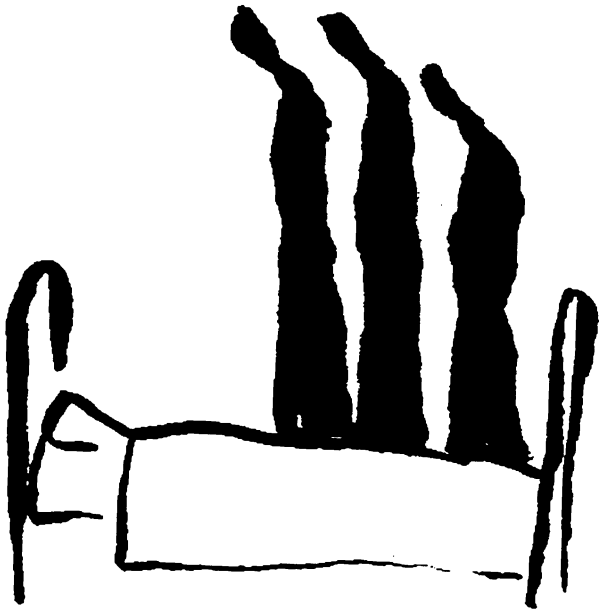
— Она почти не болит. Ну, не упрямясь. Дай мне сделать по-своему. Все будет в порядке. Я позвоню тебе. Мама приглашает вас к нам.

— Я уже знаю. Какая мама стала красивая!

— Да, мама очень красивая.

Когда я вышел из дома, чтобы перегнать машину, в конце переулка еще виднелась Дашина фигура. Она шла медленно, осторожно, соизмеряя шаг с упором на палочку.

Я видел ее будто в тумане. Я ничего не простил, не забыл и не забуду. Во мне осталось только желание — дань привычке. Я не люблю ее, а она не любит меня. Но я знал, что за эту нелюбовь я отдам все прошлые, настоящие и будущие любви...



Ответный визит нашей семьи к Гербетам не состоялся — Анна Михайловна быстро, решительно, словно торопясь, устремилась в смерть.

У нее был рак лимфатической системы. И был уже давно, она знала об этом, но скрывала от домашних. Потом они догадались, но играли в молчанку, скрывая друг от друга свое знание. Когда же болезнь была названа, Анна Михайловна слегла. Я не хочу сказать, что, спохватись они раньше, ее можно было бы спасти, неоперабельный рак как был, так и остался неизлечим, во всяком случае в нашей стране. Она, подобно Елизавете Английской, до самой последней возможности оставалась на ногах, помешивая ложкой кипящий домашний суп. Мужество не оставило ее и на смертном ложе, когда роковые слова были произнесены вслух.

Я узнал обо всем этом, вернувшись из командировки. Позвонил. Даша взяла трубку, но разрыдалась и не могла говорить. Больше она не выронила ни слезинки. Она неотступно находилась при матери, наладив образцовый уход, спокойная, тихая, и было ли ее самообладание силой, почерпнутой у матери, или глубиной отчаяния, сказать не берусь. Она не поддерживала тона расслабляющей жалости и позволяла говорить о матери лишь как о человеке, продолжающем трудное дело жизни, без жидких слез сочувствия. Я знаю об этом не с чужих слов, поскольку что ни день заезжал к Гербетам. Мне хотелось быть полезным,

но Даша после двух-трех суховатых отказов сказала твердо: «Мы делаем для мамы все. Они ни в чем не нуждаются. Приходи, когда можешь, больше ничего не нужно».

А вызвала она меня сама: «Мама хочет тебя видеть».

Я пришел. Даша куталась в шерстяной платок, на ногах вязаные чувяки, хотя на улице — лето, а в доме — теплынь. Видать, озноб шел изнутри. Анна Михайловна лежала в большой комнате, где происходили наши праздничные обеды. В комнате полумрак, окно занавешено, на маленьком столике возле больной горел ночник, лежала раскрытая книга. Лицо Анны Михайловны оставалось в тени, под знакомым шотландским пледом не ощущалось тела. Впечатление было такое, что от нее остались лишь голова и руки, чью худобу скрывали рукава байковой кофты. Есть такая игрушка — кукла-бибабо: голова, руки и рубашка, которую должна заполнить твоя кисть, чтобы наделить игрушку движением. Я стоял молча, не в силах отвести взгляд от плоского натяга одеяла.

— Юрочка? — послышался знакомый, еле слышный, но отчетливый голос. — Видите, как быстро все переменялось... Не надо меня целовать (я и не собирался, боясь заразиться раком). Сядьте вон там, в ноги, чтобы я вас видела. На меня не надо смотреть. Я стала такая страшная.

Я повиновался. Мое перемещение как-то сместило свет и тени, и я увидел ее лицо. Оно было страшным и красивым — какой-то ужасной, изможденной, нечеловеческой красотой. Плоть отпала целыми сегментами, побуревшая кожа обтягивала костяк, который был совершенен, из темных ям смотрели светло-ореховые, с прозеленью глаза. Оказывается, я не знал цвета ее глаз.

— О чем вы, Анна Михайловна?.. — пробормотал я. — Вы красивая...

Я впервые находился у постели умирающего человека и не знал, как себя вести, что говорить, все казалось ничтожным, ненужным, даже оскорбительным рядом с последней серьезностью смерти. Это ложное чувство — умирающий человек еще живет, живет всем объемом жизни, ему интересно все, кроме смерти.

Анна Михайловна заговорила о том, что людям не хватает щенячести. Той беспредметной, беспричинной радости жизни, которой предаются щенки, открывшие, что мир состоит не только из теплого, питающего материнского живота. Нам не хватает веселой возни, готовности к игре, ласке, беззаботности и беззаботности. Мы всегда насторожены, изначально угрюмы, боимся верить другому человеку, заторможены на жест добра. Нехорошо это, грех перед собой, грех перед жизнью... Она еще что-то говорила, а я думал о том, почему так мало щенячести было проявлено ко мне, виноватому лишь в любви к Даше. Да за одно теплое слово я повалился бы на спину, суча лапами и открыв розовое, беззащитное блохастое брюшко. Когда я потом передал рассуждения Анны Михайловны моей матери, та покусала губы, что было признаком заинтересованности, и сказала: мне это нравится, я ее понимаю. Нам, правда, не хватает щенячести. Только где ее взять? Она говорит оттуда, там иной воздух. Она уже забыла о нашей духоте и мраке...

— Ладно. Ступайте, — отпустила меня Анна Михайловна. — Я устала. — И, не глядя, чувствуя в дверях Дашину фигуру, сказала ей: — Дай мне лекарство.

Она держалась на болеутоляющих средствах. Нет, это неправда: она держалась силой духа, а физические страдания умеряла лекарствами.

Уходя, я снова увидел ее глаза, они сменили цвет, вернее, стали почти бесцветны, но с оттенком, как вода в стакане, куда насыпались свежие еловые иглы.

Я прошел в кабинет Гербета, Даша рокировалась с ним: он перебрался в ее комнату, а она — в кабинет, чтобы слышать через тонкую стену тяжелое дыхание матери. Август Теодорович теперь целыми днями отсутствовал, перегруженный работой. Конечно, он был перегружен не только работой, но и вниманием той молодой женщины, его ученицы, существование которой давно уже высчитала Анна Михайловна. Ее влюбленность в профессора стремительно нарастала с угасанием Анны Михайловны, чтобы достигнуть пика к моменту его освобождения и не дать ему одуматься. Поводья выпали из ослабевшей руки больной и были подхвачены рукой куда более решительной и жесткой. Но

неискушенному в науке страсти нежной Гербету казалось, что он меняет континентальный климат на средиземноморский.

В кабинете, заваленном книгами, папками с рукописями, всевозможным бумажным мусором, вроде гранок «Логики» и «Эстетики», целый угол занимал мой старый знакомец — телескоп. С грустью и умилением глядел я на зачехленную трубу, в которую Гербет наблюдал мироздание под испуганно-восхищенными взглядами отдыхающих. «Скажите, товарищ профессор, а есть жизнь на Луне?» — услышал я шаткий от почтительности голос. И вежливо извиняющийся (за планету) ответ: «Нет, товарищи, на Луне нет жизни». Бедная Луна! А на Земле и жизнь, и смерть, от которой в испуге попятился профессор.

Вернулась Даша в своих неслышных чувяках. Она пришла будто не из комнаты умирающей матери, а из старых дней...

Писать о себе, и писать правду, порой невыносимо. Как бы мне хотелось остаться в тех горестных днях добрым, чутким другом, этаким Санта Клаусом без мешка с подарками, но помните пушкинское:

*И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная.
И горько жалею и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.*

И я не стану смывать. Шерстяной платок и чувяки начали, а дурацкая труба, втянувшая в захламленный кабинет весь Коктебель, довершила перепад доброго самаритянина в кобеля. Почему она не возмутилась, не выгнала меня, ну, хотя бы не пристыдила? С отсутствующим лицом — верно, прислушивалась к тому, что за стеной, — она пропускала мимо ушей мое тягостное бормотание, сразу, конечно, поняв его цель, а потом спросила рассеянно, но по-товарищески: — Это очень нужно?

Ответный захлеб она тоже не слушала, блуждая взглядом по кабинету. Никаких моральных проблем, она решала чисто техническую задачу, где бы устроиться. Потому что устроиться тут было негде. Очевидно, Даша спала в комнате матери на раскладушке. Кабинет Гербета был начисто не приспособлен для любви. Я начал впадать в панику.

— Придется на полу, — как бы для себя сказала Даша. Она легла на грязноватый, вытертый коврик и задрала юбку. То, что пронизывало меня дрожью вожделения и тeneвым сознанием собственной низости, было для нее всего лишь внеочередной заботой этих трудных дней, продолжением службы матери, ибо та хотела видеть меня, продолжая связывать со мной бедные надежды на Дашино устройство в мире, где ее не будет. Для Даши это было тем же, что вынести горшок, смазать пролежни, сменить белье под больной.

Я продолжал наведываться к Гербетам. Как бы тихо я ни входил, Анна Михайловна улавливала шум в прихожей.

— Кто там? — спрашивала она.

Даша заглядывала к ней в комнату.

— Это Юра.

— А, Юрочка!..

Но желания видеть меня не изъявляла.

— Мама еще больше исхудала, — говорила Даша. — Ее мучают пролежни. Врачи и тут не могут помочь. Она ужасно слаба. Почти не ест. Только пьет холодный чай с лимоном. Но, знаешь, она каждый день хоть немного читает. Своих любимых греков. И никогда не жалуется.

— Какой мужественный человек!

— Да, — вздыхала Даша и покорно ложилась на грязный коврик.

Тут вообще собрались мужественные люди: каждый неуклонно, воистину всем смертям назло служил своему богу или бесу. Анна Михайловна, превращая смерть в акт высокой жизни, заряжала свою дочь для будущего. Даша фанатично ей служила. А два подонка, Гербет и я, «справляли», как говорят ивановские ткачихи, «свое удовольствие» у гробового входа. Великое оружие — эгоцентризм! Я не моралист — куда там! — и все-таки скажу моим молодым читателям: не трахайтесь на голове умирающих. Воздержитесь. Это окупится добрым светом в последующей жизни.

Однажды мы чуть не завалились. Дело было к вечеру, и Гербет неожиданно явился много раньше обычного. Мы едва успели вскочить. Даша толком не сумела натянуть штаны —

они зацепились за резинки чулок, — незаметные, разумеется, под юбкой, но навязавшие ей семящую поступь. А меня как-то скрючило от не воплотившегося желания.

Даша высемила в коридор, не закрыв за собой дверь, и столкнулась с Гербетом.

— Как мама? — тихо спросил он.

И тут в квартиру постучали. Даша и Гербет уставились на входную дверь, не зная, пускать или не пускать нежданного посетителя. А тот проявил настойчивость, он тряс дверь, так что звякала цепочка.

И мы услышали не наполненный плотью звука голос:

— Там Боря... Откройте...

Пастернак влетел, распространяя запах «Шипра» и пудры. Выбритый до кости, с седым начесом вкось лба, в белых брюках и белых, начищенных зубным порошком парусиновых туфлях, черном пиджаке и рубашке апаш, открывающей в распахнутом вороте крепкую загорелую грудь, он исходил силой жизни, глаза сверкали, а рот плотоядно улыбался, открывая конскую челюсть. Вскоре он вставит зубы, давшие красоту и без того замечательному лицу. Он чувствовал себя нарядным, бодрым и счастливым, спешил на любовное свидание, а сюда заглянул, искупая жестом милосердия слишком большое счастье разделенной любви.

Пастернак когда-то сказал, что самое важное для поэта — не стихи, которые он пишет, и уж никак не слава и признание, а творческое состояние. Считается, что он был страстно влюблен в первую жену, в Зинаиду Николаевну и Ольгу Ивинскую, да он и сам так считал. Но главным для него была не любимая женщина, а состояние любви. Он был влюблен в себя влюбленного. Иначе и не могло быть у такого эгоцентрика, как Борис Леонидович, умудрившегося, в чем он сам позднее признавался, пройти мимо всей современной ему поэзии (кроме Маяковского, в котором с облегчением разочаровался), в упор не видевшего даже близких — и очень больших — людей. Страшновато читать его «слепую» переписку с двоюродной сестрой, умной, высокоталантливой Фрейденберг, — с полубезумной рассеянностью и упорством он приглашает умирающую от голода в Ленинграде блокад-

ницу погостить у него в Переделкине. Ему все прощалось за талант и какое-то звериное изящество природы, лишь Зинаида Николаевна, подобно другой великой жене, Софье Андреевне, мерила мужа житейской мерой и глубоко презирала.

Пастернак ворвался в квартиру, пахнущую смертью, как самум, как торнадо.

— Здравствуйте!.. Все!.. Все!.. Все!.. Как Анечка?.. Лучше? — Он пропустил мимо ушей шепот Гербета, что хуже. — Должно быть лучше, когда такая весна!.. Что за дни стоят!.. Господь Бог послал такую погоду!..

— Боренька, что вы там шумите в коридоре? — Как странно было услышать почти прежний голос Анны Михайловны. — Идите сюда.

Пастернак сделал какое-то летучее движение и оказался в комнате больной, мы вкатились за ним следом, хотя нас не звали.

Хорошенькая компания собралась у смертного ложа: один был от бабы, другой шел к бабе, у третьего раскаленный прут углом выпячивал ширинку, четвертая так и не сумела натянуть штаны. Чистой духовностью веяло лишь от умирающей. Мы же были вульгарно шумны и физиологичны. Но кто знает, быть может, больной был полезен этот грубый ток жизни, тогда мы не заслуживаем казни?

Борис Леонидович лучился энергией успеха: театры дерутся за его шекспировские переводы, стихи из романа печатаются в журналах, они у всех на устах, сам роман ждет блистательная будущность (так оно в конечном счете и оказалось), а ко всему еще — и важнее всего — эта великолепная, пьянящая погода! «Милый человек, — говорила Ахматова, прочтя революционные поэмы Бориса Леонидовича, — он думает, что пишет о революции, а пишет о погоде». А сейчас мне показалось, что, говоря о погоде, «милый человек» имел в виду свою любовь, во всяком случае, она включалась в опьянение погодой. Я думаю, что Анна Михайловна понимала это; не знаю, как относилась она к последней любви Бориса Леонидовича — в доме при мне об этом никогда не говорили, — но сейчас улыбочиво отзывалась на оленью трубу страсти. Она даже попросила Дашу поднять ей повыше подушки.

Я ушел вслед за Пастернаком, оставив семью в каком-то праздничном изнеможении.

Под утро Анна Михайловна умерла...

Ночью Даша услышала какой-то шум — вот она, машинальность письма, — мышинный шорох и вскочила со своей раскладушки. Горел ночник, мать с закрытыми глазами шарилла пальцами по одеялу, простыне, дотягивалась порой до ночного столика, как будто что-то искала. «Прибирается, — говорят в народе, — значит, сейчас помрет». Даша не знала этой приметы. «Ты хочешь пить?» — спросила она. «Нет, — низким, чужим голосом ответила мать. — Где Марцелл?» — «Вот он». Даша положила руку матери на книгу. «Где Платон?» — тем же отчужденным голосом спросила Анна Михайловна. «Вот он». — «Положи мне на грудь. Где Аристотель?» — «Здесь». — «Положи справа». Даша повиновалась. «Слушай внимательно. Платье тафтяное серое, мое любимое, туфли серые замшевые... И только обручальное кольцо... Ты поняла?.. Ничего больше. Прощение всем... И прошу... меня тоже... Поцелуй... Ну, вот и все. Теперь ступай... Хочу одна...» И это было так сказано, что Даша тут же вышла. Она думала разбудить Гербета, но вспомнила, что мать ей этого не наказывала. Ему не нашлось места в последних распоряжениях матери. Значит, он ей не нужен...

Даша долго плакала, затыкая рот шерстяным платком, чтобы мать не услышала, а затем вдруг уснула — каким-то мгновенным провалом. Она проснулась около восьми утра, прислушалась и поняла, что мамы уже нет...



Вот и не стало Анны Михайловны. Боже, как я ее ненавидел вплоть до того дня, когда под моими губами оказалась ее гибнущая плоть. А ведь вся ее вина, скорее беда, была в избытке любви. Безмерность никогда не доводит до добра. Ее судьба в чем-то схожа с судьбой моей матери, а моя — с Дашиной. Нам обоим с появлением на свет было отказано в отцовской защите, и вся ответственность за нашу хрупкую жизнь легла на матерей. Анне Михайловне повезло больше: робкий, трусливый, дрожащий Гербет оказался прочен, как утес, в советском море. У матери все хорошо началось, но с двадцать восьмого года ее жизнь стала неотделима от таких слов, как «передача», «свидание», «тюрьма», «пересылка», «этап», «лагерь», «ссылка». Вечным узником стал мой приемный отец и умер в ссылке, сел в тридцать седьмом отчим. Мать смертельно боялась за меня, но ее страх был ориентирован в сторону Лубянки — площади Дзержинского, в остальном умела обуздывать свой страх, она не вмешивалась в мою жизнь. Анна Михайловна как испугалась за крошечный беспомощный комочек плоти, что поднесли к ее груди, так и не избавилась от этого страха. Она словно не видела, что бедный чавкающий комочек стал избыточной плотью, и все хотела держать дочь у своей груди. Страх — плохой советчик. Все выстрелы Анны Михайловны были мимо цели, вплоть до последнего. Она опоздала вернуть мне Дашу.

Я тяжело переживал смерть Анны Михайловны и, как всегда в подобных случаях, оказался не на высоте. Я запил

в день ее кончины и пил беспробудно три дня, втянув в тризну жену, тещу и всех посетителей дома. Анну Михайловну никто из них не знал и боль потери испытывать не мог. Жена и теща по русской традиции ненавидели ее почти так же пламенно, как Дашу. У меня дома на письменном столе стояла фотография семнадцатилетней Даши, жена уничтожила ее, за что понесла суровое наказание. Оклемавшись, она ликвидировала, непонятно как доискавшись, то произведение, посвященное Даше, которое я читал у Киры. Но, обладая в молодости отличной памятью, я его почти дословно восстановил. В ту пору у меня была не только хорошая память, но и выдающееся красноречие — под высоким градусом, слабые следы которого сохранились по сию пору. Замечательный, хотя и не постоянный ораторский дар слабел во мне по мере снижения того градуса, который я способен выдержать. Тогда я не уступал Демосфену и управлял пьяной оравой, как Цицерон сенатом. Я так распинаясь об Анне Михайловне, что и жена, и теща, и все собутыльники плакали навзрыд. Я говорил о великих греках, которых она унесла с собой в могилу, и требовательно спрашивал свою цветущую тещу, какую литературу захватит она в последний путь. С заплаканными глазами теща, отнюдь не книголюб, обещала взять с собой томик Марсея Прево и загадочную «Трагедию Сиканэ». Последнее произведение никому не было известно, и я долго и ярко стыдил тещу за некультурность. «Анна Михайловна ушла с Платоном и Аристотелем, — витийствовал я, — а вы намерены оскорбить небо французским пошляком и какой-то чушью собачьей!» Теща, рыдая, отстаивала достоинства Марсея Прево, а «Трагедию Сиканэ» обещала заменить рекомендованной мною литературой. Нашему чудовищному пьянству помогало отсутствие тестя, находившегося в санатории. На третий день пьянства ни водка, ни коньяк, ни вино не лезли в опаленное горло, и мы затеяли варить глинтвейн из красного «Напареули» с сахаром, апельсинами, мандаринами, яблоками, с корицей и гвоздикой. Всю ночь мы поминали Анну Михайловну горячим пряным напитком, а утром блевали над унитазами, умывальниками, раковинами двух квартир. Я не мог поднять-

ся, и жена, шатаясь и падая, принесла большой таз к постели. С темно-красной жидкостью выходили целые дольки мандаринов, апельсинов и куски яблок. Осмраденный дух корицы и гвоздики пропитал воздух. Надышавшись сладко-пряной вони, начала блевать моя маленькая падчерица — вот уж воистину в чужом пиру похмелье.

Конечно, ни на какие похороны я не пошел. Я и на ноги подняться не мог. Нашу семью на Новодевичьем кладбище представлял отчим. Он принес цветы и якобы отпечатанную мной записку с соболезнованиями и объяснением причины отсутствия, конечно, по болезни. Даша все поняла и впервые по-настоящему обиделась. Я и сам не находил себе извинений. Через несколько дней, восстановившись, я позвонил Даше и, услышав ледяной голос, понял: говорить не о чем.

Смерть Анны Михайловны завершила очередной этап наших с Дашей отношений. Она выпала из моей жизни. Почему-то я был уверен, что вернется «дорогая пропажа» — Резунов, и не ошибся, хотя возвращение изгнанника произошло далеко не сразу.

Гербет неожиданно, хотя и ненадолго, оказался на высоте. Он хотел выкупить свое освобождение от прошлого. Прежде всего он поставил превосходный памятник Анне Михайловне работы Гинзбурга — единственное высокохудожественное творение на престижном и безвкусном кладбище, затем взял Дашу с собой в Коктебель. А по возвращении с той же энергией, но теперь уже не своей, а заимствованной, разменял квартиру, оставив Даше одну комнату, где умерла Анна Михайловна, и сразу съехал, забрав трубу и благородно поделив мебель, постельное белье и кухонную утварь. После чего полностью исключил Дашу из своего обихода, не предложив ей хоть малой материальной поддержки. Тут уже им управляла чужая воля, которой он беспрекословно подчинился. Вскоре молодая жена подарила ему дочь-урода: правая сторона у нее была больше левой, как у жены Гуго Карловича Пекторалиса, обладателя железной воли. И вот тут произошло возвращение Резунова.

Я воспринял эту новость равнодушно. У меня хватало собственных забот. Мой брак медленно и неопратно разва-

ливался. По причинам, не имеющим отношения к той истории, которую я рассказываю. Наша домашняя телега давно уже скрипела, но тут дело дошло до того, что, не заговаривая о разводе, мы с женой разъехались, я вернулся на свою базу; мы изредка встречались то у нее, то у меня, но обоим было ясно, что все кончилось, по правде говоря, так толком и не начавшись.

В эти темные времена, крепко упившись, я решил нанести Даше ночной визит. Меня ничуть не смущало, что я могу наткнуться на Резунова и визит в два часа ночи едва ли покажется ему уместным. Резунов был в тяжелом весе, я же тогдашний едва ли тянул даже на первый средний, но чего-чего, а драк я не боялся, как-то не думал об этом. В пьяной башке намертво укрепилось одно соображение, объяснявшее мое право на такой визит: в канун рокового дня неожиданный приход Гербета вспугнул нас, и я не кончил. Я не претендовал ни на Дашины чувства, ни на сколь-нибудь длительное внимание, не собирался вмешиваться в ее жизнь и разрушать неофициальную семью, я просто хотел получить по старому счету, это естественно и справедливо. И кто такой Резунов? Просто сожитель. Он увел у меня жену, сволочь такая, пусть потерпит, пока я получу должок. Вот так простодушно и отнюдь не агрессивно рассуждал я, отправившись на Зубовскую.

Вскоре я постучал в темное окно.

Стучал я долго. В конце концов с той стороны окна замаячила долговязая мужская фигура. Значит, Резунов все-таки ночует здесь. Снаружи было очень плохо видно, наверное, из комнаты я просматривался лучше в свете уличных фонарей. Я углядел, что человек двинулся в глубь комнаты, вышел в коридор, но свернул не в сторону входной двери, а к столовой. Через минуту-другую там загорелась настольная лампа. Я переместился к окну столовой и вскоре разглядел Дашу в спальнй рубашке. Она сделала мне знак, чтобы я заходил.

Входную дверь мне открыла Даша. Оказывается, я разбудил ее племянника, сильно подростшего Сережу. Новые жильцы все еще не переехали, только в бывшем кабинете

Гербета начался вялый ремонт. Я различал едкий запах гниловатой шпаклевицы. Сереже разрешили временно занять пустую комнату.

В самую пору опять вспомнить пушкинские строки: «И с отвращением читая жизнь мою...» В смысле постыдности поведения даже в моей грешной жизни нет аналогов.

Я нес несусветный бред, в котором ложь была так перепутана с правдой, что я сам запутался и, как мне казалось — с торжеством, — запутал бедную несправившуюся Дашу. Не запутал. При всей ее ошеломленности моим никак не ожидавшимся, наглым ночным приходом, цели которого я не скрывал, она чувствовала что-то более серьезное в не свойственном мне поступке, а вовсе не пьяную выходку, не запоздалый и нелепый взрыв ревности и провокацию скандала и даже не маниакальную физическую тягу к ней. Но это я понял куда позднее. В моей затуманенной башке крутилось совсем другое: я казался себе дьявольски хитрым и коварным, я добивался своей цели с циничной изворотливостью Казановы и полуфальшивым пылом Дон Жуана. Я незаметно смазал слюнями глаза и приложил к ним Дашину руку, чтобы она почувствовала мои слезы, а Даша знала, насколько я не плаксив. Наслаждаясь своим лицедейством, я не понимал, до чего был искренен, несчастлив и жалок. Даша угадала эту искренность за всеми напластованиями дряни и с усталым вздохом приняла меня.

Я обманывал не ее, а самого себя. Пришло бы мне в голову разыграть подобную комедию ради другой женщины? Да ни в жизнь! Фальшивы были слезы, но не посыла имитировать. И разве фальшива была сила, заставившая меня, пьяного, полубезумного, тащиться через ночь, спотыкаясь, падая, расшибаясь об углы, под окно, откуда мог выпрыгнуть здоровенный амбал и размазать меня по асфальту? В пьяном поступке сказалась правда души. Я не знал, как мне вернуться к Даше, я не умею выяснять отношений, не умею каяться и просить прощения. Бессознательно я выбрал единственно возможный для себя способ: глупый, отчаянный, шутовской. И умное Дашино сердце все это поняло.

Утром, когда Сережа ушел в школу, а мы пили чай на кухне, я узнал кое-что о Дашиной жизни. С Резуновым было покончено, хотя дружеские отношения не были порваны, Даша вообще не любила окончательно терять людей. Я спросил о причине разрыва.

— Щи, — был короткий ответ.

— Что это значит?

— Надоело варить щи. Не могу больше слышать запаха кислой капусты. Он, хотя в армии не служил, ест щи по-солдатски два раза в день.

Я понял, что «щи» надо понимать не только буквально, но и символически. Резунов изжил себя полностью, голос Даши звучал мертвым равнодушием.

— Вы больше не видите?

— Он звонит иногда. Как-то раз Стась позвал его на водку.

Ага, значит, пришла очередь Стася! Терпеливо же дожидался он своего часа. Совсем по Омару Хайяму: «Нет в женщинах и в жизни постоянства, зато бывает очередь моя».

— Зачем он Стасю нужен?

— Не знаю. Стась считает его хорошим человеком. Для Стася очень важно, чтобы человек был хорошим.

— Стась и сам хороший человек. Резунов тоже был задуман как хороший человек, но литература и не таких корезит.

— Он не искореженный. Скучный. Бог с ним. Как ты живешь?

Я рассказал, что, по существу, расстался с Галей, что у меня наметилась постоянная подруга, «есть и кроме», но живу паршиво: пишу много, печатаю мало, зарабатываю на жизнь чем придется: газетной работой, на радио, в Информбюро — пишу о свежих огурцах в Сыктывкаре, не брезгую негритянской работой — навалая книгу о севастопольской обороне за бывшего секретаря горкома партии. Гордиться нечем.

Я уже понял, что Даша никак не связывает со мной своего будущего, признав недействительным негласный договор, составленный Анной Михайловной, и мог бы стать с нею

прост и откровенен. А я зачем-то ломаюсь. Моя жизнь даже в литературном плане не была столь уж кромешной: я опубликовал несколько рассказов, хорошо замеченных, и это было чудом, поскольку новеллистика находилась в полном загоне. Величие Сталина требовало больших романов и эпопей. В «Советском писателе» у меня выходила очередная книга. Да и зарабатывал я своей халтурой более чем прилично, собирался сменить «Москвич» на «Победу». Откуда возник этот некрасовский тон черной печали, образ труженика, надрывающего непосильной работой чахоточную грудь? То был вызов буржуазному спокойствию Даши, легко сменившей безумца Резунова на крепкого, спокойного, уравновешенного Стася. С нашего разрыва я был поставлен в ложное положение в отношении Даши. Мое место было рядом с ней — навсегда. И что бы между нами ни происходило, я не мог быть до конца естественным. В заговоре Анны Михайловны участвовали все, включая меня, кроме Даши, несмотря на внешнюю покорность. Я был ей нужен, но как-то иначе, чем она мне.

Желая меня подбодрить (мол, есть еще более несчастные люди), Даша рассказала о бредовом явлении Бориса Резникова, пронесшего сквозь пятнадцатилетнее отсутствие матриониальные намерения. Дальнейший разговор был прерван появлением маляров: трех уже с утра подвыпивших, изможденных оборванцев, принесших смрадный дух гнилой шпаклевки, перегара, селедки и табака. Даша сказала, что они с трудом дотягивают до обеда, поскольку к тому времени едва стоят на ногах. Но это к лучшему — откладывается переезд соседей.

Выйдя на улицу и глотнув свежего воздуха с Москвы-реки, я подумал, что не скоро вернусь на это пепелище, исподволь становящееся стройплощадкой новой жизни. Плоть моя угомонилась, хмель вышел, дух освободился, впору было разобраться в собственных проблемах, чем лезть в чужую жизнь.

Благими намерениями ад вымощен. Не прошло и двух недель, как я опять нагрязнул к Даше, и опять глубокой ночью, и опять пьяный. А ведь у меня и впрямь завелась чудесная

подруга, с которой все получалось лучше, чем с нынешней Дашей, и веселее, и легче. И общение наше было богаче, она была умнее и острее Даши и шире развернута к миру.

И все же я притащился сюда. Сережи не было, мать легла в больницу, и он вернулся домой. В квартире все оставалось по-прежнему, но приняли меня куда суше. Без слез и отчаяния моя притягательность как-то не срабатывала. Но главное, конечно, было не в этом: Даша решила всерьез и по всем правилам связать свою жизнь со Стасем, и ночные визитеры становились нежелательны.

И все-таки у нее не хватило духа выгнать меня. Она даже согласилась пустить меня в постель, но предупредила, что утех не будет. Я добровольно обрек себя на мучения. Даже кошмарная новогодняя ночь в Подколокольном далась легче, ибо не исключался паллиативный вариант. А здесь — наглухо. Она позволила себя обнять, но строго держала дистанцию. Проведя в изнурительной борьбе всю ночь, мы едва нашли силы подняться к приходу маляров. За чаем я грустно и смиренно сообщил, что оплатил ее бессмысленное упрямство потерей мужской силы. Как я понимаю, навсегда. Что ж, этим должно было кончиться, струна лопнула. На миг она поверила, в глазах мелькнули сострадание и страх, затем протянула руку, и мне пришлось изобразить изумленный восторг от волшебного исцеления.

Дальше я помню себя уже гостем Даши и Стася. Но при этом я вопреки очевидности про себя считаю, будто мы оба в гостях. Они еще не расписаны, но между ними все решено. Мы всегда пьем при встречах. Стась пьет много, но крепок к выпивке, как все прибалты. Даша научилась пить. Раньше ее поводило с бокала вина, сейчас она предпочитает водку и спокойно, целенаправленно пьет до охмеления, которое никогда не бывает у нее вульгарным, по-бабски шумным и противным. Она добреет, веселеет, становится открытее, проще, ищет душевной близости с окружающими, но образ, по-своему очаровательный, новой Даши меня ранит, ведь не я изваял эту Галатею. Нынешняя Даша создавалась в студенческой среде литвуза, в общении с Резуновым, их общими друзьями, в близости со Стасем и вовсе неведомым

мне кругом молодых экономистов. Печаль и раздражение оседают на дне души, здесь ко мне так добры, что я не позволяю дурным чувствам вылиться наружу.

Но однажды они все-таки вылились.

У Стася было намариновано несколько банок молодых, замечательно вкусных опят. Он не жалел крепкого уксуса, перца и гвоздики, а для меня чем острее, тем лучше. Стась был в восторге, он гордился своими грибами, а они не имели успеха у его знакомых. Советские люди не выносят ничего острого: ни пряных соусов, ни наперченных борщей, никаких забористых приправ. Наверное, от плохого питания в детстве у всех слабые желудки, невыносливая слизистая оболочка, вялый кишечник, а любителей острого раздражают пресноеды. Я все накладывал себе грибов, к вящему восторгу Стася, что было мило и трогательно в сдержанном, неулыбчивом человеке с некрасивым, мрачным и чем-то привлекательным лицом. Потом я разобрался, чем привлекала угрюмая физиономия Стася — доброкачественностью и достоинством, которыми обладают лишь рожденные и выросшие на воле. До самого освобождения Латвии советскими войсками Стась жил в свободной стране. Я никогда не замечал у Стася ни крупицы польского национального гонора, но свою маленькую Латвию и родную Ригу он любил до слезы даже в трезвом виде.

С гнилых советских внутренностей наш разговор незаметно перекинулся на гнилой организм советской государственности, и оказалось, что нас роднит не только пристрастие к остро маринованным опятам. Тем неожиданнее оказался финал теплой встречи.

Когда была выпита последняя капля водки и съеден последний скользкий грибок, долго не дававшийся вилке, а разговор стал рваным и невразумительным, Даша заплетавшимся языком напомнила, что пора по домам. Я не возражал, но тут выяснилось, что по домам пора мне одному, а Стась вроде бы уже находится дома. Алкоголь во мне смертельно обиделся. Я позволил Стасю натянуть на меня плащ и вывалился из квартиры, не попрощавшись с Дашей. Он последовал за мной, как потом выяснилось, хотел посадить на такси.

Не помню, как мы дотащились до угла Зубовской и Кропоткинской, видимо, Стась волок меня на себе. Но у заветной будки чистильщика сапог, которая так много значила в моем паломничестве к Дашиному дому, я полуочнулся, вспомнил все свои глиняные обиды и заявил, что никуда не пойду.

— Надо идти, — мягко сказал Стась. — Мы поймаем такси.

— Вот ты и катись! — Я сделал попытку повернуть назад.

Он преградил мне дорогу. И все было разом забыто: маринованные грибки, ледяная водка, добрый разговор, завязавшееся на общей ненависти к советской власти понимание, готовое перейти в дружбу, — я развернулся и врезал ему в ухо. Голова его мотнулась назад, он попятился, я ударил снова. Он успел уклониться, и мой кулак угодил в продолговатое зеркало на боковой стенке айсорского агрегата. Зеркало треснуло по всей длине, а у меня вылетел из гнезда большой палец. Я не потерял сознание лишь потому, что нечего было терять. Тупо уставившись на свою изуродованную руку, я вдруг почувствовал себя человеком без будущего. Стась не воспользовался моей беспомощностью. А ведь он был в своем праве, да и в желудке у него плескалось не меньше водки, чем в моем. Меня спасли врожденное благородство Стася, этика западного человека, и охраняющий дух Даши витал над моей бедной головой. Смутно помню, что он остановил машину, о чем-то говорил с шофером, затем провал и опамятование утром в своей постели.

Палец мне вправили в поликлинике, руку загипсовали, и я уехал в командировку под Харьков. Гипс сняли по возвращении, а тут еще неожиданно быстро вышла моя новая книга в «Советском писателе». Я стал раздумывать, нельзя ли под эту книгу вернуться в дом на Зубовской — гостем, другом, ни на что больше я не претендовал. Не знаю, сколько времени разъедала бы меня русско-советская рефлексия, но тут позвонил Стась.

Он был в восторге от моей книги, которую приобрел в книжной лавке на Кузнецком. Книжка — хуже некуда, но

в одном рассказе удались описания лошадей и колхозных бегов, а Стась в своей рижской юности увлекался конным спортом.

— Приходи, подпишешь мне книгу.

Будь на месте Стася кто другой, я поостерегся бы или захватил с собой заточку, но я знал, что имею дело с безукоризненным человеком.

— Я с удовольствием. Когда?

— А чего тянуть? Приходи сегодня, к семи. Поужинаем.

— Спасибо. Буду.

— Ждем. Бегу за горячим. Даша рвет трубку.

Некоторое время мы с Дашей обменивались ничего не значащими фразами, затем я услышал, как хлопнула входная дверь.

— Что у вас произошло? — сразу спросила Даша.

— О чем ты? — Мне не была известна версия Стася, и не хотелось подводить его.

— Стась почти оглох на одно ухо. Он лечился в поликлинике.

Я промолчал.

— Мы расписались, — сказала Даша. — Стась переехал ко мне.

— Поздравляю, — сказал я. — Стась прекрасный мальчик.

— Может, ты придешь с Лелей?

Меня удивило, что она помнит имя моей подруги.

— Если смогу ее поймать.

Бедная Даша хотела максимально обезопасить предстоящую встречу, но боги смеются над жалкими ухищрениями смертных.

— Что у тебя с рукой?

— Ничего. А что?

— Зачем ты врешь? Мне о тебе все докладывают.

— Есть правило: никогда не говорить о том, что было в пьяном виде.

— А можно в пьяном виде не делать того, о чем потом нельзя говорить?

— Я постараюсь. Ты не волнуйся: твой Стась вел себя, как дон Сезар де Базан.

— Попробовал бы он вести себя иначе! — угрожающе сказала Даша...

Я пришел один, Леля оказалась вне пределов досягаемости. Мы провели время на редкость дружелюбно, хотя и не слишком оригинально: опять много водки, опять маринованные грибы, на этот раз покупные, и тот беспорядочный, вперевив, разговор, который случается между людьми, когда им хорошо друг с другом. Я пил за Дашу, за Стася, за них обоих, они — за меня. Потом раздался телефонный звонок. Стась снял трубку и ликуяще завопил:

— Вольдемар?! Ах ты, пропащая душа!.. Давай, ноги в руки — и к нам. У нас Юра, мы гуляем, как опричники. Ничего не надо, все есть. Боеприпасы — моя забота.

Он повернул к нам сияющее лицо.

— Надо же, Вольдемар! Как по заказу. Наконец-то объявился.

Я спросил, кто такой Вольдемар.

— Стась так называет Резунова, — пояснила Даша.

— Ему это идет, как корове седло, — поддавшись мгновенному чувству недоброжелательности, сказал я.

— Прием контраста, — засмеялся Стась. — Все, бегу за подкреплением.

Схватил авоську и умчался в магазин.

— Я позвоню Леле, — сказал я Даше.

— Зачем? — спросила она сухо.

— Позову ее. Ты же сама предлагала.

— Сейчас я не хочу. Поздно.

— А Резунову в самый раз?

— Сравнил! — И знакомо закатила глаз.

Понять ее отказ было проще простого: ей не хотелось знакомиться с Лелей в подпитии, когда стол разорен, в комнате беспорядок, воздух тяжел от алкоголя и табака. Другое дело, если б Леля распадалась вместе с нами. Резунов был свой человек, к тому же Стась позвал его, не спрашивая ее согласия. А с Лелей надо быть в форме. Но в моем воспаленном мозгу вспыхнуло совсем другое: ей не хочется делиться, она одна будет купаться в обожании трех мужчин. Собачья свадьба: три кобеля

дрожат, скулят, огрызаются, то и дело задирая ногу, а сучка вертит задом.

Ни слова не говоря, я поднялся и вышел.

Моя машина стояла под окнами, в ту пору я редко садился за руль трезвый. Переполюнявивший меня гнев отыгрался неловкостью: разворачиваясь, я задел бампером низенькую деревянную огородку детской площадки.

Сворачивая на Кропоткинскую, я заметил Резунова в коротком плаще и кокетливой кепочке — «семь листов, одна заклепка» называют в народе этот фасон. До чего быстро он появился. Похоже, звонил откуда-то неподалеку, может, уже направляясь сюда.

Смертельно оскорбленный за Лелю, я поехал к ней и застал дома. Отсюда мы отправились в «Арагви», а потом к ее родственникам, у которых для нас имелась маленькая комната, служившая нам верой и правдой вплоть до моего освобождения от брачных уз.

Вернулся я домой поздно утром и узнал, что накануне вечером меня разыскивал Стась. Я решил, что его огорчил мой внезапный уход, расстроивший тайную вечерю дружбы и любви, и не стал отзванивать, наш ужин принадлежал прошлому.

Вскоре выяснилось, что самое интересное на Зубовской произошло после моего ухода. А не уйди я, тоже произошло бы что-то интересное, но в другом роде. Застав Дашу одну, Резунов хватил стакан водки «под рукав» и стал к ней приставать. Не найдя понимания, он вспомнил о своей богатырской сути, схватил стул и ударом об пол превратил в щепу. После чего принялся выкручивать Даше руки и валить на диван. И тут вернулся Стась. Резунов успел отпустить Дашу, отошел к окну и закурил.

Стась вошел, звеня бутылками, сияя доброжелательностью, и увидел останки стула, заплаканную жену, растирающую синяки на руках, смущенно и застенчиво улыбающегося Резунова. «Юра?» — вскричал Стась и кинулся к телефону. Меня дома не оказалось, а Даша во избежание побоища не стала рассеивать заблуждения мужа. Резунов сразу собрался уходить. Стась, гостеприимный даже в скруте ярости, заставил чокнуть-

ся. «Ты уж прости, Вольдемар, что так нелепо получилось». — «Бывает», — вздыхал Вольдемар, натягивая плащ. Он отбыл, а Стась опять кинулся к телефону.

— Брось, — остановила его Даша. — Юра ушел к своей Леле следом за тобой. Это Резунов.

— Не верю.

— Юра не ломает стульев и не насирует женщин.

— Он тебя изнасиловал?

— Конечно, нет. Но пытался.

— Я его убью!

И тут раздался стук в дверь. Резунов вернулся за кепочкой, которую в вихре событий и переживаний оставил на вешалке. Было произнесено одно слово: «Подлец!» — за ним последовало несколько коротких сухих ударов, и Резунов оказался на полу. Он пополз, потом вскочил и с древним русским боевым кличем: «Еб твою мать!» — кинулся на Стася, размахивая руками, как мельница крыльями. «Кирне елейсон!» — ответил Стась старинным кличем польского рыцарства и разрушил ему нос. Резунов дубасил и месил воздух, Стась легко уклонялся от его размашистых ударов. Следующий его выпад лишил Резунова резца. Кровь потекла ему на шею, за ворот. Даше стало его жалко. «Хватит, Стась, пусть уходит!» Стась вырвал из ее рук кепочку — «семь листов, одна заклепка» и вклеил в окровавленное лицо, Резунов повалился навзничь. Да, это было не ворота таскать! Тренированная сухая западная сила столкнулась с сырым российским рукосуйством и раздавила его. Стась поднял Резунова за шиворот и вышвырнул за дверь. Вдогон послал кепочку. Прошло не меньше пяти минут, пока они услышали, как хлопнула парадная дверь. Вот что ожидало меня на углу Зубовской и Кропоткинской, если б Стась дал себе волю...

А потом началось противоестественное содружество четырех: Даши, Стася — Лели и меня. Ничто не мешало этому альянсу быть нормальным и милым, если б между мной и Дашей все окончательно оборвалось, но этого не было. Впрочем, знали об этом только мы с Дашей, да и то подпольным знанием...



Помню хороший зимний день. Звончок Стася.

— Слушай, чего мы киснем, как старики? Пошли на каток.

— Я не катался со школы.

— Ну и что? Ты даже в хоккей играл. Навык не пропадает.

Леля была у меня, слышала разговор, предложение увлекло ее. К тому времени она начала полнеть, и я с сомнением отнесся к ее конькобежным способностям.

— Вы не верили, что я и в волейбол играю.

Ни с кем в моей жизни я не был более на «ты», чем с Лелей, но мы так и остались на «вы» до последнего ее дня. А насчет волейбола — правда. В нашей стране всегда существовал пляжный волейбол, хотя родиной его считается Америка. Мы жили в деревне на канале Москва—Волга и каждый день на пляже в паре с Лелей обыгрывали всех желающих. Игра шла двое на двое, как и положено в пляжном волейболе, но мы не возражали, если против нас выходили втроем и даже вчетвером. Выигрывали мы отчасти из-за моей подвижности, я доставал все мячи, но главным образом благодаря Лелиным совершенным пассам — она выводила меня на завершающий удар с любой позиции. Ее бывший муж и отец сына был знаменитый волейболист из той легендарной сборной страны, которая впервые выиграла первенство Европы и мира. Я думал, что Леля обязана ему своим искусством, но она утверждала обратное: виртуоз легкого мяча влюбился в нее, увидев на волейбольной площадке.

Неплохо, если мы составим с Лелей на льду такую же привлекательную пару, как и на площадке, и я сказал Стасю:

— Леля едет с нами. Кирие елейсон!

Увы, на королеву льда Леля не потянула, я даже усомнился, что она когда-нибудь стояла на коньках. Мы выбрали Парк культуры и отдыха, самый быстрый любительский каток в Москве, но в последний момент предпочли беговым аллеям тихую заводь катка для начинающих — небольшой серебряный пяточок, весь уставленный креслами на полозьях. Держась за спинку, даже совсем не умеющий кататься мог как-то передвигаться по льду, хотя бы не падать. Леля с невероятным трудом доковыляла от раздевалки до катка и как схватилась за спинку кресла, так уже не отпускала. При этом она панически кричала, чтобы к ней не приближались. Ее гусиный шлеп ботинками, а не коньками по льду с последующим проскользком за креслом — пальцы судорожно вцепились в спинку, ноги раскорячены, в глазах ужас — был зрелищем не для слабонервных.

Стась, очень элегантный — на шее бордовый шарф, красиво заправленный под борта темного пиджака, на голове каракулевый пирожок, — делал уверенный разбег, затем цеплял мыском конька лед и падал во всю длину. Он объяснял это тремя рюмками коньяка, выпитыми натошак. Когда коньяк подвыдохся, он стал выписывать изящные круги, к вящему восторгу окружающих бедолаг.

Я — странное дело — мог кататься только задом. У меня хорошо получались и волнообразные движения, когда конек не отрывается ото льда, и вразножку по кругу. Вперед я тоже мог, не утратив сноровки, но буквально через два шага мучительная боль схватывала лодыжки, будто их стальными клещами сжимали, и я плюхался на ближайшую скамейку. Черт его знает, что произошло с ногами, я играл в теннис, был хорошим ходоком, бегал на лыжах, а тут — волком вой. Я ослабил шнуровку на ботинках, не помогло.

— Что с тобой? — спросил Стась, подъехав и форсисто затормозив.

— Смотри.

Я с трудом оторвался от скамейки, заложил руки за спину и пошел размашистым шагом, затем, сняв одну руку,

вписался в поворот и рухнул на скамейку. Стась подкатил с тем же форсом.

— Ты видишь, что я могу?

— Вижу.

— Но это все. Ноги как в тисках.

— Нарушение кровообращения. А когда задом, не болит?

— Нет.

— Интересный случай. Ну и катайся раком.

И пошел выписывать вензеля.

Я посмотрел на Лелю. Трудно было поверить, что на суше она являла собой столь любимый мною тип «бель-фам».

В конце концов нам все это надоело, даже Стась, выдержавший экзамен на скорохода, устал и потерял спортивный дух. Мы оторвали Лелю от кресла, подхватили с ~~двух~~ сторон и отволокли в раздевалку.

А выйдя из парка, мы увидели раздумяившиеся лица друг друга, еще недавно по-городскому, по-зимнему серые, и восхитились своим спортивным подвигом. При этом мы знали, что не вернемся сюда ни за какие коврижки, и радость усугубилась чувством облегчения. Похохатывая, мы уселись в машину и одновременно обнаружили наискосок через улицу, в стороне Калужской, пельменную, затеплившую еще при свете дня свой бледно-зеленый неоновый огонек.

— Как насчет того, чтобы отметить спортивный праздник? — неуверенно предложил Стась.

— И то, что Леля впервые в жизни встала на коньки, — добавил я.

— Да я прекрасно каталась! — сразу завелась Леля. — Просто я растренирована. А вы бы помолчали — рыцарь ракового хода.

— Вы читали Аполлона Григорьева?

— Не будем ссориться, — вмешался Стась. — Сегодня воскресенье, пельменные рано закрываются

От испуга я так рванул с места, что Леля и Стась опрокинулись.

В пельменной действовала система самообслуживания, народа почти не было, и мы в мгновение ока стали обладателями металлических мисок с горой разваренных,

выпавших из тестовой оболочки пельмешек и бутылки «Столичной».

— А все-таки мы молодцы! — сказала Леля. — Кто в наши годы ходит на каток?

— Есть еще порох в пороховницах! — поддержал я, впервые ощутив, что пороха осталось разве что на доньшке, да и тот отсырел.

— За лучшего друга советских физкультурников! — провозгласил Стась.

После второй бутылки я высказал соображение, что знаменитую статую «Женщина с веслом» — символ советской молодости и красоты — теперь заменят изваянием Лели с каталкой. Леля добродушно ткнула меня кулаком в бок.

И тут мы заметили, что на ресницы Стася набежала слеза.

— Что с вами? — участливо спросила Леля.

— Дашеньку жалко. Мы спортом занимаемся, отдыхаем, а она сидит себе одна...

— А почему вы ее не взяли?

— Она не умеет кататься.

— Бедняга! — искренне посочувствовала Леля.

— Возьмем водки, пельменей и поедем к вам, — предложил я. — Для полноты эффекта Даша может немного потолкать перед собой кресло.

— Я не знала, что вы такой злой... — начала Леля.

Ее заглушил восторженный рев Стася:

— Ребята, какие вы молодцы! Вот Даша обрадуется!..

Чуть не опрокинув столик, Стась кинулся к кассе...

Дашу обрадовало появление спортсменов. С Лелей она давно познакомилась, и та пришлась ей по душе. Даша вообще была крайне снисходительна к увлечениям своих бывших избранников. Так, она не забывала информировать меня о возлюбленных, невестах и, наконец, жене поэта — и все это были женщины выдающейся красоты, громкой репутации и редких душевных качеств. Она единственный раз вспомнила в разговоре — через много лет — о Резунове, чтобы сообщить мне о его женитьбе на чернобровой и кареглазой украинке. Леля была натурой богатой и сложной, но для самозащиты использовала природой данное ей

оружие — симпатичность. Легкая на подъем, компанейская, добрая при редкой пронизательности, она все другие свойства хранила лишь для избранных людей. Даже близкие подруги не ведали о ее едком остроумии, сильной воле и склонности к печальной самоиронии. Думаю, что в глубине души Леля относилась к Даше куда холоднее, ибо не доверяла ей. И была права.

Мы оказались желанными гостями еще и потому, что Даше не терпелось похвастаться щенком — эрдельтерьером, первой собственной собакой в ее жизни. Никогда не видев эрделя вблизи, я сразу и навсегда влюбился в бородатый кирпичик. Щенок был уже достаточно крупный, со всеми положенными свойствами породы: черным курчавящимся чепраком, желтой мордой кирпичиком и лапами, бородкой молодого попа, торчком обрезанным хвостиком, глядящим вперед, толстыми передними и мощными задними ногами. Странно, когда он вырос, то утратил некоторые качества: похудали передние ноги, раскорячились задние, грудь не обрела обещанной мощности, великолепны остались массивная голова и налакированный чепрак. Характер эрделий у щенка был весь налицо: страстный, деятельный, неутомимый и упрямый. Забегая вперед, скажу: увидев мою потрясенность, Леля через два месяца преподнесла мне на день рождения молочного щенка — эрделя, незабвенного Лешку. За неумное хулиганство я прозвал его Бушменом. Вероня думала, что это фамилия, а полное имя: Леонид Бушмен.

Мы так надрались, что хозяева не отпустили нас домой. Они считали, что в таком виде нельзя садиться за руль. «Как водитель он более опасен, когда трезв, — уверяла Леля. — Мало опыта». Но они настояли на своем.

К этому времени Даша и Стась остались в одной комнате, соседи все-таки переехали. Нам всем пришлось лечь, не раздеваясь, впокат на широкой низкой тахте.

Утром, когда Стась побежал за опохмелкой, а Леля принимала душ, Даша сказала с какой-то странной интонацией:

— Ты обнял Лелю во сне. Вы всегда так нежно спите?

В тоне не было ни подвоха, ни насмешки, ни скрытого недоброхотства — какой-то добрый и грустный интерес. Я

долго потом думал над ее интонацией. Даше была чужда праздная игра чувств, равно и пустая болтливость, за каждым ее словом всегда скрывался смысл, важный для нее, но я не разгадал подтекста вопроса...

Осенью Даша затеяла поход в Нескучный сад, мы должны познакомить наших собак.

— Они же кобельки, — сказала Леля. — Вряд ли сойдутся.

— Ну, ваш еще щенок, а наш только вошел в юношеский возраст, — возразила Даша. — Оба еще мальчики, им нечего делить.

Идею всеобщего сближения и сдруживания Даша унаследовала от матери, которая в жизненной практике нередко достигала прямо противоположного результата. Мне кажется, что этим благородным, хотя и нереальным стремлением проникся и Стась. Даже печальный опыт Резунова ничему его не научил.

Поездка в Нескучный сад по своей нелепости, утомительности и несостоятельности мало чем отличалась от ледовой феерии. Но все же и от нее какой-то свет в душе остался. Медь октябрьских деревьев, выблиски крестов сквозь марево, накрывшее город, тяжелая вода Москвы-реки в голубых пятнах неба. Этот день был — среди стольких дней, не оставивших по себе никакой памяти.

Лешка принадлежал к числу рослых эрделей и, хоть еще лопух, был выше, мощней, шире в груди, чем его старший собрат. На своих длинных, толстых ногах Лешка как-то выявил неаристократичность Джоя. Влюбленные глаза хозяев этого не замечали, но сам пес заметил и проникся антипатией к Лешке. Его не смягчило и то, что Лешка сразу признал в нем пахана и с трогательной доверчивостью стал учиться у него жизни.

Истерика началась еще в машине по пути к Воробьевым горам. Джой лаял, выл, куда-то рвался. Стась едва удерживал его своей сильной рукой, награждая порой увесистыми шлепками. Тот скалил желтые клыки, утробно рычал, но, боясь хозяина, делал вид, что его раздражает творящееся за окнами машины. Наш довольно долго терпел, только вздра-

гивал и прижимался к Леле. Они сидели впереди, возле меня. Эрдели очень возбудимы, и вскоре Лешка стал отзываться рыку и клокотанию Джоя сперва поскуливанием, жалобными взвоями, потом зашелся в захлебном детском лае. Он завертелся, вырвался из Лелиных рук и вдруг сел на руль. Некоторое время мы ехали, как «Скорая помощь», непрерывно сигналив, — Лешка то нажимал задом сигнал, то освобождал его, наваливаясь на меня. «Идем слепым полетом!» — сообщил я пассажирам, тщетно пытаясь избавиться от Лешки. В ту пору гудки еще не были запрещены, но наша музыка привлекла внимание гаишника. Он дал знак остановиться и прижаться к поребрику тротуара.

Я опустил стекло, и когда милиционер подошел, Джой излил на него всю переполнявшую его ярость. Он стал лапами на спинку моего сиденья, высунул в окошко львиную башку и так облаял милиционера, что тот попятился. Оттого что Стась тянул его за ошейник, он охрип, и это усилило грозность басовых рулад. Холуи атавистически боятся собак, из мента как будто выпустили воздух. Подражая пахану, и наш Лешка слез с руля и довольно убедительно разыграл ярость. Теперь они материли стража порядка в два горла.

— Что у вас с сигналом? — пытаюсь сохранить достоинство, крикнул мент. — Предъявите права!

— Собачка случайно села на руль. Больше этого не повторится, товарищ лейтенант! — Из подхалимства я произвел старшину в офицеры. — На выставку служебных собак едем.

— Предъявите права, — повторил он, но куда мягче.

Тут Джой с таким бешенством рванулся в окно, что Стась едва сумел его удержать.

— Проезжайте! — крикнул мент.

Я не заставил повторять. Мы кое-как справились с псами и благополучно добрались до Воробьевых гор.

В чудесной желто-красной аллее, протянувшейся по-над Москвой-рекой, мы вышли из машины и отпустили на волю наших парней. Джой принялся деловито обнюхивать подножия деревьев, кусты, собранную в кучи палую листву, энергично скидывая ногу, где требовалось удостоверить свою личность.

Младший был очарован его удалью и стал изо всех сил подражать специалисту. Леша, еще путавший мужественный вскид задней лапки с бабьим приседанием, теперь понял, как должен вести себя настоящий мужчина, но сначала от излишнего усердия делал слишком резкое движение ногой и шлепался на землю. Обиженно оглянувшись, он вставал и снова начинал кропить окрестность. Дело шло все лучше и лучше. Вскоре он по изяществу и лихости сравнялся со своим учителем, а там и превзошел его. Сказалось преимущество более длинных и стройных ног. Он научился у пахана не только жесту, но и умному, экономному расходованию золотого запаса, чтобы хватило пометить все нужные участки.

Когда освоение жизненного пространства завершилось, Стась стал бросать палочку Джюю. Тот прослеживал полет, чуть присев на задние ноги, затем кидался вперед упругим скачком, мчался, пригнув голову, и приносил палочку. Стась благодарно трепал его загривок, пес прижимал уши, но палочку не отдавал. Он грозно рычал, тряс головой, перехватывал палочку, скаля зубы, — это тоже входило в игру, но в какой-то момент уступал и с горящими глазами ждал нового броска.

Леша вначале не мог взять в толк сути игры. Он мчался следом за Джоем и хватал первое, что попадалось на зуб: шишку, какую-то грязную тряпку, гнилую ветку, — и, гордо закинув голову, нес мне свой улов. Он не мог понять, почему я не благодарю его за подарок. Когда же я стал кидать ему палочку, он не бежал за ней, а смотрел, будто ждал разъяснений. Я не мог дать их, и он косил на молодчагу Джоя и наконец понял, что к чему. Какой был восторг, какое упоение, когда, схватив палочку, он нес ее мне, выслушивал комплимент, прижав уши, а затем разыгрывал обряд мнимого нежелания расстаться с добычей.

Какое-то время было хорошо — от деревьев, горького запаха сухой листвы, просвечивающего сквозь медные кроны бледно-голубого, не московского, а слабенького деревенского неба, собачьей веселой энергии, затем пошла порча. И началось с собак: дружбы явно не получилось, все шло врозь, когда же Леша попробовал кокетливо-почтительно задеть

Джоя, тот злобно огрызнулся, глаза его натекли кровью. Упрямый, как все эрдели, Леша повторил предложение к возне, и Джой тяпнул его всерьез. Леша взвизгнул, отскочил, затем подбежал ко мне за утешением.

Даша огорчилась. Стась сурово выговорил Джою, но хозяевам в глубине души всегда приятно, если их собака берет верх. Джой понимал, что выговор несерьезный, и когда успокоенный Леша подбежал к нему, чтобы восстановить отношения, он укусил его от души.

— Так не пойдет, — сказал я.

Владельцы агрессора поняли, что я разозлился всерьез. Стась сгреб Джою и крепко хлестнул его поводком. Джой завизжал, будто его режут. У Даши притемнилось лицо, она еще раз поняла, что односторонне добрые намерения не гарантируют успеха. Леша, впервые видевший наказание, прижавшись ко мне, дрожал мелкой дрожью. Леля отвернулась. Нам всем было неловко: живая природа не подчинялась и разрушила самоуверенные человечьи расчеты.

А я подумал, что Даша по-эрдельски упрямо втягивает меня не в мою игру, и это обречено, как попытка сдружить наших псов, не нужна мне семейная дружба, при самом добром расположении к Стасю она хуже гнусного, но искреннего поведения Резунова, потому что нет ничего противнее фальши. Даша не фальшивит, но не хочет считаться с действительностью, весь она знает о моем настоящем отношении к ней, весьма далеком от расслабленных благорастворений дружбы. И почему она меня не отпустит, я же могу заставить себя не звонить ей? Я не знаю, когда печаль потери невыносимей — когда она уходит в воспоминания или когда я, находясь возле нее, чувствую себя отброшенным дальше, чем самые слабые звезды, которые Гербет наблюдал в цейсовско-молотовский телескоп.

Утомленные псы на обратном пути вели себя тихо, подремывая на сиденье и теряя равновесие при каждой перемене скорости машины. Мы добрались до Зубовской без приключений. Стась настоял, чтобы мы по традиции отметили воскресное мероприятие глотком-другим. Мы зашли к ним, но посиделок не получилось. Джой осатанел от злобы,

что чужак вторгся на его территорию. Он выписывал круги по комнате, рыча, скуля, воя, рыдая и кропя золотистой струей обои. Видимо, у него оставался энзэ, наш бедный пес даже не пробовал помочиться, полностью истратившись в Нескучном. Ни окрики, ни шлепки Стася не помогали. Дждой до последней капли мочи готов был отстаивать свое место в доме, свое место возле любимых хозяев против наглого захватчика, который сидел ни жив, ни мертв у моих ног, но уже начал как-то опасно клокотать внутри своего полудетского организма, ведь он был эрделем и смирение не входило в число его добродетелей. Пройдут оторопь и детский страх перед паханом, и он ринется на обидчика с тем же бесстрашием, с каким его родичи кидались на немецкие танки.

Где тут было расслаживаться, мы выпили второпях по рюмке и отправились восвояси...

Время шло, у Даши родился ребенок, увесистый малый, она вся была в пеленках, кормлении, детских болезнях — советские дети получают в роддомах солидную порцию микробов. Мы носили новорожденному «на зубок», поздравляли счастливых родителей, приходили взглянуть на его первые самостоятельные шаги.

Страна меж тем жила своей темной, исключенной из мирового обмена, фантазмагорической жизнью — с безродными космополитами, врачами-отравителями, разгромами лучших писателей и музыкантов, с нудными декадами национальных искусств в Большом театре, со сталинским учением о языке, с переполненными тюрьмами и лагерями, со всем маразмом состарившегося диктатора-кровопийцы, в параличном ожидании апокалипсиса. И вдруг лопнул какой-то крошечный сосудик, перестало биться злое сердце, и все разом пояснило: оказывается, мы жили совсем не так, как надо. А как надо, показал мужицкий царь Никита. Оставшаяся позади великая, как нам втемяшивали, эпоха обернулась культом личности, а новое время поначалу называли оттепелью. Пройдет не так много времени, и оттепель окажется волюнтаризмом буйного Никиты. Но мы этого знать не могли и упивались скупой отпусканием воздухом свободы. Затем этого воздуха стало куда больше, мы дышали

всей грудью, но тут краны опять подзакрутили. Впрочем, это уже не имеет отношения к нашему повествованию. С приходом эпохи застоя расстались Дафнис и Хлоя.

В гниловатую, сопливую, простудную и все равно благословенную эпоху оттепели сохранились времена года. Стоял жаркий июль, когда я почему-то оказался у Даши и Стась. Я все с меньшей охотой бывал у них: они отдали Джоя. То ли пес не захотел делиться с новоселом любовью и заботой хозяев, то ли ребенок его боялся. Я никогда не пылал особой любовью к Джою, травившему моего Лешу, но мне его не хватало, этот сукин сын при всей своей истеричности был мне куда милее сына человеческого, хмуро ковылявшего по комнате.

Сейчас, впрочем, не было ни Джоя, ни его погубителя, отправленного с теткой на дачу.

Комнату пронизывали пыльные солнечные лучи, в форточку тянуло выхлопными газами, всей вонькой духотой московского жаркого июля. Даша сетовала на то, что опять осталась в городе, она уже забыла, как пахнут лес, трава, река, забыла названия полевых цветов и чувство земли под ногами.

— Хотите, я вывезу вас на природу? — предложил я.

— Мне нравится летняя Москва, — сказал Стась.

— Он любит этот ужасный «Эрмитаж», — сказала Даша. — И какое-то еще крошечное место — сад Баумана, что ли?

— Я даже не знаю, где он находится, — пожал плечами Стась. — А «Эрмитаж» мне пришлось. Напоминает Ригу. Неплохой оркестр, ресторан на открытом воздухе, вкусное мороженое, веселая толпа.

— Толпа не бывает веселой, — сказал я, — она всегда нацелена на убийство. Нет ничего страшнее московских летних садов. Островки пыльной зелени, зажатые домами, с мусорными аллеями, дешевыми девками и оглушительной музыкой.

Даша пошла на кухню за чайником.

— «Эрмитаж», конечно, гнусное местечко, — со смешком сказал Стась. — Но ведь надо где-то чемодан разгрузить.

Я понял, что он имеет в виду, лишь когда он назвал имя своего вожа, открывшего ему соблазны «Эрмитажа», моего старого приятеля Ваверлея. От молодого социолога Вавер-

лея, тогда докторанта, ждали много в научных кругах, и он не обманул ожиданий, став неоспоримым авторитетом в своей области, профессором, академиком. Но до того, как он осуществился в науке, Ваверлей осуществился в образе самого выдающегося бабника Москвы. У Ваверлея всегда был один главный роман (в дни, о которых идет речь, его избранницей оказалась наша голенастая домработница Нюська, поэтому у нас в доме не переводились свежие розы и лилии), но Ваверлею необходимы были летучие связи для полного освобождения плоти и духа, влекомого к демографическим проблемам. Осенью и зимой он посещал московские плешки возле «Метрополя» и «Гранд-отеля», весной и летом — сад «Эрмитаж». Так вот что значит «разгрузить чемодан»!

И как легко это было сказано! Впервые от Стася пахло пошлостью маленькой провинциальной страны. Ваверлей разгружался чуть не ежедневно, но всегда спяну, по наитию, в надежде на романтический поворот вульгарного приключения. Он каждому падшему созданию хотел купить швейную машину «Зингер» и не делал этого лишь потому, что наших курв не прельщает участь швеи. А тут прозвучала бюргерски спокойная расчетливость. Так ходят в парикмахерскую, в баню, в бассейн. Ночевая с женой уже приелась, не удовлетворяет, а среди пыльных кущ «Эрмитажа» ждет оперативное наслаждение за пятерку.

Почему так болезненно задела откровенность Стася? Я оскорбился за Дашу? Но ведь этот чисто физиологический акт даже изменой нельзя назвать. Эдакое хладнокровное отправление естественной надобности... Тем-то оно и было противно. То, что для меня и через пятнадцать лет оставалось чудом, для него потеряло цену, едва став привычным. И эта сытая невозмутимость! Мне было жалко Дашу и почему-то жалко себя, спокойный цинизм Стася обесценивал трудную непростоту наших отношений. Болезненное волнение охватывает меня всякий раз, когда я вижу Дашин профиль: крутизну лба, чуть вздернутый нос, изящную линию от верхней губы к шее и притемненный в коричневую густыми ресницами глаз цвета лесного ореха. И от всего этого пресытившийся охламон спешит в «Эрмитаж» разгружать чемодан! Уваже-

ние, которое я испытывал к этому браку, улетучилось без следа.

Я предложил Стасю подбросить его вместе со всем багажом в «Эрмитаж», а уходя, спросил Дашу:

— Хочешь съездить на Истру или в Химки?

— Истра далеко, я не очень хорошо переношу машину, а Химки — тот же «Эрмитаж». Неужели чистый воздух стал так трудно достижим?

— Нет, конечно. Я думал, тебе интересно взглянуть на знакомые места.

— Это не лучшие воспоминания.

— Ладно, найдем, что нужно...

Но найти то, что было нужно мне, оказалось делом не простым.

Я не стал играть в Дашей в недомолвки и всякие тонкие игры и, едва мы тронулись в путь, сказал:

— Я истосковался по тебе. Так дальше нельзя...

Она вздохнула.

— Ты мне веришь?

— Приходится верить. Стал бы ты меня разить, а то ведь

Несвойственная ей простота, покорный вздох и теплота тона подсказали мне, что Даша догадывается об истинной цели буколических прогулок Стася. Ведь она никогда не романтизировала его, как это было с Резуновым. Тихая пристань. Но оказалось, что тихая пристань стоит над тихим омутом, где, как известно, черти водятся. Открытие, конечно, не доставило радости, но драматизировать его она не стала. Был ребенок, был дом, налаженная жизнь и был, наконец, я, заигравшийся в дружбу, вместо того чтобы нести положенную службу любви. Сейчас все возвращается на круги своя.

Я понял меру моей тоски, лишь услышав ее слова, означавшие согласие, какая-то странная истома овладела мною. Наверное, такое чувство испытывает бегун на длинные дистанции, когда разрывает потной, простреливаемой изнутри — сердцем — грудью финишную ленточку. Нет, это неточный образ. Я лишь вышел на финишную прямую, а ленточка чуть видна далеко впереди, до нее еще надо добежать, мобилизовав остаток сил. Внутреннее напряжение реализовалось физически: я до отказа

выжал педаль газа, и машину швырнуло вперед. Мы чуть не врезались в зад впереди идущего грузовика. И тут же раздался милицейский свисток.

Уплатив штраф и сочтя его искупительной жертвой, я приказал себе успокоиться. Если я буду продолжать в том же духе, мы окажемся вместо леса в институте Склифосовского или в отделении ГАИ.

Я справился с нервами, больше меня не останавливали. Я выбрал знакомый мне по грибной охоте опрятный смешанный лесок по Калужской дороге. Тогда это было узенькое, лишь недавно сменившее булыжник на асфальт шоссе, никуда не ведущее, просто упиравшееся в старую Варшавскую дорогу, с малым движением и безлюдными просторами. В пути мы почти не разговаривали. Даша опустила стекло, подставив висок, щеку и выбившийся из-под платка локон встречному ветру. Она наслаждалась чистым, хорошо настоявшимся на хвое и листве воздухом, мелькающими мимо рощами, перелесками, громадом кучевых облаков, придававших пейзажу динамику, отсутствием Стася и тяжелым помешательством на ней ведущего машину человека.

Лес, который я наметил, неожиданно оказался куда дальше от Москвы, чем казалось. Даша неважно переносит машину, а вдруг она скажет: давай выйдем здесь, что-то меня мутит? А затем, попрыгав козочкой по траве, попросит отвезти ее домой. Меня аж пот прошиб. Здесь все просматривается, как на юру. И ведь не заставишь ее ехать дальше. Я уже слышал положенные в таких случаях слова: ну, милый, не будь таким упрямым, мы же не в последний раз видимся. Зачем так спешить? Неужели тебе ничего от меня не надо? Посмотри, какой лес, какая трава, как хорошо нам сейчас. Это же начало, а не конец. Всеблагой Боже, сделай, чтоб ее не замутило!..

Я прибавил скорость. Родная, потерпи, молил я Дашу беззвучно, мы скоро приедем. И не думай... Ты же знаешь, как я люблю природу. Я буду Фабром, Левитаном и Пришвиным в одном лице. Природолюбец, певец природы, человек из глубины пейзажа. Там так хорошо, куда я тебя везу: прогретые солнцем, устланные хвоей опушки, дивная

прель глубоких балок, заросших таволгой и дудками со скипидарным запахом; там воздух напоен ароматом сосновой смолы и горечью березовой коры...

Мелькание черных и белых пятен впереди на дороге обернулось стадом коров остфризской породы, пересекавшим шоссе. С какой омерзительной медлительностью и бестолковостью совершают коровы этот нехитрый переход! Недаром по умению переходить дорогу определяется ум живого существа. На первом месте — свинья, на втором — гусь, а корова уступает даже человеку, не говоря уже о собаке. Я был далеко, когда находившиеся на шоссе полотне коровы дружно остановились и повернули ко мне тупые рогатые головы. Я подъехал ближе и выключил мотор, чтобы не отвлекать их. Тщетная предосторожность, ни одна не двинулась, более того, уже перешедшие вернулись назад. Они смотрели на машину с таким видом, будто приплелись сюда из феодальной России и сроду не видели автомобиля — волшебной самодвижущейся телеги. А пастух с квелым лицом пропойцы, на плече размочалившийся кнут, равнодушно сворачивал «козью ножку».

— Эй, дядя! — крикнул я ему. — Может, освободишь шоссе?

Он посмотрел сонными медвежьими глазками, никак не отозвался и принялся слюнить газетный обрывок толстым синим коровьим языком, чтобы закленить трубочку.

— Коровы! — обрадовалась Даша. — Я так давно не видела коров!

Я сообразил, что, пока машина стоит и мотор выключен, ее не укачивает, и успокоился. Пастух задымил с тем же безучастным видом, но, разочарованный моей пассивностью, исключавшей возможность и шантажа, и сладкой русскому сердцу склоки, сам взялся за кнут и прогнал скотину с шоссе.

Наконец-то добрались мы до места назначения. Я поставил машину в тень, мы вышли. До опушки леса было шагов десять, но добраться до него оказалось делом непростым. Мне вспомнилась шутка толстяка Апухтина: жизнь прожить проще, чем перейти поле. Дашу зачаровало цветочное изобилие маленькой лужайки.

— Боже, я забыла их имена. Это колокольчик, это львиный зев, а это кто?.. Такая липучая. Гвоздика?

— Нет, смолка лесная.

Она с сомнением поглядела на меня.

— А это?

— Герань полевая. А это фригийский василек... Ты зря их рвешь. Букет завянет, его не довезти, а кроме того, они все занесены в Красную книгу. — Названия я, возможно, и путал, а вот насчет книги наврал сознательно. Надо было скорее перейти это поле, чтобы вернулась жизнь.

— А раньше цветы не вяли? Мы всегда приносили из леса букеты.

— Ну, и долго они у вас стояли? Полдня от силы. Вы их выбрасывали и набирали новые. Держатся только ландыши, ночные фиалки и ромашки. Но те уже сошли, а ромашек что-то не видать. Львиный зев тоже крепкий цветок, но лучше нарвать их на обратном пути.

Мы вошли в лес. Я забыл, что уже начался грибной сезон. Всюду звучало «ау» и шныряли шустрые старухи с кошелками. Только мы опустились на мягкий мох у подножия трех сросшихся корнями плакучих берез, как прямо на нас выскочила старая карга с палкой-щупом, охнула, перекрестилась и враз исчезла.

Место было осквернено. Мы с достоинством поднялись и проследовали в глубь леса, пока валежник не преградил нам путь. Здесь росли высокие папоротники, а за ними сухой игольчатый настил уходил под лапчатый свод старых елей. Я расстелил широким пастернаковским жестом свой пиджак в ширину. Даша опустилась на него. Я окинул взглядом зеленую вверх и вниз, дымчато-фиолетовую в прозорах между стволами обитель счастья и стал на колени рядом с ней. Я не успел обнять Дашу. Лес наполнился грохотом, будто лосиное стадо ломилось сквозь чащу, — в папоротники ворвалась, на ходу задирая юбку, цыганистого обличья грибница и, не заметив нас, повернулась задом, отвратительно раскорячилась и по-коровьему мощно, шумно стала поливать тугие растения. Мне казалось, я вижу жерло сивиллы, явленное Пантагрюэлю и его спутникам, искавшим

по миру последнюю мудрость. Короткой растерянностью я подарил хрычовке несколько лишних секунд удовольствия, затем крикнул:

— Катись отсюда, чертова перечница!

Она охнула, взвизгнула и, гулко кропя папоротники, ринулась прочь, забыв опустить подол.

— Не лес, а общественная уборная, — сказал я. — Ну его к бесу, поедем дальше...

Новое место я нашел по наитию, ибо никогда не бывал тут раньше. Меня привлек широкий, совсем не наезженный большак, отходивший от шоссе километрах в трех от нашей первой стоянки. Дорога пересекала поле, пошла перелеском, становящимся все гуще и гуще, и вот уже вокруг нас шумит и трепещет лиственный лес: березы, осины, а дорогу словно отжало за ольховую опушку. Я припарковал машину в орешнике. Мы вышли.

Лес, словно концентрационный лагерь, окружала колючая проволока, местами оборванная, спущенная со столбов, втоптанная в траву и землю. То был странный лес — сквозной, без подлеска и валежника. Вдруг перед нами возникло нечто похожее на тюремную стену: высокая бетонная ограда, по-над которой тянулась колючая проволока. Но задумываться над этим я не стал, не до того было. Даша ни о чем не спрашивала, целиком доверившись мне. Лихой пастернаковский жест — лесная постель готова.

Я как раз успел снять штаны, когда раздался спокойный, четкий мужской голос:

— Мы открываем огонь без предупреждения.

Перед нами стоял капитан, в ремнях, со шпалером в кобуре и повязкой дежурного по части на рукаве. Он не дал себе труда ни для насмешки, ни для иронии, ни для разноса, добавив бесстрастным голосом:

— У вас есть три минуты.

— В три минуты мы не уложимся... — начал я остроумничать и вдруг понял, что слова капитана не пустая угроза.

Я быстро привел себя в порядок. Капитан следил за мной тяжелым, неподвижным взглядом.

— Похоже на гитлеровский бункер в Мазурских болотах, — сообщил я ему, кивнув на бетонную стену.

Он не отозвался. Мы пошли из леса, чувствуя спиной его неотступный взгляд. Я украдкой глянул на часы, у нас оставалось в запасе полминуты.

Мы уложились.

— «Весь мир враждебен нашей страсти нежной!» — пропела Даша впервые на моей памяти, когда мы оказались в безопасности.

Это из какой-то старой оперы, «Тисбе», что ли?.. Даша пела, Даша не злилась на меня за эти неопрятные приключения. Она была в прекрасном настроении, фатальные неудачи только веселили ее. Тогда ничто еще не пропало, вперед к новым рубежам!..

Не мудрствуя лукаво, ибо уже убедился, что боги смеются над бедными человеческими расчетами, я тихо повел машину вдоль опушки, надеясь, что зона с колючей проволокой когда-нибудь кончится. Они открывают огонь без предупреждения, а заделать прорехи в колючей огороже у них руки не доходят. Как это по-советски: сразу стрелять, лишь бы не сделать рабочего усилия. Я внимательно приглядывался к лесу, но, черт бы их побрал, всюду посверкивали металлические колючки. Неужто они устроили в Подмосковье лагерную зону на манер Карельской? Я не знал тогда, что это был — еще в зачатке — новый оборонительный пояс вокруг столицы, ныне лишивший Подмосковье чуть ли не половины лесов.

Случись такое с гражданами нормальной страны, они бы угомонились, признав свое поражение. Но ведь наш народ вносит свои поправки в любую акцию властей. Проволоку порвали грибники. Неужели они шли на смертельный риск ради подберезовиков, лисичек и сыроежек? А может, там и рыжики попадают? Нет лучше закуски — соленого рыжичка! Но даже при нашем живодерстве трудно поверить, что по любителям рыжиков вели смертоносный огонь из-за бетонной стены. Ну, стрельнут раз-другой для остратки, может, кого и заденут, кого и уложат, но не всех же, отдельных неудачников, а раз так, то стоит рискнуть. Нельзя отступать, когда цель так близка.

Я углядел разрыв в огороже, подъехал почти вплоты и остановил машину. Даша беспечно последовала за мной, похоже, ее мало озаботила угроза капитана.

Я увидел неподалеку от лаза, у подножия голенастой елки, какую-то кочку и решил на ней построить здание своего счастья. Стелиться в ширину было все-таки опасно, и я избрал способ, позволяющий в случае необходимости совершить быструю ретираду. Поэт не оставил метафорического намека на эту позу, а мне хотелось бы избежать физиологизма Генри Миллера. Короче, я опять спустил штаны, уселся на эту кочку, но не успел притянуть к себе Дашу, взвившись с воплем над песчаным бугорком. Это был скрытый муравейник, и несколько огромных рыжих, с черным рылом муравьев впились мне в задницу. На обычный, открытый, кишачий черными муравьями муравейник можно положить руку ладонью вниз, и они не тронут, хоть и облепят со всех сторон. Быстро встряхни кисть, и только спиртовой запах будет напоминать о смелом эксперименте. Но упаси Боже садиться голой задницей на скрытый муравейник с желтыми бешеными обитателями.

Вырвав из тела рыжих палачей, я с бешенством отчаяния повалил хохочущую Дашу на землю и упал на нее. Плевать я на все хотел: приходите, капитаны, полковники и генералы, открывайте огонь из всех видов оружия с ваших вышек, из амбразур и бойниц. Бейте по любви всеми калибрами, расстреливайте мою голую задницу, лупите в беззащитную спину под лопатку, и пусть мою любимую прошьет той же пулей. Меня тошнит от вас и от тех, кто вложил оружие в ваши детски беспомощные руки. Эти гады лишили неприкосновенности наши жилища, влезли с грязными ногами в наши души, теперь отняли последнее — природу, тишину и чистоту зеленой жизни. Погибая от любви и захлебываясь от ненависти, я завершил акт воссоединения с Дашей.

Когда мы подъезжали к Дашиному дому, она сказала: на природе чудесно, но, кажется, я тоже становлюсь урбанисткой...



Даша все-таки сумела осуществить свой давно лелеемый план о воссоздании старой французской ситуации, только при другом распределении ролей. Она, естественно, осталась Мабиш, но я вместо предлагаемого мне прежде Бри-Бри стал Гюставом, исполненным редкого благородства. А Бри-Бри пришлось взять на себя Стасю, хотя не думаю, чтобы он догадывался о своем участии в спектакле. Иногда мне кажется, что он не знал об истинной сути моих отношений с Дашей, а иногда — что у него мелькала смутная догадка, которую он гнал прочь, оберегая свой эрмитажный рай. Вернуться в образ добродетельного супруга, домоседа, сторожа семейного очага он уже не мог. Яркая жизнь Ваверлея манила куда сильнее, нежели тишина родных пенатов. Даша не представляла для него такой ценности, как для меня, поэтому проще было видеть во мне старого друга, согласного на чуть обременительную обязанность развлекать бывшую жену, нежели человека, охваченного страстью, уцелевшей во всех жизненных передрягах.

Следующая встреча с Дашей прошла совсем в ином ключе. Нечистый подтолкнул нас пойти в ресторан «Москва», так много значивший в нашей юности. Уже у входа мимо нас промелькнул Павлик в военной форме, точно такой, каким я видел его в последний раз. Тогда он хотел чокнуться с Оськой, посланным вперед, чтобы занять столик, но обна-

ружил, что опаздывает в часть. «Привет Осляти!» — сказал Павлик и побежал за троллейбусом. У меня и в мыслях не было, что мы больше не свидимся — его отправили в летние лагеря, а оттуда на фронт, но почему-то я долго смотрел вслед долговязой, сухой и ловкой фигуре, пока ее не поглотила толпа. И сейчас я долго следил за его призраком, то исчезающим, то возникающим вновь, провожая его за пределы реального зрения, ибо колесо улицы не позволяло видеть площадь Пушкина, а я расстался с ним у памятника.

— Что с тобой? — спросила Даша.

— Я видел Павлика.

Она странно посмотрела на меня.

— И я его видела.

Вот то, чего у меня не может быть ни с какой другой женщиной: увидеть вдвоем (вопреки утверждению Гете) призрак из дней юности.

И дальше все шло на срывающей душу ноте. Мы оказались за тем самым (или соседним) столиком, где мы сидели с Оськой, когда моя жизнь пошла на слова погодинского романса. И Оська пришел и занял свое место. Он помалкивал, только улыбался смущенно-лукаво: вот, мол, какую штуку я отчудил. Что он имел в виду: свою гибель или свое появление? Я сделал заказ и, когда официант принес графинчик с водкой, разлил на троих. Даша не удивилась, она взяла свою рюмку и сказала: «Не чокайся!»

Мы выпили и остались за столиком вдвоем, но теперь я слышал Оськин голос: «Молодой человек, а без огня. Мне он ни к чему, я зажигаю трением». Я долго крепился, меня доконала, как всегда, грубая драматургия жизни: оркестр заиграл «Танго расставания», и молодой тенор, подражая проникновенной манере Аркадия Погодина, потек жалобой:

*Мой милый друг, к чему все объяснения,
Я понял все, не любишь больше, нет,
И просто так, из сожаления
Не хочешь дать мне искренний ответ...*

Я закрыл салфеткой мокрое лицо. Пришлось пойти в туалет и умыться холодной водой. Когда я вернулся, Даша спросила:

— Мы можем пойти в Подколокольный?

— Ключ со мной, хотя я не думал, что мы туда пойдем.

— Почему?

— Я не ожидал встретить здесь Павлика и Оську. Но Подколокольный населен призраками, как старый шотландский замок.

— Там мы всегда были одни, — с женским здравомыслием возразила Даша.

— Самое страшное — встретиться с призраком самого себя.

— А я бы не прочь увидеть свое молоденькое привидение.

Я подозвал официанта.

В Подколокольном меня — не знаю Дашиного ощущения — окружили призраки не людей, а вещей. С тех пор как эта квартиренка перестала быть нашим с Дашей приютом, я был тут лишь однажды, во время войны, по сугубо житейскому делу. Никакой магии: убогое холостяцкое жилье — лежак, обшарпанный письменный стол, бедная книжная полка, пыльное окно, глядящее в скучный деловой двор.

Но когда мы с Дашей вошли, я сразу уловил, как приосанились вещи, словно вспомнив о своей важной тайне. Окно населилось вязом и небом, письменный стол помнил, как Даша ударилась о него лбом, когда услышала, что меня не убьют на финской войне, тощая тахта напустила на себя томность, а пружины, когда мы опустились на нее, взныли первыми тактами бетховенской оды «К радости».

Так же важны и насыщены памятью были все мелкие вещицы в доме: водопроводный кран с подвязанной к нему тряпичей, по которой стекала в умывальник вода, конфорка, дарящая после яркой пожарной вспышки слабый фиолетовый венчик пламени, алюминиевый чайник с обгорелым днищем, щербатая чашка, граненый стакан, непарные ложки, пиленный сахар в синей обертке и сушки, судя по их твердости, сохранившиеся с довоенных дней, — весь спартанский обиход очень бедной жизни.

Замкнулся круг: мы опять были там, где началась наша близость. Между первым и сегодняшним приходом сюда легло столько нелегкой жизни: война, потеря друзей, смерть

Дашиной матери, разрушение ее дома, создание нового, рождение ребенка, эти года вместили и Марин лагерь, и его возвращение из мертвых, и ссыльную жизнь, и раннюю смерть; я уже дважды начинал ее сначала, на очереди третья перемена, которая ничего не изменит в главном. У меня было особенно много ненужностей: рук, губ, объятий, несостоявшихся дружб, после Павлика и Оськи я получал от людей куда меньше, чем давал, а на периферии личной жизни творилась история, естественно, затрагивая нас: грязная история сталинского бреда, забивание вражеских стволов русским мясом, гнусная расправа с теми, кого Сталин, перехитрив самого себя, подставил немцам, удушение литературы, искусств, науки и мысли, расправа с лучшими в народе, фашистский разгул затянувшейся агонии великого диктатора, новая ложь и обман надежд, кукурузный бум без кукурузы, забой всего домашнего скота, включая ишаков, во имя возвращения к ленинским нормам жизни и скорейшего прихода коммунизма на пепелище, и через все это безумие, спотыкаясь, падая, теряя сознание, мы вели нашу линию, вроде бы и сами не ведая о том, не ставя себе никаких целей, но покорные тайному голосу.

Люди не меняются, жизнь никого ничему не учит — это справедливо, но, как всякое крайнее утверждение, неверно. Кого-то чему-то учит. Кто-то в чем-то меняется. Учатся чаще всего смирению и меняются, поступаясь крайностями своего темперамента. Даша научилась уважать ту силу желаний, которая влекла меня к ней. Теперь она видела в этом нечто большее, чем неопрятную и вульгарную физиологию, унижающую ее. Само время было гарантом качества чувства, помогающего ее самоутверждению.

Даша всегда была для меня закрытой книгой. Лишь в редких вспышках открывалось мне, что она чувствует ко мне. Так было, когда она больно приложилась лбом к столешнице, выдав тщательно тайный страх за меня и боязнь разлуки. Так было, когда, неуверенная, тихая, подавленная, она пришла в эту комнату после разрыва. Так было едва уловимо еще раз другой за долгую нашу историю. Она бросила доспех и разоружилась, когда мы совершали нашу чудесную загород-

ную прогулку и нам в лицо смотрели жерло сивиллы и жерла лесных фортификаций. Ее искренне, без всяких внутренних запретов радовало, что вся эта водевильная и опасноватая колбасня творилась в ее честь. Но я не верил в прочность перемены, счел реакцией на какие-то свои незадачи. Нет, то был серьезный поворот ко мне. Она угадала и разделила мою печаль от неосторожного прикосновения к прошлому и сама предложила поехать в Подколокольный. И не было тех внутренних торможений, остановок, которыми изобиловала даже лучшая пора нашей любви. Каждое движение во утолнение моего безобразного желания: сбросить ли туфлю, снять ли кофту, расстегнуть ли бюстгальтер — почти всегда сопровождалось вздохом, порой чуть слышным, порой подчеркнуто громким. Я должен был все время помнить, что ей это не нужно, что она снисходит к моей обезьяньей чувственности. Конечно, и здесь категоричность ложна, легко припомнить случаи, когда обходилось без вздохов, когда был ответный порыв. Но то были случаи, а томительный ход дачного поезда со всеми остановками — нормой.

И все же я не решался объяснить нынешнюю податливость Даши хотя бы привязанностью ко мне, не говоря уже о более сильном чувстве. В ее семье ценились традиции, постоянство, фактор времени считался лучшей проверкой отношений. Я выдержал испытание на прочность и стал достоин награды...

Наши встречи обрели если не регулярность, то периодичность. Мы и не могли чаще встречаться. Если я при всех своих женитьбах оставался в бытовом плане холостяком, то Даша была жена и мать, хранительница семейного очага. Обычно звонила первой она, если же это делал изредка я, то всегда не вовремя: болел сын, Стась вывихнул ногу, какое-то домашнее торжество — причина всегда находилась, и вовсе не выдуманная. Даша была вписана в определенную систему отношений, домашних обязанностей, дел, материнских забот. Когда же звонила она и предлагала встретиться, это означало, что она сумела распутать сеть занятости и выкроить для нас долгий, спокойный вечер. И всегда ее звонок оказывался в самый раз, я тут же начинал чувствовать, что струна опасно натянулась. Впрочем, позвони она

раньше, наверняка было бы то же самое, но я неизменно поражался уместностью и благостью ее звонка. Случалось, заезжая за Дашей, я натыкался на Стася, но никаких осложнений не возникало — почва была хорошо подготовлена, он встречал меня тепло, даже радостно, особенно если ему предстояла прогулка в куцах «Эрмитажа». Иногда он уходил вместе с нами, но в другую сторону, и тогда ребенка поручали соседям, с которыми установились дружеские отношения, иногда оставался дома, сетуя на роль мужа-подкаблучника. Отлаженность поведения в нашей троице была почище французской: исполненный благородства Гюстав уводит Мабиш, а добряк Бри-Бри остается прикрывать тылы.

Мы перестроили порядок наших встреч: они начинались с Подколокольного, затем следовал ресторан. Конечно, мы за версту обходили «Москву» и после нескольких прикидок остановили выбор на «Савое», где я до этого был лишь однажды, но сбежал от дурновкусия стиля «купец Епишкин» — золото, лепнина, барочный завиток, столь милый тянущимся к культуре второгильдийным. Но здесь оказалась хорошая кухня, быстрое обслуживание и гарантия, что не встретишь знакомых. Интеллигентные люди в этот ресторан не ходили. Однажды я предложил Даше позвать Стася на наш далеко не прощальный ужин.

— Это, значит, после Подколокольного? — Даша завела глаз.

— А что тут такого? — беспечно спросил я.

— Ну, зачем же из него дурака делать?

Я понял, что уронил роль Гюстава, исполненного несказанного благородства...

Кто-то из французов, кажется Поль Бурже, сказал: животное после спаривания грустнеет. Я люблю банальные мысли, только в них и бывает истина. Сама банальность тому доказательство, значит, мысль соответствует общечеловеческому опыту. В юные годы освобождение — временное — от груза желания вызывало у меня подъем энергии, прилив жизненных сил, я становился оживлен, говорлив, весел, реактивен, что невероятно раздражало Дашу. «Тебе очень весело?» — спрашивала она, закатывая глаз. Она считала,

что такое поведение роняет величие ее дара-жертвы, хотя на самом деле все наоборот — нет ничего дороже радости, столь редкой гостыи на земле. Но с приближением к середине жизненного пути я стал более соответствовать Дашиному представлению о мере вещей, равно и трюизму Бурже. С другими женщинами я чувствовал чаще всего отвращение и желание оказаться на другом конце света, с Лелей — глубокий, блаженный покой, а с Дашей — печаль. Во мне пробуждалось чувство вины перед прошлым. В наших нынешних объятиях не было ни фальши, ни натуги, ни искусственности, ни принуждения души и плоти к чему-то утратившему душевный смысл. Но когда я вспоминал бывшее, мне начинало казаться, что мы празднуем черствые именины: холодный пирог царапает горло, а вино — скорее лечебное средство, нежели волшебный нектар.

В те годы я ни с кем не делил Дашу, а если и делил, то с ее матерью, что тоже было невыносимо, но все же не так, как нынешний дележ. И тот первый, ставший между нами, тоже незримо витал над сумрачным ложем. Меня ничуть не волновало прошлое моих других жен и тех женщин, с которыми меня сводила или влюбленность, или увлечение, или просто желание, но не так было с Дашей. И чем нежнее, доверчивей, откровенней тянулась она ко мне, тем едучей память о ее предательстве. Как это бездарно, тихо злился я, объятый теплом ее тела, вгоняя в усталость никотин, больно нужен был этот богатырь, чтобы опять лежать рядом со мной в чужих простынях. Как бы мы ни обнимались сейчас, какие бы тайны ни поверяли друг другу, той цельности и чистоты, что были у нас прежде, уже не вернуть. Праздник кончился тогда, но мы снова сели за стол с дурной, похмельной головой и тяжелым желудком.

И было еще одно: она обесценивала моих жен, заставляя меня менять их, вовсе даже того не желая, ибо ни одна не могла стать тем, чем была раньше Даша, — единственной. Но и она сама, оставшись самой важной, не может уже быть единственной, я сплю с Лелей, сплю с другой женщиной, на которой женюсь в свой час, чтобы снова уйти к другой, а сколько случайных, вовсе не нужных связей! Я сбит со своего

пути. Ведь мог же я посреди фронтового бардака оставаться верен далекой жене, уже чувствуя, что теряю ее. Тогда я был настоящим, а тот, кем я стал, мне чужд, порой до омерзения. И я ревную, как ни хотелось мне избежать этого слова, ревную не к Резуну и уж давно не к Стасю, я, тогдашний, ревную ее к себе — сегодняшнему, к подонку и блядуну, к Гюставу, исполненному несказанного благородства.

И было еще, что мне мешало. Даша стала проявлять в постели энергию, которую я поначалу принял за старательность, желание доставить максимальное удовольствие, но которая больше смахивала на поздно проснувшуюся чувственность. Я, как Пушкин — до чего же мы похожи! — никогда не дорожил мятежным наслаждением. А если слышал стоны и крики вакханки молодой, то с трудом удерживался от желания дать ей по морде. Нет, мой идеал — это пушкинское:

*О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда склоняясь на долгие моления,
Ты предаешься мне, нежна без упоенья.
Счастлива холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему.*

И мне совершенно не требовалось, чтобы моя любимая, раскочегарившись, делила «наконец мой пламень поневоле». Меньше всего мне это было нужно от Даши. Ведь, если всерьез, ты трахаешь самого себя, а партнерша — это приспособление, удобное, милое, нежное, желанное, умело помогающее или мешающее тебе соединиться с самим собой. Даша с ее морозным холодком была мне великой помощницей, а нынешняя активность мешала, тем более что я угадывал не мое научение.

Конечно, я не занимался рассуждениями в те дни, когда квартира отчима снова стала нашим пристанищем. Но то, что облекается в слова сейчас, входило в мое переживание, смутность которого не мешала точности догадок. Как прав поэт, призывавший слово вернуться в музыку. Эта музыка богаче и в чем-то определенной вечно не дающихся словесных формулировок.

Моя ограниченность была в том, что я хотел вторично войти в ту же реку, а это невозможно. Поверить бы Гераклиту и смиренно благодарить судьбу за ее подарок, а я рефлексировал. Это слово, как и основа его «рефлексия», ненавистно мне со школьной скамьи. Все непривлекательные герои русской литературы (их еще лишними людьми называют): Печорин, Рудин, Бельский, Райский, — рефлексировали.

Рефлексировать я переставал в ресторане «Савой» с первой же рюмкой. Водка — лучшее средство против рефлексии. Я смотрел на Дашу — свет громадной дворцовой люстры хорошо золотил и молодил ее милое лицо, она улыбалась, довольная, что торжественная часть нашей встречи, высокочтимая, но все же несколько утомительная и докучная, осталась позади, а впереди у нас долгий разговор, воспоминания, сладость дорогих имен на языке. В ее семье высоко ценился разговор, да и какие говоруны были: Пастернак, Нейгауз, Вильмонт. Болтовню, даже изящную, презирали, как и голую информацию, — те же сплетни, старались дойти «до самой сути», конечно, никогда не достигая ее, но одерживая духовные победы по пути. И Дашу хлебом не корми — дай без запальчивости, крайностей, дискуссионного напора распутать (или, еще лучше, запутать) какой-нибудь психологический узелок, открыть новый нюанс в отношениях людей, казавшихся давно прочитанной книгой, поделиться наблюдением, дающим возможность для размышления. Я односторонне подходил к Даше, беря от нее лишь то, что лежит в сфере чувства, а ведь она была подобно своей матери «умственным» человеком. Она не умничала, Боже упаси, но всегда думала о жизни, людях, отношениях, а не просто жила, как птица. Я, конечно, упрощал Дашу себе на потребу, слишком мощная волна несла меня к ней, но в ресторане, блаженно выпотрошенный, я мог расслабиться до интеллектуального партнерства. И видно было по ее расцветшему лицу и блеску глаз, какое это доставляет ей удовольствие.

Я не склонен к отвлеченному мышлению и могу отнести к себе слова Блеза Паскаля, что серьезные мысли занимали

самое маленькое место в работе его головного мозга. Правда, Паскаль в этой равно чуждой нам области преуспел больше. И я не в силах передать сути наших «савойских» бесед, поскольку в них было много метафизики и мало плоти действительной жизни. Но один разговор мне запомнился именно в силу своего житейского характера, и поскольку он касается действующего лица этих записок, я о нем расскажу.

Однажды, когда я в очередной раз заехал за Дашей, мне почудилось, что в парадное зашел Гербет. Я подумал, что он решил навестить заброшенную падчерицу. Незадолго перед тем Стась рассказал мне любопытное происшествие, которое Даша от меня скрыла. Стась уже заканчивал диссертацию, когда без предупреждения появился Гербет и забрал пишущую машинку. Он зарезал Стася без ножа — денег на машинистку у того не было. И тогда Даша отправилась к Гербету, в стан врагов, и, не обращая внимания на обитателей, не говоря ни слова, прошла в кабинет, взяла машинку и удалилась. Немая сцена редкой выразительности и драматизма. Неужели Гербет выбрал мой день для объяснений или примирения? Если он задержится, я его прикончу. Но, войдя в квартиру, я обнаружил, что Гербета там нет.

В ресторане, когда Дашины разговоры снова втокнули меня в мир Гербетов, я с полной отчетливостью вспомнил этих людей, их манеры, привычки, всю сопутствующую им ауру и понял, что не мог так грубо ошибиться: я видел Гербета, его старую фетровую шляпу с большими отвисшими полями, поношенное ратиновое пальто, шарф, калоши и большой, истершийся до лепестковой тонины кожаный портфель, но он дематериализовался. Я сказал Даше об этом случае. Может, то был призрак Гербета?

Даша рассмеялась.

— Ты веришь в привидения?

— Начинаю верить. Не мог же нынешний Гербет донашивать довоенный доспех. На нем не было ни одной свежей вещи: от шляпы до калош — в довоенном, а портфель — времен Института красной профессуры.

— Ты видел живого Августа Теодоровича, — сказала Даша. — Его строго держат, к тому же он не фронт.

— Ну, ему и раньше не больно давали мотовать.

— Нет, конечно. Но он и сам довольно аккуратен в тратах, его не приходилось хватать за руки. А сейчас он под жестким прессом. Надо содержать все растущую семью.

— Я слышал, что его дочка умерла.

— Его — да. К счастью для всех и для себя самой. Несчастное существо! Но появились другие дети, много детей.

— Не ожидал от Гербета такой прыти. Он же старый человек.

— Но у него молодые студенты. Почему-то несчастную мать привлекали юноши из развивающихся стран. Я не помню ни национальности, ни последовательности этих юных отцов. Кажется, сперва родился негр. Потом вьетнамец или китаец — кто-то желтый. Потом сириец или египтянин — в ореховых тонах. Тебе это очень важно?

— Мне — нет. Но Гербету, наверное, важно. Он же не слепой.

— Конечно, нет. Поэтому, отправляясь в роддом, грешная супруга оставляет записку: «Прости меня и забудь. Я сама воспитаю несчастного малютку». Гербет тут же покупает гвоздики, мчится в роддом и передает цветы вместе с запиской: «Ни о чем не тревожься. Я воспитаю его, как родного».

— Страшноватая история.

— Ты слышал, как называют этот семейный интернационал?

— Нет.

— Дети разных народов.

— Хорошо! У Дявуси не жизнь, а сплошной международный фестиваль. Но какое все это имеет отношение к призраку у тебя в подъезде?

— Самое прямое. Покорившись внешне, он тихо взбунтовался на свой мышиный лад. Ты помнишь дворничиху, которая принимала нас в котельной во время бомбежки? Ее грациозный облик глубоко запал в скрытную душу Дявуси. И недавно воскрес. Он регулярно навещает ее, приносит гвоздики, консервы, сыр. Они пьют чай и наслаждаются

любовью. Я с ним уже дважды сталкивалась в подъезде, он кланяется, смущенно улыбается, но ничего не говорит. Вероятно, уверен в моей порядочности. Я и молчу.

— Мне же вот рассказала.

— Ты засек его. И наверняка кому-то сболтнешь о призраке Гербета. Поползут слухи и — сам понимаешь... Не выдавай его... и меня. Ладно? Ты видел Гербета из плоти и крови, он не растворился в воздухе, а сошел в подвал любви.

— У Гербета рай в преисподней. Я обещаю тебе хранить тайну, пока он жив. За будущее не ручаюсь. У меня с ним свои счета.

— Неужели ты так злопамятен?

До чего же богата — при всей бедности — и неисповедима жизнь! Мог ли Гербет вообразить, что подвал, куда его сводила при воях воздушной тревоги олимпийски спокойная жена, холодным голосом изображающая ужас, и где встречала молодая дворничиха, гордая визитом таких больших, знатных людей, станет прибежищем его обманутого сердца, поправленного достоинства, разрушенного покоя? И могла ли думать юная служительница метлы, с мазком угольной грязи на смазливой мордахе, принимая дергающегося от страха, закидывающего голову, как конь, наскочивший на плетень, с закотившимся за очками взором профессора, что то грядет жених во полунощи? Мифы и были Древней Греции, которой Гербет посвятил свою жизнь, должны поддерживать его в нынешнюю сумеречную пору. Он, как Орфей, спускался в Аид за Эвридикой, но не для того, чтобы вывести ее на свет и потерять, а чтобы в ее подземном царстве обрести силы для новых песен. А как искорежила жизнь величайшего из великих Сократа сварливая и неверная жена Ксантиппа? А бывшая ученица Гербета и нынешняя супруга не была сварлива, она только заставляла его признавать своими чужих детей да совершать разные неблагоприятные поступки: отобрать пишущую машинку у нуждающейся падчерицы и квартиру у больного лагерника, не для себя, Боже упаси, для своей мамы. Он подчинялся, но делал все как-то неудачно: и машинки лишился, и дважды потерпел поражение в борьбе за квартиру от актированного по болезни и слабости полусле-

пого писателя-лагерника. Но Сократ превращался в Орфея и — пусть не с арфой и песней, а с бычками в томате и сыром — погружался в подземное царство, куда не достигали грубые шумы жизни и было всегда тепло от близости котельной и негасимой любви Эвридики. И начиналась любовь под метлами...

Интересно, посещали ли Гербета элегические мысли о том, что когда-то строго над подвалом звучал рояль Нейгауза и его собственный рояль, Пастернак читал из «Доктора Живаго», а Сельвинский — о тигре, западающем в свое тело, умно рокотал Локс и Вильмонт кидал блестящие остроты своим евнухиальным голосом? Или он с клошарьей уютностью думал, что сейчас лучше?..



И опять прошли годы, а может, десятилетия, а может, века. Крутилась безостановочно карусель жизни, и что-то в ней казалось важным, как кукуруза или соевые культуры, которые должны были в 1984 году привести нас к коммунизму, но привели к оруэлловской антиутопии; разгромили «Литературную Москву» — героическую и жалкую попытку создать первый независимый альманах, и я угодил в черный список; было и хорошее: вышел в «Худлите» однотомник, пошли дела в кино, я начал ездить за границу, отмеряемую мне по каплям, как слишком опасное, сильнодействующее средство; попал я под добрый писательский суд за клевету на «маяка» Орловского, которого взял прообразом героя будущего фильма «Председатель». Потом будет инфаркт как результат травли, и я навсегда зачехлю теннисную ракетку. Но уже прочно вошли в мою жизнь рыбачьи и охотничьи зори. Были новые компании, самая замечательная — цыгане из «Ромэна» с гитарой и плясками, с лебедевским романсом и шишковскими таборными песнями, да и новая женитьба назревала. Словом, все шло путем и нередко дарило ощущением важности, значительности, всамделишности происходящего. Я не мог сказать о своей жизни переименованными Анатодем Франсом словами Гераклита: «Все течет, но ничего не изменяется». Почти ничего не менялось в общественной и государственной жизни, ибо еще в царствование отяжелевшего Никиты мы

поняли обман оттепели и XX съезда: пресловутые ленинские нормы, скользко-верткие, как угорь, опять выскользнули из рук наших правителей. На самом деле мы всегда жили по ленинским нормам, лишь на короткое время просвеченным слабым болотным огоньком призрака свободы. В личной жизни перемены были, но больше внешние — новыми актерами разыгрывалась старая пьеса. Но вдруг раздавался звонок, и карусельно-однообразное кружение жизни прекращалось. И в эту короткую остановку начинала двигаться не по кругу, а вперед душа, совершалась истинная жизнь — со страстью, самозабвением, захлебной речью, безграничным доверием, прожигающей рюмкой — несколько часов вмещали жизнь во всей ее полноте. Затем мы расставались, и я опять влезал на деревянного расписного конька, и карусель приходила в движение. Она начинала звенеть, брэнчать, возникала музыка, воздух обтекал лицо, казалось, ты куда-то приедешь. Нет, ты двигался по кругу...

В эту пору я плохо представлял себе Дашину жизнь, ее знакомых, утехи и дни семьи, она ощущала поступательный ход жизни, а не кружение на месте, хотя бы из-за сына. Он рос, мужал, развивался, толкая время вперед...

...Это было зимой в жгуче морозный день. Я заехал за Дашей, и мы привычным маршрутом покатали в Подколокольный. Холод проникал во все щели машины, даже печка не помогала. Пока мы доехали, Даша совсем закоченела. Я дал ей ключ от квартиры, а сам побежал в магазин за четвертинкой коньяка. Мы никогда не предвзяли в Подколольном близость выпивкой, в этом не было никакой нужды: Даша справлялась со своими обязанностями без подогрева, мне же алкоголь только мешал, наводя туман на то, что было пронзающе сильно и значительно в ясном свете реальности. Вином, уже в ресторане, заканчивались наши встречи, там оно помогало разговориться, долгие паузы в общении все-таки разводили нас, да и смягчало предстоящее расставание. Но сейчас был особый случай.

Когда я вернулся, Даша отогревала над газовой колонкой ооченевшие руки.

— Неужели не согрелась? Здесь же тепло.

— Ты же знаешь меня...

Словечко «знаешь», ласково коснувшись сердца, вдруг укололо шипом. Да знаю ли я хоть немного эту женщину, которая безжалостно разрушила наше так долго и трудно возводимое здание, чтобы на обломках ставить карточные домики?

Вздрагивая, стуча зубами, Даша выпила рюмку, поперхнулась. Запить было нечем, мы не подумали согреть чаю, поставить кофе. И это как-то подчеркнуло краткость нашего пребывания здесь, невнедренность в это жизненное пространство. Мы пользовались квартирой, как тем специальным номером гостиницы, который сдается не на дни, а на часы и обставлен лишь кроватью, умывальником, биде и стулом, чтобы кинуть одежду. Спартанское жилье отчима отличалось от убежища кратковременных радостей наличием книжной полки и отсутствием биде.

Чуть поскуливая и дрожа, Даша стала раздеваться. Я ждал традиционного вопроса: можно оставить лифчик? После родов у нее подпортилась грудь, обвисла, погрубели соски. Это в порядке вещей, но жаль было лишиться ее грудей, которые я так любил. А вообще Даша сильно изменилась. Одежда делала эту перемену менее заметной, но теперь, когда она раздевалась, я должен был что-то преодолеть в себе, чтобы принять эту новую Дашу. Тело ее не постарело, не утратило упругости, скорее даже поюнело за счет худобы, но мне стало чего-то не хватать. Мне мало было ее теперешней плоти, мало рук, плеч, бедер, икр, она не заполняла моего объятия так плотно, как прежде. Мы с ней поменялись ролями; прежде, худой, как щепка, я словно растворялся в ее телесном обилии, и нежная, дивная субстанция обволакивала меня, топила в себе, а сейчас, грузный, тяжелый, заматеревший, я давил на ее хрупкие косточки, грозя их поломать.

Быстро, деловито мы принялись отрабатывать урок, и новая активность Даши, отчетливо ставшая соучастием, торопя меня к финалу, мешала достигнуть главного: воплотиться в нее, воплотить ее в себя, чтобы из двух стал один. Один я на воздушном океане наслаждения. И тут я услышал,

что она скрипит зубами. Какой там морозный холодок!.. Ее тело раскалилось, а нутро дышало жаром. И спешила она по своему делу, а не по утолению моей ненасытности.

Освободив ее наконец от своей тяжести, я спросил:

— Похоже, ты поняла, что это не пустая трата времени?

— О чем ты?

Я объяснил.

— Вот ты о чем!.. Нет, тут все по-прежнему.

Ее нейтральный, неокрашенный голос поколебал меня. Когда Даша была на страже, она никогда не выдавала себя. Ее можно было поймать только врасплох, но, если тема определилась, ее голой рукой не возьмешь. Как мастерски водила она за нос свою умную и проницательную мать! А с какой легкостью и простотой делала дурака из меня! Почему-то ей не хотелось признаться в зигзаге своей физиологии, быть может, она догадывалась, что у меня это не вызывает восторга.

Наверное, я был обречен на непонимание самой близкой женщины, чье прерывистое — для меня — существование прошло сквозь мусор трех эпох, помогая мне не забыть себя в хаосе моей личной жизни, потому что я принадлежал не ему, а ей. И ведь она всегда играла свою собственную игру, в которой я был подыгрывающим. В последнем есть упрощение, неизвестно почему я всегда преуменьшал свое значение для нее, желая во что бы то ни стало быть обиженной стороной. А разве это не правда? Правда, но не для тех, кто хочет все знать.

Я перекачивал в уме эти безмускульные мыслишки, когда случилось что-то ужасное. На меня пахнуло невыносимым и жутким смрадом, жутким потому, что в нем я ощутил привычный и любимый Дашин запах. Я почти сразу догадался о его не физической природе, ибо он пришел как бы извне, спустился сверху, забрался под одеяло, окутал, проник внутрь, забил гортань, легкие, каждую клеточку организма, тошный, рвотный, невыносимый. В этом ужасном запахе сконцентрировалось все дурное, что было между нами за прожитые годы, смрадный дух измен, лжи, чужих касаний, чужой кожи, слюны, слизи, секрети. Тут было все, чем мы

осквернили наше золотое, которого нам могло бы хватить на всю жизнь. Такой нечистоты не отмоешь ни в каких водах, не соскребешь никакой скребницей. Почему это гадкое явилось только сейчас, всем навалом, где таилось оно раньше? Наверное, шло какое-то накопление, сгущение, и нужен был лишь случайный толчок, чтобы злой дух вырвался из бутылки. Не стоит ломать голову, что послужило толчком, какая разница? Он явился смрадным удушьем взаимного греха.

Я вскочил и начал судорожно одеваться.

— Что случилось? — испуганно спросила Даша.

— Ничего... Я сейчас...

— Куда ты?.. Что с тобой?.. — Она встревожилась не на шутку.

— Прогреть машину. Я забыл залить антифриз.

Не застегнув каких-то пуговиц, не завязав шнурков, не заправив толком рубашку в брюки, я выскочил в прихожую, натянул пальто и без шапки вывалился из квартиры.

Антифриз был залит, и машина могла простоять на морозе, который стал менее ощутим, сколько угодно времени, но я залез в машину и принялся зачем-то прогревать мотор. Этим как бы оправдывалась моя ложь. Я закурил и омылся табачным дымом, заполнившим тесное пространство машины.

Я выключил мотор, выбрался из машины, запер дверцу и неторопливо пошел назад.

Даша все так же лежала в постели, меня встретил чуть неуверенный, заблудившийся между испугом и радостью взгляд. Я разделся, лег, дивно пахло любимой женщиной, наваждение кончилось.

А потом был ресторан «Савой» со швейцаром, сохранившимся с дней русско-турецкой войны, золотой, хрустальный, малахитовый купеческий рай, запотелый графинчик с водкой, рюмка в узкой, изящной руке и сознание непоправимой ошибки.

В какое-то мгновение я поймал себя на том, что воспринимаю происходящее как бы в прошедшем времени. Мы сидели с Дашей в ресторане «Савой» друг против друга, пили

водку, Даша улыбалась, у нее было доверчивое, оживленное лицо. Оказывается, встречи со мной были для нее маленькими праздниками, а я не догадывался об этом, считая их скорее данью прошлому, традиции, неким скрепом, придающим жизни цельность и прочность. Почему мы не могли тогда договориться?.. Почему люди никогда ни о чем не могут договориться?.. Что-то кончилось, что-то невозвратно кончилось, когда я, кое-как одетый, бежал от нее на улицу.

Я вернулся в настоящее время, Даша не заметила моего отсутствия, она что-то говорила тем глубоким голосом, который появился у нее, когда наш путь вновь привел нас в Подколокольный...

В отличие от арзамасского ужаса Льва Толстого пережитый мной ужас в Подколокольном переулке не явился для меня нравственным кризисом, за которым последовало обновление духовного существа. Мой ужас был знаком, предвестием грядущей перемены, предостережением, подобным огненным письмам, явленным злосчастному Валтасару на пиру. Не помню, продолжал ли Валтасар пировать, прочтя грозное предсказание, но в моей жизни ничего не изменилось: наши редкие встречи с Дашей продолжались. Даше хотелось все знать про меня: как я живу, с кем встречаюсь, что пишу и печатаю, что у меня ставится в кино, какие новые подлости измыслили в отношении меня Союз писателей и «Литературная газета». Даше хотелось, чтобы я отбивался. Но я не обладал бойцовым характером и, поняв, что злопыхатели не могут сколь-нибудь серьезно повлиять на мою литературную судьбу, не обращал на них внимания. Даша расспрашивала о людях, которых в глаза не видела, о моих друзьях по охоте и рыбалке, о спутниках по туристским поездкам, о новых литературных знакомствах, доброжелателях и недругах, и я понял, что окружающий ее человеческий пейзаж очень скуден. А ведь ее с самых ранних лет приучали ценить превыше всего богатство человеческого общения, дар глубокой беседы.

В справедливости своей догадки я убедился на одном примере. Был ее день рождения, который мы когда-то так пышно праздновали в Коктебеле. Я плохо помню даты, но

тут меня осенило, я пошел в цветочный магазин на Кропоткинскую, приобрел там до неприличия громадный букет роз и послал с поздравительной карточкой, но без подписи. Я был уверен, что Даша и Стась поймут, от кого цветы, и с щепетильностью наиболее благороднейшего Гюстава нарочно придал посланию сердца чуть комический характер — для букета потребовались два посыльных. В тот же день они мне позвонили и пригласили на ужин. «Мы не празднуем, у нас никого не будет. Только свои».

«Своими» оказались Дашин племянник Сережа, вымахавший в молодого гиганта с хорошеньким, но каким-то несформировавшимся личиком, и «самый близкий друг дома», доктор наук, профессор и светило — средних лет, некрасивый, с огромными залысинами, ломучий человек в очках, с противной приметой: когда он говорил или улыбался, у него выворачивался наружу розовый подбор нижней губы. Мне он не понравился не только этим. Я усмотрел в его явлении, рекомендациях хозяев, в их почтительной повадке назидание мне: мол, вот тоже не последний за столом жизни, а ведь более внимателен и чуток, чем некоторые друзья с пенсионным стажем.

Вскоре причина такого предпочтения выяснилась. Когда я, несколько задетый, меланхолически обозревал расставленные по всей комнате вазы и кувшины с розами из моего букета, я услышал медовый Дашин голос:

— Где вы, Сэм, там всегда цветы.

А Стась довольно гоготнул:

— Мы думали, это букет с Марса!

— Где только вы их нашли? — умилялась Даша.

— Советские розы не пахнут, — заметил Стась, — а тут благоухание до самой Зубовской.

В своем высказывании Стась ловко соединил комплимент с хулой на ненавистную власть.

Мать честная, они говорят о моем букете, приписав его этому уроду! А он хоть бы что, и не думает отрицать. Посмеивается, уводит глаза, мол, так уж приучен, старая школа.

Я едва досидел до конца ужина.

А при нашей очередной встрече с Дашей спросил:

— Как поживает цветочный Сэм?

Она хмуро глянула на меня.

— Это ты прислал розы?

— Да нет же. Куда мне. Там, где Сэм, всегда цветы.

Даша вздохнула.

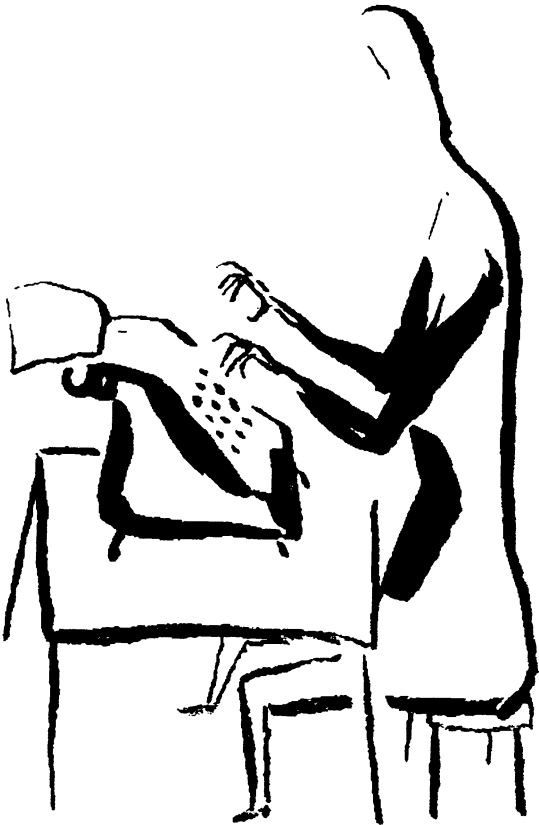
— Стась его вышвырнул вон. Как Резунова.

— Он что — полез к тебе?

— Если бы ко мне! К Сереже.

Передо мной распахнулось широкое поле реванша, но я не шагнул на него из сочувствия к двойному разочарованию Даши, потерявшей и поклонника и человека для беседы. Она не скрывала своего огорчения:

— Что-то не везет мне на людей. У нас и так никого нет, а к этому мы успели привязаться. Оказывается, он ходил не ради нас, а ради Сережи...



Сейчас я понимаю — Даша догадалась, что равновесие в наших отношениях нарушено. Ей наши встречи стали нужнее, чем мне. Так, во всяком случае, она могла и должна была считать. Я и раньше редко проявлял инициативу, зная, что все равно будет так, как она хочет. Но сейчас я и звонить перестал. Не из равнодушия, а ради того, чтобы это равнодушие обрести. Нет, о равнодушии и речи не было, хотя бы спокойствие привычки, спокойствие непреложности встреч могло бы ко мне прийти. Но встречи наши не утратили своей остроты, вспарывающей естественный ход жизни. Я говорю о себе. Даша не была и не стала моим «Эрмитажем», чтобы разгрузить чемодан. Если б дело обстояло так, я, может, и по сию пору встречался бы с ней. Есть невообразимая прелесть в близости с женщиной, которую любишь и знаешь столько лет. Привычка оборачивается новизной и свежестью ощущения. Особенно если эту привычку освящает незаконность, грех. Но физическая привлекательность Даши уступала моей обреченности ей.

Даша возвращалась к сыну, семье, требовавшим ее ежечасной заботы, и, готовя борщ, не без удовольствия прокатывала через душу подробности нашей встречи, разговоры, которые мы вели, новости, услышанные от меня. Мне некуда было возвращаться. Все то жилое пространство, которое у меня образовалось в Москве и за городом, было домом моей матери, которым она распорядилась с присущей ей властью. Гостьей — желанной или нежеланной —

оказывалась моя очередная жена. И происходило это не от слабости моего характера, не от подчиненности материнскому авторитету, а от непреходящего ощущения искусственности, картонности всех моих попыток самостоятельной жизни. Я сам в них не верил, как не верил и в своих спутниц. Они, в свою очередь, не слишком верили в меня, догадываясь о какой-то моей порче. Для этой порчи в народе, идиотичном в каждое отдельное время, мудром и всезнающем в веках, есть точное слово: присуха. Под ногой у меня был зыбучий песок, строить на нем что-либо бессмысленно. Стопа находила опору в тот момент, когда Даша садилась в машину, чтобы ехать в Подколокольный. Я чувствовал вес каждой секунды, насыщенной тем, без чего нельзя.

Человек думает обо всем, и у меня порой мелькала мысль: а если начать сначала? В практическом, бытовом плане тут не было ничего сложного, но сразу во рту возникал вкус медной проволоки. Я видел, как успокоенная Даша косит в сторону, чтоб всколыхнуть стоячие воды благополучия, да и себе я не больно верил: не вернуться мне в образ волховского паладина, беззаветно верного своей Даме.

Даша почувствовала угрозу, хотя и не понимала, откуда она идет. Она прибегла к очень простому и дешевому трюку, попасться на который мог только такой кретин, как я. В то лето она после долгого перерыва съездила на море, в Гурзуф или Симеиз, не помню, да это и не важно. Мы встретились у нее. Стась пропал в горах, он увлекся альпинизмом, сын участвовал в каком-то походе, был август, время каникул и отпусков еще не кончилось.

Я отвык от шоколадной Даши, она сохранила способность к густому, ровному, обливному загару. Мне вспомнилась другая встреча у нее в доме, когда она, опередив родителей, прилетела из Коктебеля и распласталась на столешнице, темнокожая и обжигающе горячая. С возрастом меняются реакции, прежде это воспоминание вылилось бы в немедленный рывок к ней, сейчас мне стало грустно. Тогда я растворился в ее солнце, а воскреснув, унес его с собой, сейчас мне этот смуглый пейзаж принадлежал не больше, чем крымский пляж курортнику. Приняв мою пассивность за

недостаток желания, Даша решила с ходу разрубить гордиев узел. Как-то ни с того ни с сего она сказала:

— Знаешь, я тебе изменила.

Я сразу поверил и почувствовал боль. Не смертельную, не идущую в сравнение с той, что она мне когда-то причинила, но увесистую, как удар кулаком в грудную кость: что-то внутри сжимается и дышать трудно. К этой боли добавилось чувство оскорбленности. Не за себя, убей меня Бог, — за Стася. Дашина измена — это не деловые эрмитажные разгрузки Стася, а предательство. Наверное, я никогда не был настолько Гюставом, исполненным благородства, чем в эти минуты, когда я проклинал в душе Мабиш, посягнувшую на священный треугольник, злоупотребившую доверием Бри-Бри.

Она смотрела на меня выжидательно. Я не хотел, чтобы она догадалась, что творится у меня в душе, и спросил почти небрежно:

— С кем?

— Он врач. Профессор. По-моему, влюбился в меня. Представляешь, в меня еще можно влюбиться.

— Где это произошло?

— Ты спрашиваешь, как о дорожном происшествии. В доме отдыха. Я растеряна. Что мне делать?

— Тебе — не знаю. А он обязан жениться.

Она закатила глаз.

— Это так весело?

— Чего ж веселого! Раз вырвалась на волю и разговелась на первой куче. Вы продолжаете встречаться?

— С кем? — бессмысленно спросила Даша.

— С этим врачешкой.

— Он не врачешка. Очень крупный хирург. Если бы мы встречались, тебя бы здесь не было.

— Ну, так и нечего говорить о нем. Я помогу тебе снять тяжесть с души: мы квиты.

— В каком смысле?

— У меня тоже был роман, и довольно бурный.

Я не совсем врал, у меня действительно был роман больше года назад, а сейчас он катился по наезженному пути к

очередному браку, такому же ненужному, как все предшествующие, кроме первого.

— А кто твоя избранница?

У меня было впечатление, что в пору, когда роман начинался, я рассказывал о нем Даше, принявшей эту откровенность весьма благосклонно, ибо ее тревожил мой слишком затянувшийся последний брак. Она опасалась, как бы он не оказался всерьез, тем более что вначале было настоящее и столь редкое у меня увлечение. То ли Даша забыла об этом, то ли подзапуталась в смене блюд. Она стояла на принципе справедливости: раз она замужем, я могу быть женат, только не надо относиться к этому слишком всерьез. А с другой возлюбленной она не хотела мириться, как и я с другим ее любовником.

Я не был слишком многословен, ожидая, что она спохватится и прервет меня. Но она слушала, устремив грустный взгляд в какую-то далекую пустоту и покусывая нижнюю губу. Казалось, она опять не слышит или слышит вполуха, занятая своими мыслями. Когда же я выложил, сказала с бедным торжеством:

— Вот я тебя и поймала. Никакого романа у меня не было. Я была весь месяц со Стасем.

— Значит, у тебя был роман со Стасем, — довольно глупо (а может, и не так глупо?) сказал я.

— Со Стасем у меня нет романа. Ты это знаешь. А что же ты так оскоромился? Говорил, что любишь.

И тут я увидел, что нанес сильный удар. Зачем понадобилось ей провоцировать меня? Она хотела проверить мою верность, но выбрала дурной способ. Я попался, как последний дурак, самое же глупое в случившемся, что я ей тоже врал. Признаться в этом — не пройдет. Мой рассказ в отличие от ее лапидарного сообщения содержал подробности, которых не придумаешь с ходу. Да в нем все и было правдой, кроме того, что несчастный случай произошел год назад, о чем Даша была своевременно оповещена. Но поскольку она ничего не помнит, всякие объяснения будут выглядеть трусливым изворачиванием, заслуживающим презрения. И все же я сказал бы ей правду, не думая о

последствиях, если б не одна странная загвоздка: ее довольно банальная бабья выдумка, ловушка для дураков, осталась во мне шипом, пробудив память о том признании, которое было истинным. Более того, я не сомневался, что она соврала, но жить я теперь буду с мыслью, что в Гурзуфе или Симеизе она нарушила молчаливый обет верности. Слишком естественно звучала ее ложь, куда естественней моей правды, в которой отчетливо слышался захлеб отместки.

— Ты наврала мне, но откуда ты знаешь, что я сказал тебе правду? Мы встали на очень дурной путь. Он заведет нас в тупик.

— Ловко я тебя поймала? — мимо моих слов сказала она.

Казалось, она сейчас заплачет. Она ревновала меня, впервые в жизни. Ведь даже на заре наших отношений, когда возникла Гера, в ее ощущении случившегося ревность занимала последнее место. Наверное, следовало гордиться, что после стольких лет близости, когда даже самый большой костер горит без гуда и треска, еще играя пламенем и даря тепло, но умиротворенно, устало, я вызвал в моей подруге такое сильное и новое чувство, но я не испытывал радости. Не надо держать меня уловками, есть в этом что-то бабье нищее, недостойное Даши.

И внезапная, без перехода, нежность, овладевшая ею, такая далекая от обычной сдержанности, скорее мешала, чем помогала моему слиянию с ней. Конечно, в какое-то мгновение я перестал слышать фальшивую ноту и под чистый звук эоловой арфы вознесся в свой не ветшающий рай. Но когда пришла физиологическая грусть Бурже, я подумал, что похож на столь любимый в детстве китайский бумажный мячик, прикрепленный к длинной тонкой резинке. Он стремительно летел вперед и так же стремительно возвращался в ладонь, покорный слабому движению руки. Мячик недолговечен, бумага лопается, и высыпаются опилки. Я был сделан из более прочного материала, неужели я до конца дней останусь китайской игрушкой?

Я насквозь литературный человек. Книжных героев я воспринимаю как живых людей, не помня о том, что они созданы писательским воображением, нахожусь с ними в

постоянном обмене, диалоге, споре, случаются ссоры и примирения. Пытаясь разобраться в собственных обстоятельствах, я редко обращаюсь к жизненным примерам, предпочитая литературу. Когда-то я набросал небольшой рассказ (таинственно пропавший, как и весь мой ранний архив), в котором уподобил себя герою «Воспитания чувств» Фредерику, а Дашу — его вечной и безнадежной любви, госпоже Арну. Но между нами была существенная разница. Фредерик всю жизнь верно и бесплодно любил г-жу Арну, когда же она наконец решила увенчать его бескорыстное поклонение, он сам отказался от награды, обнаружив, что любимая сильно поиздержалась в дороге, и не желая портить впечатления. Я написал этот рассказ еще во время войны, думая, что потерял Дашу, и уверенный, что все равно буду любить ее до последнего дня. Есть куда более точный образ, связанный с литературой, но воплощенный в жизни: Тургенев, промотавший жизнь у юбок Полины Виардо. Один из самых противных для меня образов душевного бессилия мужчины.

Наверное, я не случайно выбрал литературу оружием для спасения от участи Тургенева.

Когда пишешь о себе, даже назвавшись другим именем, а я так нередко поступал и сейчас собирался повторить прием, но раздумал (чужое имя — все-таки маска, пусть прозрачная, а здесь мне хотелось до конца быть самим собою), тебя подстерегает множество опасностей, и наихудшая — стремление самооправдаться. Человеку не только поставить на себе крест мучительно трудно, почти невозможно, но даже пометить крестом стыдные, дурные поступки. Так хочется пригоже выглядеть и в чужих, и, главное, в собственных глазах. «Исповедь» Руссо — единичное явление в мировой литературе, все остальные автобиографические книги весьма опрятны, чаще же всего апологетичны. Легче возвести на себя грандиозную напраслину, посмеиваясь в душе над обманом, ибо масштабное злодеяние придает личности черты демонизма, чем признаться в мелком пороке, подленьком поступке, рядовой низости. В бытовой подлянке невозможно оправдаться. Хозе убивает Кармен и просит: «Арестуйте

меня, я убийца ее!», и мы исполняем к нему жалости, мы восхищаемся его прямоотой и мужеством, попробуйте сознаться в краже серебряных ложек — ничего, кроме плевка, не заслужите.

Едва ли покажется корректным тот способ освобождения, каким я бессознательно воспользовался, наверное, в силу своей пролитературенности. «Бессознательно» сказано не для самооправдания, у меня не было плана, я не думал о последствиях того, о чем сейчас пойдет речь. Тем паче что поначалу никаких последствий не было. Даша долго объясняла мои эскапады зигзагами любви, впрочем, так оно и было, хотя вели они к разрыву.

Мои повести, рассказы, даже сценарии раз за разом населялись персонажами, очень похожими на Дашу и на меня, а главное, поставленными в схожую с нашей эмоциональную и психологическую ситуацию. Затем появилась под разными соусами Анна Михайловна, запахло домом Гербертов. Я не щадил Дашу, а к бедной Анне Михайловне был вовсе беспощаден. Иногда я вплотную приближался к реальности, вернее, к тому, что представлялось реальностью мне, наверное, у Даши были серьезные коррективы к набрасываемым мною картинам.

Можно удивляться Дашиному терпению. Как же хотелось ей сохранить меня, если она раз за разом наступала на собственное сердце! И она никогда не говорила со мной о моем беллетристическом нытье. Конечно, я всюду выглядел рыцарем без страха и упрека, чистым, доверчивым мальчишкой, в чью беззащитную душу плевали змея подколодная — жена и ведьма — теща. Иногда это выглядело довольно плоско, но случалось, незабытое чувство оскорбленности находило сильные слова. Возможно, Дашу это задевало, но ей доставало стойкости, чтобы не показывать вида. Зато самого себя я растравил основательно — старые раны опять закровоточили.

Стась, с которым я изредка встречался на Кропоткинской, порой случайно, порой по его звонку — он работал поблизости и приглашал выпить пива в забегаловке на Метростроевской, тоже никогда не говорил об этих писани-

ях, хотя старался не пропускать ничего, мною опубликованного. Мои стенания о прошедшем дарили его душевным комфортом, он не понимал, что можно, не прощая прошлого, любить в настоящем. Гербета он ненавидел, называл не иначе, как «Теодоро», ему виделась в этом обидная едкость. Похоже, отношения с Анной Михайловной тоже не отличались прозрачностью. Она, насколько я понимаю, держала в свое время сторону Резунова. «Теодоро» он поносил при каждом удобном случае, но не считал для себя позволительным обсуждать, а тем более осуждать мать своей жены. Когда это делали — в литературной форме — другие, он не возражал. Глядя на меня из-за края пивной кружки, Стась довольно похихатывал.

Когда я садился за эту повесть или роман — не знаю, что у меня получилось, — я был исполнен старой непримиримости к Анне Михайловне, а сейчас, допечатывая последние страницы, я ее люблю. И когда думаю о высоком ее уходе, у меня сжимается горло.

Вскоре я переехал в другую часть города, и наши походы со Стасем в забегаловку прекратились. С Дашей я тоже встречался все реже и реже, и Подколокольный отошел в прошлое. Наши разговоры происходили за столиком в кафе-мороженое на улице Горького или в «Артистическом» напротив МХАТа. Даша по-прежнему жадно интересовалась моей жизнью. Самой ей рассказывать было почти нечего, она жила изо дня в день семейными и материнскими обязанностями. А я рассказывал: о Марокко, Касабланке, перевале через Высокий Атлас, о пальмовых рощах под Маракешем, о Париже — с ощущением какой-то лжи, хотя я ничего не придумывал.

Пломбир съеден, кофе выпит, никаких горячительных напитков, я уже трижды лишился прав за вождение в нетрезвом виде, Даша только пригубила свой бокал. Мы расплавиваемся и выходим. Я везу Дашу домой, но почему-то мы оказываемся не на Зубовской, а в Новогирееве, Богородском, Черкизове. Кругом деревья, кусты, низенькие домики с подслеповатыми окошками, в темном небе — огни строительных кранов. Мы молча переходим на заднее

сиденье. И вот оно — Марокко, Высокий Атлас, пальмовые рощи под спяще синим небом Маракеша, вот он — Париж и Триумфальная арка. Все остальное — подделка. Затем мы так же молча едем на Зубовскую...

Вот с чем хотела покончить моя отомщевательная литература. То не было убылью любви к Даше, то была отчаянная попытка высвободиться из ловушки. Я попал в волчий капкан и тащил его, намертво захлопнувшийся на моей ноге, впившийся в плоть железными зубами, а мне как никогда нужна была свобода. Я уже упоминал о новой перемене в моей жизни. Все началось легко и необязательно, но в какой-то час представилось судьбой. Мне казалось, что я выхожу на последнюю прямую, и мне нетерпимы были посторонние отягощения. То было глубокое заблуждение: никогда еще меня так далеко не заносило в сторону от моей судьбы, моей сути и жизненной цели, но понадобились годы, чтобы это понять. Андрей Платонов говорил: излечиться от сердечной муки в одиночку нельзя, нужно лечиться другим человеком. Беда в том, что такого человека не всегда угадаешь. Тогда я не угадал и поплатился за свою близорукость. А он был, такой человек, только я не знал о его существовании, а он не знал о моем, но придет день, и мы встретимся, и я обрету цельность, внутреннюю свободу и сильно припозднившееся достоинство. Уже четверть века тому. В молодости мое счастье было коротким, зато оно объяло всю мою старость, а это самая важная, тонкая, нежная, грустная и прекрасная пора человеческой жизни.

Но все в далеком будущем, а пока что я думал обрести свободу с помощью литературы. Да нет, не думал я об этом, за меня думала моя боль, и думала глупо. Несостоятельное трепыхание напоминало попытки петуха взлететь под облака, а выше забора ему не поднять свое грузное тело, как ни бей слабыми крыльями. И Даша справедливо не придавала значения беллетристическим упражнениям в злости.

И все-таки я ее достал, в одном рассказе у меня появилась стареющая женщина в «меховой шубке, вывернутой на третью сторону». Она, конечно, узнала себя, хотя злоба затуманила мне мозги — меховые вещи не выворачивают

наизнанку, а либо донашивают до мездры, либо восстанавливают у скорняка. Глупость сочеталась с неблагородством: Даша и Стась были небогатые люди и не могли купить новую меховую шубу. Даша носила оставшееся от матери каракулевое манто, которое выглядело вполне прилично, особенно на мужской невъедливый глаз. И не знай я, что шуба принадлежала Анне Михайловне, я бы тоже не заметил никакого ущерба. Даша могла выдержать все, но нет ничего обиднее для женщины, чем насмешки над ее туалетами. Я нанес удар ниже пояса. Даша перестала звонить. Мы больше никогда не виделись.

Поначалу я не верил в окончательность разрыва. Затем как-то не думал об этом, занятый кошмаром своей идущей под откос семейной жизни, хотя не помню дня, чтобы я не вспомнил Дашу. Затем я остался один и, придя в себя, оглядевшись, вдохнув полной грудью воздух свободы, потрясенно обнаружил, что прошло семь лет с нашей последней встречи.

Теперь, засыпая, я опять много и подробно думал о Даше и рисовал себе наше свидание. От поэта, с которым соседствовал, я изредка получал какие-то куцые известия о Даше: они переехали, получив новую квартиру, Дашу кто-то видел, она по-прежнему хороша собой. Потом он сказал, не ручаясь за достоверность, что Стась оставил Дашу. Это упрощало задачу покаяния. Хотя, честно говоря, я думал прийти к Даше не с покаянием, а с объяснением своих кривых литературных поступков. Дело было за малым: узнать адрес. Каждый раз, отправляясь в Москву — я жил теперь постоянно за городом, — я давал себе слово обратиться в справочное бюро, но всегда что-то мешало. Наверное, это «что-то» сидело во мне самом, не может быть такой власти внешних обстоятельств над человеком. Потом я решил предварить свое появление письмом, но опять же не мог добраться до адресного стола. О телефоне у меня и мысли не было — я умею разводиться по телефону, но не соединиться. При этом образ встречи рисовался мне все заманчивей, трогательней, бывало, у меня слезы наворачивались на глаза.

Что меня держало? Я мог бы сказать: предчувствие, но даже тени дурного предчувствия не было. А потом из Крыма

вернулась знакомая начинающая писательница и сказала: есть человек, который вас терпеть не может.

— Ну, таких более чем достаточно. Для этого не нужно ездить в Крым.

— В литературной среде все друг друга ненавидят. Это единственное, что я пока знаю о писательской профессии. Но это не писатель. По-моему, экономист, очень еще молодой человек.

Я вспомнил о Стасе и Ваверлее.

— Странно! Экономисты питают ко мне слабость.

— Я сидела с вашей книжкой на лавке в парке, он подошел, поинтересовался, что я читаю. Я сказала. «Зачем вам эта гадость?» — «А мне нравится!» Он весь скривился: «Терпеть не могу!» — и пошел прочь. Он тянулся ко мне, этот молодой человек, а с того разговора стал меня избегать. Я никогда в жизни не видела такой раскаленной ненависти. И конечно, к человеку, а не к автору.

— А как он выглядел?

— Довольно высокий, худой, с некрасивым, угрюмым, но каким-то надежным лицом.

— Надежным? Тогда я догадываюсь, кто этот молодой человек. Сын моей первой жены.

— Вон что! Вы плохо поступили с его матерью?

— Да.

Ну что ж, точка поставлена. В справочное бюро обращаться не надо. Трогательной встречи двух старых любовников не будет. Я больше не увижу Дашу. Но ведь я этого хотел? Не знаю. Когда наше с ней начиналось, я хотел одного: прожить с ней до старости, до конца. И верил в это. Кто знает, может, мы остались бы с ней, перешагни я через то, что со старомодностью девятнадцатого века называю до сих пор предательством. Вот почему потерпела неудачу запоздалая попытка Анны Михайловны вновь соединить нас. Но не только из-за моего нежизненного максимализма, Даша этого не хотела. И вовсе не из-за пылкой любви к Резуну. Было увлечение, и в обычной супружеской жизни люди перешагивают через подобные ухабы с той или иной мерой горечи, даже страдания, но не теряют друг друга, а если и теряют,

то на время, конечно, если сохраняется взаимное чувство, хоть на доньшке. Я не говорю о тех случаях, когда людей держит внешний сцеп: дом, дети, быт, материальная зависимость, тогда все обходится небольшим вульгарным скандалом. Мы не были ничем связаны друг с другом, кроме любви, но разве ее недостаточно, чтобы сохранить союз? Так он и сохранился, без формальных пут.

Анна Михайловна тщетно стремилась руководить нами. Она одерживала практические победы, чтобы начисто проиграть войну. Строго по-немецки. Воюя, немцы побеждают во всех сражениях, кроме последнего. Опыт двух последних мировых войн тому примером. И хотя противоборствовал Анне Михайловне я, на самом деле хозяином положения всегда была Даша, покорная, железная Даша.

Она не совершала ошибок. Да, наш брак очень скоро оборвался, но на этом этапе жизни я был меньше всего интересен ей в качестве мужа. Я был нужен и очень нужен как вечное приключение. Слишком рано начавшаяся, непосильная для юного существа душевная жизнь сбила ей дыхание. Страдальческое, взрослое переживание, каким обернулся ее роман с Резниковым, едва не погубило нежный росток комнатного цветка. Ей нужно было бы сразу вернуться в свой возраст, в глупую студенческую молодость, а она под нажимом матери продолжала путь ранней зрелости среди людей, годящихся ей в отцы и матери, искушенных, сильных умом и волей, как бы повиснув меж юностью и преждевременной зрелостью. В последнюю ее упорно втягивала мать, отсюда и поэт, и докторант Бахрах, и другие кандидаты, мне неведомые. Боясь за нее, Анна Михайловна стремилась как можно скорее увидеть дочь женой, матерью, хозяйкой дома. А Даша не была к этому готова, ей не хотелось ни к плите, ни к колыбели, ни к умному салонному времяпрепровождению, хотя уже была заражена бактерией анализирования. По-настоящему ей хотелось приключений, секретов, жгучих волнений, даже обмана любимой, но чересчур самовластной матери. То было естественной принадлежностью молодой жизни, которую необходимо прожить, самой прожить, а не быть присутствующей в конце стола на пиру небожителей.

Даже бесшабашный, развязный, веселый Оська оказался ей после долгого внутреннего сопротивления ближе духовных великанов ее привычного окружения. Она узнала со мной молодую дружбу и преданность без насилия над собой, верность без дрожащей на реснице слезы умиления, привезенной из полумифологического Ирпеня.

Ей годилось все: даже мой роман с Герой, походы в Подколокольный, временный разрыв и ослепительное примирение, потное объятие после истринского трудового дня, тайный брак, преступные объятия на полу в шаге от умирающей, загадочный форт в глубине леса, муравьи, впившиеся мне в задницу, которую я тут же подставил под выстрелы снайперов, открывающих огонь без предупреждения, новые тайные походы в Подколокольный, купеческий ресторан, бешеная гонка по Москве с нетрезвым водителем за рулем, даже мои литературные и кинематографические мельтешня и скандалы. Уход на фронт опечалил и взволновал, стало быть, работал в нужном направлении, но самый отъезд представлялся дезертирством. Приключение оборвалось. Свято место пусто не бывает, возник богатырь-вратоносец.

С Резниковым у нее могло получиться, он был безумец: партийный карьерист, яростно жадный до жизни, обреченный сломать свою шишковатую голову, ибо в сфере, где он действовал, нужны головы гладкие и круглые, как бильярдные шары. Поэт и Бахрах не годились: за поэтическими озарениями одного и научными поисками другого угадывалась скудная мечта о семейном уюте с запахом пеленок, кухни и взметенной уборкой на раньи пыли. Оба были людьми порядка, крепкого быта. Резунов хорошо начал, но быстро угомонился над тарелкой дымящихся щей. Стась исчерпал свой романтический заряд на госпитальной койке и слишком рано принялся разгружать чемодан на стороне.

Я был кругом хорош. Покоем, стабильностью, детской присыпкой от меня не тянуло, но мой официальный статус с признанием в семье несколько снизил Дашин интерес ко мне. То, что вчера было королевским даром, прихотью, милостью Клеопатры, царицы Тамары, Екатерины Великой, стало

обыденностью, тайна исчезла, приключение кончилось. Мне следовало совершить попытку самоубийства или прикончить Гербета, нахамить Анне Михайловне, поджечь дом, чтобы вновь обрести ценность в Дашиных глазах. О каком приключении могла идти речь, если Даша, тяжело шаркая ногами, тащилась ночью в туалет ликвидировать очередного наследника, который с шумом, будящим спящую квартиру, низвергался в канализационную систему. Этот вульгарный шум предрешил мою участь. Я уехал, и Резунов легко взял воображаемую высоту, которую никто не защищал. А затем я вернулся, создав для Даши желанно сложную ситуацию, которая была для нее наиболее благоприятной средой обитания.

Вскоре, в новом образе, я стал для Даши тем же, чем был всегда: вечным раздражителем, угрозой покою, партнером по психологическим углублениям и — это можно было бы поставить вначале — любовником, над которым не властна привычка. Я был средством для сохранения молодости, ведь женщина стареет не с годами, а по убыванию своей способности волновать. Со мной Даше это не грозило.

Лесковский человек на часах покинул пост, чтобы спасти утопающего. Он получил за это тяжелое солдатское наказание и полфунта чая от доброго командира. Его осудил устав воинской службы, но ни одно живое сердце не могло не оценить самоотверженного поступка. Я тоже покинул свой пост, сбежал с тридцатилетней — без малого — вахты, но спасал я не гибнущего в волнах, а самого себя, а в этом нет ни самоотверженности, ни благородства.

А может, мне следовало повторить и даже превзойти подвиг литературного Фредерика и живого Тургенева, сохранить до конца верность своей прекрасной даме? Не раз бессонной ночью задавал я себе этот вопрос. Но жизнь работает из дневного материала, а не из бесплодных образов полусна.

Мне кажется, я догадался, почему объявил литературную войну Даше. Я отстаивал не тогдашнюю свою жизнь, лишённую ценности и достоинства, а то, что забрезжило впереди. В сумбуре, неопрятности, бреде моего тогдашнего

существования мелькнуло однажды лицо женщины, которая в недалеком будущем станет моей последней — нет, первой и последней — женой, спутницей ко спасению, как называл свою верную, горестную Марковну протопоп Аввакум. Я угадал того «другого человека», которым только и можно излечить душу, и двинулся ему навстречу. И тогда моя позорная война с Дашей имеет не оправдание, а объяснение, я стал защищать то человечье, не востребованное и неизрасходованное, что еще оставалось во мне.

Я перестал служить приключению другого человека, я служу собственному — тихому, медленному, с бытовым окрасом, но и со все новыми открытиями, как в самой не романтической и самой обязательной для каждого книге на свете «Приключения Робинзона Крузо».

Даша, если ты есть, прости меня.

«...НА САМОМ ПОСЛЕДНЕМ КРАЮ»

Рукопись этой книги, которую вы прочли или намерены прочесть, появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после внезапной кончины ее автора.

Какое бы то ни было стороннее редактирование, устранение противоречий в самом тексте либо в сопоставлении с другими произведениями автобиографического цикла («Тьма в конце туннеля», «Моя золотая теща») были бы с того момента кощунством, хотя вообще Юрий Нагибин относился с должным вниманием к замечаниям своих редакторов и, если это не затрагивало его принципиальных позиций, шел на поправки либо разрешал великодушно: «Сделайте сами».

Теперь же, после ухода писателя, вычеркивать, переписывать хотя бы строку в его произведении не поднимется рука.

И мы публикуем все, как было, как есть, а о разночтениях и нескладацах упомянем далее в надежде на то, что читатель разберется в их творческих и психологических подоплеках.

Однако череда событий, предшествовавших появлению в ПИКе рукописи Юрия Нагибина «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя», сама по себе настолько необычна, что я считаю необходимым рассказать об этих событиях и обстоятельствах и вместе с читателем подивиться роковому их пересечению.

Вот как все это совпало в жизни и смерти писателя.

* * *

В январе 1994 года газета «Литературные новости» опубликовала первую главу повести Юрия Нагибина «Тьма в конце туннеля», уведомив о том, что будет печатать эту повесть из номера в номер, целиком и полностью, до конца.

Тогда еще никто не мог предположить, что окончание публикации появится в последнем номере «Литературных новостей», что этот номер будет посвящен памяти погибшего под

колесами автомобиля его главного редактора, поэта Эдмунда Иодковского, и в одном из откликов, посвященных его памяти, Юрий Нагибин напишет: «Я убежден, что Иодковского убили, потому что его газета была как нож вострый всем фашиствующим изданиям...» — и в этом последнем номере «Литературных новостей» будет опубликован еще один некролог, где имя самого Юрия Нагибина окажется вынесенным в заголовок и обведенным черной траурной каймой.

Но опять-таки это опережение событий.

А мы сейчас, сокрушаясь и горюя, отлистываем обратно страницы календаря от июня к январю, к началу 1994-го.

Прочтенная в газете глава «Тьмы в конце туннеля» не оставляла сомнений: да, это наше, пиковское, по теме и по сути, тем более что предыдущая книга Юрия Нагибина «Любовь вождей» также вышла в 1991 году в Независимом издательстве ПИК, наделав шуму в прессе, озадачив, а то и повергнув в шок давних почитателей мастера.

Я позвонил в Пахру, на дачу Юрия Марковича. К телефону подошла жена Алла. Настроение ее было мрачным.

— Наверное, эту книгу не издаст никто, — сказала она.

— А если мы попробуем?

— Сейчас позову Юру...

Нагибин отнесся к моему звонку более оптимистично, ведь он знал, что мы готовы к издательскому риску, и в своих интервью «Литературной газете» не раз подчеркивал: «Писателям демократического толка издаваться негде: ПИК не располагает достаточным количеством сил, денег и типографских мощностей...», «ПИК — издательство честное, но бедное...»

Сейчас же он, по-видимому, отчетливо понимал сложившуюся ситуацию: все могло вообще ограничиться публикацией повести в газете «Литературные новости», выходявшей от случая к случаю небольшим тиражом.

— Хорошо, — сказал он, — завтра Алла привезет в Москву рукопись. Читайте.

Через несколько дней повесть была прочтена.

«Тьма в конце туннеля» потрясла нас. Юрий Нагибин написал страстную антифашистскую повесть. Уже само ее название остросоциально и трагично. Он заменил слово «свет» в расхожем выражении «тьмой» не потому, что это соответствовало размышлениям автора о собственном конце, который он предчувствовал. Нет, для него смысл этого названия был еще более страшен: в конце почти векового хождения многострадального народа России по мукам, связанным с революциями, кровавыми война-

ми, тотальными репрессиями, голодом и нищетой, — именно теперь, на исходе, в конце «туннеля» замаячил не долгожданный свет, а еще более кромешный мрак, адава темень доморощенно-го фашизма, куда, по ощущению автора, неотвратимо погружалась страна.

Конечно же, у такого органичного писателя, как Юрий Нагибин, эти апокалипсические мотивы были связаны и с личным самоанализом, попыткой исповедаться в грехах бытия, понять причинную связь ошибок собственной жизни, вольных и невольных заблуждений, метаний души и плоти.

Сюжетной канвой повести был биографический парадокс: всю свою жизнь герой «Тьмы...» (почти идентичный автору) прожил, считая себя наполовину евреем, испытал унижения и тяготы судьбы полукровки не в половинном, а в полном объеме, — как вдруг, после смерти матери, он обнаружил в старых письмах сведения о том, что его отцом был другой человек, как и мать — русский, студент, расстрелянный за участие в событиях тамбовского крестьянского восстания. Однако попытка дожить оставшееся «без комплексов», сознавая себя исконно русским человеком, оказалась еще большим унижением. «Трудно быть евреем в России. Но куда труднее быть русским», — заключительные строки повести.

* * *

Мы не терзались вопросом: издавать ли? Конечно, издавать.

Но возникла проблема сугубо технического плана. Объем повести «Тьма в конце туннеля» был недостаточен для того, чтобы книга выглядела солидным томиком в твердом переплете. То есть книгу следовало дополнить чем-то, соответствующим «Тьме...» тематически и по настрою.

Вспомнилась повесть Юрия Нагибина давних лет «Пик удачи», главный герой которой — ученый, изобретший средство против рака, на вершине славы кончает жизнь самоубийством. (Заметим, что в ту пору автор, по-видимому, не помышлял о безоглядной и отчаянной исповедальности: самые мучительные вопросы жизни он умело экстраполировал на вымышленных литературных героев.) Не скрою, нас чуточку интриговала и игра названий: «Пик удачи» — издательство ПИК.

С тем я и позвонил снова в Пахру. Но, к счастью, не успел даже заикнуться об этом предложении.

— Ты знаешь, — сказал Нагибин, уловив, что речь идет всего лишь об увеличении объема книги, — у меня в столе лежит еще одна вещь...

Рукопись повести «Моя золотая теща» сопровождало письмо, которое теперь я считаю нужным опубликовать.

Дорогой Саша!

Я вдруг подумал: а что, если ты не прочь прочесть нечто в игривом роде, хотя тоже достаточно мрачное. Русский Генри Миллер, хотя и без малейшего подражания автору «Тропика Рака».

На это намерение навел меня ты сам, оговорившись фразой: «Может, это ('Тьма в конце туннеля') с чем-нибудь соединить». Не знаю, монтируется ли «Теща» с основной повестью — там немало общих героев, хотя проблематика совсем иная. А вдруг — монтируется.

Кстати, после нашего с тобой разговора мне позвонил один известный музыкант: «Где купить целиком 'Тещу'?» — «А откуда вы о ней знаете?» — «А как же, в 'Столице' напечатана глава». Ее отдал туда Щуплов, попросивший у меня отрывок для какого-то нового журнала, который так и не состоялся.

Непривычный азарт сдержанного музыканта явился вторым толчком, чтобы дополнительно загрузить тебя. Впрочем, читается все это легко.

Жму руку —

твой Ю.Нагибин

И вот перевернута последняя страница «Моей золотой тещи».

Нахлынули воспоминания о событиях, без которых теперь не понять ни времени возникновения замысла, ни времени его реализации, разделенных, по меньшей мере, тремя десятилетиями.

В середине 60-х годов я работал на «Мосфильме» главным редактором сценарной коллегии. Только что, после многих тревог и треволнений, вышел на экраны фильм «Председатель», поставленный Алексеем Салтыковым по сценарию Юрия Нагибина. Успех фильма был ошеломляющим. По накалу гражданской страсти и по искусству это было прорывом к высокой правде, недоступной дотеле.

И тогда же Нагибин предложил «Мосфильму» заявку на новый киносценарий, связь которого с «Председателем» явствовала уже из названия — «Директор». В заявке автор без обиняков сообщал, что в последние годы войны волею судьбы он вошел в семью одного из столпов отечественного автомобилестроения Лихачева, женившись на его дочери. Яркая биография этого человека — революционного матроса, чекиста, выдвигенца, ставшего красным

директором крупнейшего предприятия, в конце концов получившего его имя, — была сюжетной канвой сценария.

Члены сценарной коллегии не то чтобы с радостью, но с ликованием приняли эту заявку, а через некоторое время — готовый литературный сценарий.

Фильм «Директор» ставил тот же Алексей Салтыков. В заглавной роли снимался Евгений Урбанский — молодой, неотразимо красивый, мужественный актер, находившийся в ту пору в расцвете таланта и популярности.

Увы, он погиб именно на съемках этого фильма. В пустыне Каракум, в эпизоде, где автомобиль, участвующий в международном пробеге, совершает прыжок с песчаного бархана, — машина перевернулась, сидевший за рулем каскадер отделался ушибами, а Урбанский, напросившийся участвовать в трюке, переломил шейный позвонок.

Люди из съемочной группы бросились к упавшей на крышу машине, а камера бесстрастно продолжала снимать происходящее, — и мы увидели все это на студийном экране...

Лишь через несколько лет, когда боль утраты несколько утихла, Салтыков вернулся к реализации «Директора». Было предложение включить в новую ленту все эпизоды, снятые ранее с Урбанским и даже сам момент катастрофы, а остальное доснять с другим актером. Но режиссер инстинктивно сторонился всего, что напоминало о трагедии, и предпочел снять новую версию картины с Николаем Губенко в заглавной роли. Эта версия и пошла в прокат, хотя и не снискала успеха, подобного успеху «Председателя».

Что же касается отснятого материала, то он частично, включая уникальные кадры катастрофы в пустыне Каракум, вошел в мемориальный фильм «Евгений Урбанский».

Оба фильма и поныне время от времени показывают на телеэкране.

И если вам случится смотреть эти ленты, вы непременно обратите внимание на колоритный и трогательный образ невесты героя (в фильме он — Зворыкин, в повести «Моя золотая теща» — Звягинцев): светловолосой русской красавицы, которую сыграла Светлана Жгун, а до нее, в злосчастной первой версии, другая актриса, имя которой запомнил даже автор сценария, — потрясенная гибелью Урбанского, она больше не снималась в кино.

Этот женский образ — предтеча Татьяны Алексеевны Звягинцевой, пленительной, загадочной и грешной героини повести «Моя золотая теща».

На склоне лет Нагибин решил досказать ранее недосказанное, может быть, даже табуированное в сознании и подсознании писателя.

В ПИКе понимали, что публикация «Моей золотой тещи» чревата скандалом, ведь риск не исчерпывался сценами запретной любви зятя и тещи. Нет, повесть содержала и остросоциальную картину нравов верхушки советского общества при Сталине, пуританских лишь декларативно и внешне, а на поверку — разнузданных до предела.

Но вместе с тем мы понимали, что «Моя золотая теща» — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным, что она достигает классических образцов литературы.

В этом плане можно воспринять как иронию те строки приведенного выше нагибинского письма, где говорится о «русском Генри Миллере». Его «Тропик Рака» в России прочли взхлеб с полувековым опозданием даже профессиональные писатели. И он уже не мог повлиять на русских писателей старших поколений столь же магически и соблазнительно, как на писателей Америки 30-х годов. Кроме того, «Тропик Рака», как и «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя, — это в первую очередь апология Парижа, а уж во вторую или даже в третью очередь — апология любви.

Повесть же Юрия Нагибина «Моя золотая теща» — это прежде всего гимн всесильной любви. Ее литературные истоки — в мифах античности о запретных и фатальных страстях, в традициях древнегреческого любовного романа (не случайно уже в следующей своей вещи Нагибин обозначит эту преемственность заглавием: «Дафнис и Хлоя эпохи...»), в упоении и горестях любви персонажей «Манон Леско». Позднее критика укажет еще на родство и противостояние «Моей золотой тещи» набоковской «Лолите» («контр-Лолита» — сформулирует это Анна Малышева в «Независимой газете»). Но все это будет сказано уже после ухода автора...

А в ПИКе он при жизни услышал все это и, кажется, был счастлив.

* * *

Он приехал на Новый Арбат 4 февраля 1994 года, в один из коротких и пасмурных дней зимы.

Мы подписали договор на издание книги, а потом потекла беседа.

Собеседниками Нагибина были главный редактор издательства, кинодраматург, один из авторов «Операции Ы», «Кавказ-

ской пленницы», «Бриллиантовой руки» Яков Костюковский, главный редактор изданий прозы Георгий Садовников, написавший книги «Продавец приключений», «Колобок по имени Фаянсов», но более всего известный как автор телесериала «Большая перемена», я и еще коронованная особа — «Александр Первый», бутылка хорошей немецкой водки.

Разговор перемежался шутками, хохотом. Зная друг друга десятки лет, вращаясь и варясь в одном литературном котле, мы вспоминали эпизоды общей нашей молодости, поминали друзей, тех, кто был недалеко, и тех, кто отбыл в дальние края, а теперь иногда навещал родные пенаты, и тех многих, очень многих, кто отбыл туда, откуда уже нет возврата.

Постепенно от вполне угадываемых или названных своими именами героев и прототипов «Тьмы в конце туннеля» и «Моей золотой тещи» разговор переключился на творческие планы Юрия Нагибина.

К этой поре он дважды издал собрания сочинений: в четырех томах и в одиннадцати — последнее уже в новых, отчаянных для писателей и издателей условиях, за свой счет, с тающим от тома к тому тиражом, предчувствуя вместо прибытка разорение семьи и дома.

Но замыслы продолжали обуревать его, человека, привыкшего исступленно жить, исступленно мыслить и столь же исступленно работать.

Лишь те замыслы, о которых он поведал нам тем февральским днем, вполне очевидно, составили бы еще одно собрание сочинений, независимое от предыдущих, — и мы не в шутку, а всерьез предложили Нагибину осуществить издание этой новой серии книг, которые вслед за «Тьмой в конце туннеля» и «Моей золотой тещей» должны были продолжить автобиографический исповедальный ряд.

Юрий Маркович, приняв наше предложение, сообщил, что вскоре уезжает в подмосковный санаторий, где надеется дописать одну из этих вещей.

— Мой первый роман, — подчеркнул он.

Вся предшествующая проза Юрия Нагибина была реализована в жанрах рассказа и повести, этого сугубо русского жанра, заставляющего иностранных пререводчиков метаться в поисках аналога между «новеллой» и «романом».

Заметим, что Нагибин вполне обходился рассказом и повестью для воплощения самых объемных, масштабных, развернутых во времени и пространстве сюжетов.

Но вот и он обратился к роману...

Советуюсь с Нагибиным по поводу оформления будущей книги, мы высказали пожелание, чтобы она вышла с портретом автора, и попросили прислать хорошую фотографию.

Вскоре шофер привез пакет. Фотография, по-видимому, была недавней: голова в роскошных сединах, с еще пробивающимися темными прядями, породистое, изрезанное крупными морщинами лицо, молодые всезнающие печальные глаза. Об этом лице очень верно сказано, что во все поры жизни, от юных лет до глубокой старости, оно не теряло красоты.

И уже по своей инициативе вместе с портретом он прислал репродукцию гравюры со старинного полотна: на ней была изображена пышнотелая русоволосая красавица, почти нагая, с крохотными ступнями ног и еще более субтильными нежными ручками, она смотрелась в зеркало, которое держал перед ней влюбленный мальчик...

— Знаешь, здесь сходство поразительное, один к одному, — объяснил мне Нагибин по телефону. — Если вы захотите проиллюстрировать книгу...

Ясно, что речь шла о сходстве дебелой красавицы с заглавной героиней «Моей золотой тещи».

Портрет Нагибина и репродукцию унесла домой молодая художница Ирина Разина, которой мы заказали оформление книги.

Недели через две она пришла в издательство — очень взволнованная и внутренне смятенная, но полная сознания своей правоты, — и разложила на столе эскизы.

На суперобложке было лицо Юрия Нагибина, то самое, в сединах и сетке глубоких морщин, расколотое вдребезги на отдельные кусочки, — как прежде писали кубисты, а ныне исхитряются делать компьютерные умельцы: сплошное крошево, но вместе с тем удивительно цельно.

В эскизе переплета был использован тот же прием, только здесь вдребезги разбита прелестная дама, как будто мальчик уронил зеркало, и в каждом осколке залечатлелась навек ее пышнотелая красота.

Супер был черного поля с белой графикой. Переплет — белое поле с черным.

Все это было чертовски красиво, но вместе с тем полно тревоги и каких-то недобрых предзнаменований. Разбитое зеркало...

— Но почему? — спросили мы художницу.

— Эта книга разбила мое представление о Нагибине, — решительно заявила Ирочка Разина.

- А что вы читали раньше?
— «Зимний дуб». В школе.

* * *

Промелькнула весна, и в первых числах июня в Москву из нижегородской типографии привезли пачку сигнальных экземпляров книги.

Производственные обстоятельства позволили одеть в супер-обложку лишь малую часть 50-тысячного тиража. Зато оба варианта оформления были использованы весьма удачно: часть книг вышла в черных переплетах с портретом автора, а часть в белых, с дородной красавицей — будто бы на чей вкус: кому поп, кому попадья...

9 июня мы пригласили Нагибина на Новый Арбат для вручения авторских экземпляров.

Он приехал вместе с Аллой. Книга очень понравилась ему, а сроки выхода поразили.

Прислушиваясь к звону посуды в большой комнате, что рядом с кабинетом, Юрий Маркович понимающе усмехнулся:

— Саша, извини, я не буду пить водку. Алла привезла с собою домашнее вино, это как раз для меня...

Значит, он предполагал, что праздник будет и что повод заслуживает праздника.

Еще на несколько минут мы задержались в комнате наедине, и он пояснил удрученно и как бы извиняясь:

— Понимаешь, у меня отекают ноги...

Каюсь: этот симптом не показался мне слишком угрожающим, я произнес в ответ что-то утешительное и беспечное, обнял его за плечи и повел в соседнюю комнату.

Наши пиковские дамы расстарались: стол был потрясающим, поистине праздничным, и за этим столом собрались все, кто был причастен к появлению книги «Тьма в конце туннеля. Моя золотая теща». Были речи, тосты, ответные речи и ответные тосты — и сейчас, если признаться честно, я смутно помню их содержание.

Но четко врезалась в память фраза, сказанная мне полушепотом в самый разгар застолья сидевшей рядом Аллой:

— Лишь бы Бог дал ему еще хоть несколько лет жизни...

Прощаясь, Юрий Маркович сказал, что его первый роман закончен и на днях он пришлет рукопись.

В течение нескольких дней до нас доходили лестные слухи о том, как Нагибин ездил по московским издательствам, показывая пиковскую новинку и советуя нашим коллегам

издавать книги так же быстро и столь же хорошо оформленные.

Почти год спустя, накануне 75-летия со дня рождения Нагибина, журналистка Марина Генина поведала читателям «Вечерней Москвы» об этих его последних днях и часах:

«...Он писал взахлеб, без отдыха. Больное сердце требовало покоя, но Юрий Маркович глотал лекарства и не отходил от письменного стола: он должен был поставить последнюю точку.

Рукопись была перепечатана на машинке за неделю до его смерти. Я вычитала ее и переслала ему на дачу — он жил там круглый год. За день до смерти Юра позвонил мне по телефону. Голос был юным, счастливым. Он только что приехал с презентации двух новых книг. Одну из них — «Тьма в конце туннеля» — страшная повесть о фашизме в России — он не мечтал увидеть при жизни. «Я не верю, что держу в руках сигнал...» Было очень поздно. Я умоляла его лечь спать. Нет! Безумно устал, но спать не пошел. Нужно было уже вслед за мной вычитать до конца «Дафниса и Хлою». Он сделал это. Поставил последнюю в жизни точку, подготовил роман к печати и уснул, очень усталый и, наверное, очень счастливый... И не проснулся. Роман о любви был закончен, и сердце его разорвалось 17 июня 1994 года».

Мы узнали об этом тотчас.

Выяснились подробности. Он умер ярким солнечным днем в своей постели, во сне.

Много позже, когда были опубликованы его дневники, одна из записей поразила:

«...Каждую ночь у меня обрывается и стремительно летит куда-то сердце. С криком, вздрогом я просыпаюсь и ловлю его на самом последнем краю. Но когда-нибудь я опоздаю на малую долю секунды, и это непременно случится, это не может не случиться».

Дневниковая запись, строка из которой вынесена в заголовок послесловия, датирована 24 июля 1958 года. За тридцать шесть лет, еще сравнительно молодым человеком, он угадал, каким будет конец.

О тяжелой для русской литературы утрате в тот же день сообщили радиостанции и программы телевидения. Появились некрологи в газетах. Президент Б.Н.Ельцин направил вдове писателя телеграмму, текст которой звучал искренне и скорбно.

Сотни людей присутствовали на гражданской панихиде в Доме кино. Еще больше народа было на отпевании в Успенской церкви

Новодевичьего монастыря. Там же, на Новодевичьем кладбище, он был похоронен.

* * *

Повергнув в печаль друзей и почитателей, Юрий Нагибин даже смертью своей крайне досадил давним ненавистникам — фашистам.

Ведь они не успели при жизни выплеснуть ему в лицо всю ту ярость, которую вызвала у них «Тьма в конце туннеля».

Допустим, что они не видели книги, которая к тем дням уже продавалась на всех людных перекрестках Москвы. Но, в таком случае, они могли прочесть окончание повести в последнем номере «Литературных новостей», а ведь там были и некрологи — Нагибин, Иодковский...

И тогда им осталось лишь делать вид, что они газет не читали, радио не слышали, телевидение (тьфу, stokлятое тель-авидение!..) не смотрят, а в «Литературных новостях» повесть Нагибина дочитали, но вот незадача — некролога не заметили.

Газета «Завтра», не дождавшись для приличия хотя бы сороковин, разразилась статьей литературного подонка, имя которого не заслуживает упоминания, но некоторые цитаты из его «эссе» привести необходимо: они помогут разоблачить десятилетиями складывавшийся миф об аполитичном барине Нагибине, невозмутимо пописывающем на пахринской даче рассказы о животных и растениях.

Вот что и как написали о нем:

«Это из литературных мемуаров... (здесь и далее пасквилят намеренно подменяет жанр автобиографической повести термином «мемуары». — А.Р.). Написано не Юзиком Алешковским, не Виктором Ерофеевым и даже не Эдиком Лимоновым, а певцом русской природы, тонким лириком 'пришвинской школы', плодовитым беллетристом, издавшим уже в 1984 году 80 книг — всяческих повестей и рассказов, — написавшим множество пьес и сценариев, в том числе для фильма 'Чайковский' и 'Председатель'... Не угадали? Подсказываю: Юрий Нагибин. Опубликованы мемуары в еженедельнике 'Литературные новости'...»

«В мемуарах секс щедро смешан с политикой и пресловутым еврейским вопросом. Бедный автор! В каких сумасшедших комплексах — сексуальных, национальных, политических — протекала его долгая, 75-летняя жизнь...»

«Конечно, мемуары Нагибина — богатый материал для психиатра и психоаналитика. Только специалисты смогут установить, на чем свихнулся человек: то ли на русско-еврейском вопросе, то

ли от сознания того, что по большому счету никакого писателя Нагибина не существует, а есть посредственный, второстепенный беллетрист и драмодел, то ли — и это скорее всего — душевное заболевание автора имеет под собой сексуально-патологическую почву...»

«Мемуары Нагибина ... следовало бы назвать не 'Тьма в конце туннеля', а прямее и проще: 'Записки старого мерзавца'. А если помягче, то слово 'мерзавец' можно заменить на 'маразматик'...»

Я приношу извинения читателям за цитирование этих гнусностей, но кроме свидетельства о том, как люто ненавидели и ненавидят Нагибина его недруги, в этом есть еще одна необходимость. Поскольку самые первые отклики прессы на книгу «Тьма в конце туннеля. Моя золотая теща» были, по сути, отповедями постыдной публикации в газете «Завтра».

Поэт Григорий Поженян в письме в «Литературную газету» напомнил читателям о том, что автор пасквиля уже и до этого снискал себе позорную известность глумлением над свежей могилой Владимира Высоцкого. «Время хама продолжается», — констатировало «Книжное обозрение». «Московский комсомолец» обратил внимание на то, что грязная статья в газете «Завтра» опубликована под рубрикой «Литературная политика»: вот это и есть та «литературная политика», которую намерены нести в массы адепты «духовной оппозиции».

Но позже запал крутой полемики угас. Статьи в «Известиях», «Независимой газете», «Утре России», «Общей газете» уже анализировали новые повести Юрия Нагибина как поразительное явление отечественной литературы, небывалый взлет его гражданской страсти, вершинную отметку мастерства.

Характерно, что уже после выхода книги некоторые газеты и журналы продолжали публиковать отрывки из его повестей — небывалое явление в периодике, которая всегда обуреваема стремлением опередить события, быть первой.

ПИК отправлял в книжные магазины все новые партии книг. Они быстро исчезали с прилавков, что очень радовало нас. Но вскоре выяснилось, что книги там задешево скупали лоточники и перепродавали их втридорога на уличных развалах.

Безусловно, последняя прижизненная книга Юрия Нагибина «Тьма в конце туннеля. Моя золотая теща» — по своему литературному значению, по степени читательского интереса к ней, по количеству откликов в прессе — явилась книгой года.

Но когда на исходе 1994-го деятели всевозможных издательских и книготорговых ассоциаций начали готовить присуждение премий за лучшие издания минувшего года, книга Юрия Нагибина

даже не попала в номинации. О ней забыли — то ли впопыхах, то ли преднамеренно.

Уже за гранью земного бытия писателя преследовал тот же рок, что выпал ему при жизни: его обошли Ленинской премией за «Председателя», он ни разу не получил Государственной премии СССР и России, хотя выдвигали неоднократно, он не был здесь удостоен вообще ни одной литературной или кинематографической награды.

Между тем за границей ему были присуждены престижнейший американский «Оскар», Гран-при Каннского фестиваля, «Золотой лев» в Венеции, премии фестивалей в Локарно, Сан-Себастьяне, Праге, Дели. В 1989 году он был удостоен премии лучшего писателя Европы.

А в своем отечестве...

И не нужно тешить себя предположением о том, что ему — небожителю, мэтру, живому классику — было наплевать с высокой колокольни на все эти звания и побрякушки, что он презирал бесталанных проныр, умевших вовремя подсуетиться и заграбастать. Презирать-то презирал (и они знали об этом, потому и мстили, как могли). Но Юрий Нагибин принимал подобные обиды близко к сердцу, не таил досады, не прятал негодования.

Может быть, он опять угадывал, что это не кончится, не растворится во благодати после его ухода.

* * *

«Мой первый роман...»

Пожалуй, нам остается выяснить или сделать попытку выяснить, почему «Дафниса и Хлою времен культа личности, волюнтаризма и застоя» автор называл романом, притом настойчиво, вкладывая в это какой-то особый, очень важный для него смысл.

Эта задача тем более актуальна, что в самой рукописи жанр не обозначен, слово «роман» в подзаголовке отсутствует, его заменяет внежанровое определение «Хроника одной любви».

Так почему же все-таки?..

Было бы наивностью полагать, что Нагибин, впервые продвинув текст своего нового произведения за магическую грань десяти авторских листов, решил — ах, вон как я размахнулся, уже не повесть — стало быть, роман... Хотя и от вполне серьезных прозаиков приходилось слыживать: до десяти листов — повесть, за десять — роман... Чепуха, конечно.

Горький, написав четыре могучих тома «Жизни Климса Самгина», назвал эту гигантскую эпопею повестью. Гоголь обозначил

свое самое крупное творение «Мертвые души» как поэму, хотя в письмах называл его романом. И напротив, Пушкин счел, что «Евгений Онегин» — роман в стихах, а не что-либо иное, и лучше выдумать не мог.

Столь же рискованно было бы считать, что роман предполагает многоплановость повествования через разных героев, а повесть — одноплановое повествование, где все окружающее воспринимается и передается через одного героя, тем более если речь идет о повествовании от первого лица. Но у Нагибина — и «Тьма», и «Теща», и «Дафнис и Хлоя» написаны равно от первого лица, через одного героя, почти тождественного автору, но тем не менее он считает, что «Тьма» и «Теща» — повести, а «Дафнис и Хлоя» — роман.

Известно классическое определение романа как эпоса частной жизни. Причем эпический, эпопейный, «высокий» жанр здесь прямо противопоставляется жанрам «низким», тоже изображающим перипетии частной жизни, но в плане фарсовом, фривольном, комедийном.

Здесь как будто мы и подходим к разгадке. В «Моей золотой теще» есть признаки фарса, отсюда и сенсационность, даже скандальность сюжета — зять полюбил тещу, она в конце концов пошла навстречу его домогательствам. А что в «Дафнисе и Хлое эпохи...» (вы замечаете — «эпохи», а не «времен»!)? Юноша полюбил девушку, они стали мужем и женой, затем измена предопределила разлуку, но они продолжают встречаться, продолжают любить друг друга, десятилетия тайных встреч... Это уже не сенсация, а, пожалуй, обыденность любви, но именно она поднимается до обобщения, до эпического звучания.

Может быть, именно поэтому первый роман Юрия Нагибина, появившийся вслед его сенсационным повестям, вызывает даже некоторое разочарование: ждали чего-то еще более необычного, а прочли о том, что известно почти каждому.

Наконец, нельзя игнорировать и обычное, нелитературное, житейское толкование фразы «мой первый роман» — это действительно первый любовный роман молодого человека со всеми счастливыми и несчастными перипетиями любви, пронесенной через всю жизнь. Были, конечно, и другие романы, но это — первый роман.

Юрий Нагибин был мастером не только в лепке образов, не только в сюжетостроении, но и в некоем стратегическом регулировании жизненного материала, в данном случае — материала собственной жизни, пережитого и выстраданного лично. Он понимал всю опасность самоповторения и потому в

каждом новом произведении исповедального цикла смело шел на купюры, как бы давая понять читателю: об этом вы уже читали или прочтете. Так в «Дафнисе и Хлое...» лишь обозначен несколькими фразами уход от Даши и ее семьи в другой брак, в другую семью, в другой сюжет, который реализован в «Моей золотой теще». В другом случае автор закавычивает несколько страниц текста, давая понять безо всяких сносок, что цитирует себя же, но — другое произведение. И, надо полагать, сколь много хлопот и раздумий доставляла ему перспектива работы над новыми, лишь задуманными произведениями этого цикла, которые ни в коем случае нельзя было «обобратить» заранее и тем самым лишить прав на самостоятельное существование впоследствии. Об этом мы можем только догадываться.

Прекрасно представлял себе Нагибин и другую опасность, воспользоваться которой поспешили и его ненавистники, и вполне расположенные к нему литературные критики: близость произведений его исповедального цикла к жанру мемуара. Ведь хронологический и событийный ряды «Тьмы в конце туннеля» и «Дафниса и Хлои...» охватывают почти всю сознательную жизнь героя и автора, они идут параллельно друг другу, отличаясь лишь выбранными для подробной повествовательной разработки узлами, а ведь помимо них существовал, хотя бы в потенциале, еще и чисто мемуарный черед событий, фактов, конкретных лиц.

Поражаешься виртуозности его письма, когда в повестях и романе вполне естественно сосуществуют персонажи реальные, а это исторические фигуры — Борис Пастернак, Андрей Платонов, Генрих Нейгауз, Святослав Рихтер, — и герои, чьи имена лишь слегка «зашифрованы», но угадываемы, а лица узнаваемы, — и герои, подчас главные герои, подлинные имена которых, по мысли автора, должны остаться сокрытыми ото всех, кроме самых посвященных.

Он решает две прямо противоположные задачи: стремится во что бы то ни стало уйти от документальности изложения, от мемуарности — ведь это повесть, роман! — и в то же время боится расплыться в романной беллетристике, соблазны которой ему, профессионалу, отлично знакомы и которые могут увести повествование чересчур далеко от жесткой и жестокой правды жизни.

В этой ситуации он и делает порой то ли сознательные ложные ходы, то ли нечаянные промахи, которые, конечно же, усекает бдительный читатель: у жены героя была дочь, а потом вдруг выясняется, что сын; один из персонажей оказывается в подозре-

нии, что не вполне русский, а в другой вещи — вполне и даже сверх того... Будем надеяться, что эти секреты творческой лаборатории Юрия Нагибина сами по себе окажутся не менее интересными для пытливого исследования, чем захватывающие перипетии сюжета, чем характеры и положения.

* * *

Вновь память возвращает к тому короткому февральскому зимнему дню, когда Юрий Нагибин в ПИКе увлеченно излагал замысел свода романов, который, вполне вероятно, мог бы стать вровень с таким знаменитым романским циклом, как «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста.

Увы, ему не был отпущен срок на то, чтобы реализовать этот замысел.

Тем важнее свидетельство о нем.

И тем более емким по смыслу, плотным по тексту, пространственным по изображению событий, явлений и людей истекающего XX века становится все, осуществленное мастером.

Александр РЕКЕМЧУК

Май 1995 г.

Юрий Маркович Нагибин

ДАФНИС И ХЛОЯ
эпохи культа личности,
волюнтаризма
и застоя

Главный редактор
изданий художественной прозы

Георгий Садовников

Корректор
Светлана Цыганова

Сдано в набор 15.02.95. Подписано к печати 06.06.95. Формат 84x108/32.
Гарнитура Академическая. Печать офсетная. Печ. л. 9,75. Усл.-печ. л. 16,17.
Независимое издательство ПИК. 121019 Москва, Новый Арбат, 15.
Заказ № 0034, тир. 10000.
Отпечатано на Ижевском полиграфическом комбинате
Воткинское шоссе, 10-й км.

